
Звук его рога
Сарван
Впервые на русском!

Звук его рога
Сарбан

Аннотация
Сарбан. Звук его рога
Звук его рога
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  VII
  VIII
Кальмахан
Дом у дороги
Капра
Морские создания
Хан
Номер четырнадцать
Святочный рассказ

Аннотация

1943 год, английский офицер Алан Квердилион бежит из фашистского концлагеря. Заплутав среди бескрайних лесов Восточной Германии, он переносится в странный мир, параллельную реальность, где снова оказывается в плену. На этот раз – в обширном поместье, которым владеет загадочный, жуткий граф, главный лесничий рейха, известный своей страстью охотиться при свете луны. Вот только охотится он не с помощью собак, а преследует совсем не животных…Роман «Звук его рога», один из эталонов литературы ужасов, вошел в сотню лучших книг жанра («Horror: 100 Best Books» по версии Кима Ньюмана и Стивена Джонса). Его автор – английский писатель и дипломат Джон Уильям Уолл, оставшийся в золотом фонде «темной» прозы под псевдонимом Сарбан. Благодаря изящному стилю письма и мифологичности образов Сарбана часто сравнивают с Говардом Филлипсом Лавкрафтом и Хорхе Луисом Борхесом, Артуром Мейченом и Уолтером де ла Маром. Впрочем, этот писатель обладает

своим, уникальным голосом и давно занимает почетное место на мировом литературном олимпе, хотя в России почти неизвестен. Настоящий том призван исправить это досадное недоразумение.

В сборник вошли разнообразные произведения Сарбана: «Звук его рога», «Морские создания», «Дом у дороги», «Кальмахан» и другие, в которых, по словам писателя Кингсли Эмиса, «сочетаются грезы и ночные кошмары», а законы природы уступают место причудливому хаосу воображения…

Сарбан
Звук его рога

Sarban
THE SOUND OF HIS HORN
Copyright © Sarban, 1952
CALMAHAIN
Copyright © Sarban, 1951
A HOUSE OF CALL
Copyright © Sarban, 1953
CAPRA
Copyright © Sarban, 1951
THE SEA-THINGS
Copyright © Sarban, 2002
THE KHAN
Copyright © Sarban, 1951
NUMBER FOURTEEN
Copyright © Sarban, 2000
A CHRISTMAS STORY
Copyright © Sarban, 1951

© Д. С. Кальницкая, перевод, 2026
© Г. В. Моисеева, перевод, 1992, 2026
© Н. С. Сечкина, перевод, 2026
© Н. Ф. Роговская, перевод, 2026
© Е. И. Романова, перевод, 2026
© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2026
Издательство Азбука®

Звук его рога[1]



[1] Примечания: 1
Перевод Г. Моисеевой под ред. А. Гузмана.

I

— Ужас — вот что действительно невыразимо.

Все мы посмотрели на Алана Квердилиона. Он впервые включился в спор — пожалуй, и заговорил-то в первый раз за то время, что прошло после обеда. А до этого он попросту молча курил трубку и переводил взгляд с одного говорившего на другого, и в этом взгляде можно было прочесть мягкое удивление, столь свойственное ему в последнее время. Выражение его лица напоминало мне не столько невинного ребенка, сколько наивного дикаря, которому странное звучание вашего голоса мешает постичь смысл ваших слов. После того как в течение трех дней я ловил этот взгляд, мне стало понятно, что же все-таки имела в виду его мать, когда, беседуя со мной наедине, грустно проговорила, что в 1945 году Алан вышел из заключения, но вернулся домой «не весь целиком и полностью».

Я не видел Алана почти десять лет, с того самого дня в 1939 году, когда он, лейтенант добровольческого резерва ВМС Великобритании, отправился на свой корабль. Наверное, мы слишком легко соглашаемся с тем, что прошедшая суровая вой-

на и само по себе течение времени не могут не сказаться на характере человека. Позднее меня самого удивляло, почему перемены, произошедшие с Аланом, так мало встревожили меня поначалу. И даже превращение жизнерадостного, уверенного в себе, веселого и энергичного молодца, так отважно сражавшегося на спортивных площадках, в молчаливое, пассивное, всегда удивленное чем-то существо было для меня не чем иным, как выражением общего уныния и увядания, охватившего весь мир, а также частью того процесса утраты могущества и духовной силы, который Англия, казалось бы, переживала после 1939 года. Забыть, что когда-то раньше Алан был другим, оказалось так легко.

Но легко лишь в первые три дня моего пребывания в Торсвее — пока мать Алана не заговорила со мной об этом. Тихим и грустным голосом она спросила, что же произошло с Аланом, и тем заставила меня признаться самому себе в том, что он изменился. Она, верно, надеялась, что я, лучший друг ее сына на протяжении всех лет учебы в школе и университете, подберу ключ к загадке и выкуплю из плена ту часть его сознания, которая томилась где-то взаперти. Вот как она сформулировала это:

— «Они» вернули его тело, можно сказать, что вернули и голос, и ровно столько мозгов, чтобы вести хозяйство на маленькой ферме, которую он унаследовал от отца, но все остальное они оставили себе. Что они сделали с ним? А может быть, надо спросить, что он сам сделал с собой за эти четыре года в лагере для военнопленных?

Я довольно неуклюже попытался уклониться от той роли психиатра-любителя, к которой подталкивала меня ее доверительность. Пробормотав что-то банальное насчет влияния войны и монотонности житья-бытья в заключении — набор общих мест, почерпнутых мной из многочисленных бесед с бывшими военнопленными, — я добавил (наверное, это было немилосердно по отношению к ней), что Алан стал на десять лет старше: нельзя же было рассчитывать, что он навсегда останется ребенком.

Она покачала головой:

— Нет, причину надо искать в чем-то личном. Но я больше волнуюсь, что же будет с Элизабет.

Мне ничего не оставалось, как попытаться убедить ее в том, что я не заметил в Алане серьезных перемен, хотя в голосе моем не было абсолютной уверенности.

Безусловно, все, кто находились в этот зимний

вечер в гостиной, считали пассивность Алана, его рассеянность чем-то само собой разумеющимся, а ведь все они хорошо знали его и до войны. Мне кажется, они не больше меня ожидали, что он заговорит.

В первую очередь здесь надо назвать супругов Хедли и их дочь Элизабет. Майор Хедли издавна жил по соседству с Квердилионами, а сейчас, уйдя в отставку, фермерствовал в Торсвее, как и Алан. Кроме того, здесь был Фрэнк Роуэн, двоюродный брат Алана, преподаватель экономики в каком-то северном университете. Как и я, он приехал сюда на каникулы. Эти двое хорошо знали Алана с самого раннего детства. Если они и думали, что с ним что-то неладно, со мной об этом не делились: как будто для них он простой, добродушный парень, из тех, кто сдвинет с места заглохший трактор, починит неисправный мотор, с поразительной ловкостью вскарабкается на крышу амбара или перемахнет через воротца. Но им никогда не придет в голову, что такой парень сможет сказать свое слово в том споре, который мы вели вечером после ужина.

И все же мать его была права. Этот наш спор продемонстрировал мне ту перемену, которая в нем произошла. Сам он не был охотником на

лис, но ему это нравилось, как нравились любые упражнения в физической силе и мастерстве. В довоенные дни он всегда жертвовал деньги на охоту в Сексби, неподалеку от которого находился и Торсвей, и если сам он и не охотился, то лишь потому, что всегда был скорее бегуном, чем наездником. В Кембридже он прославился как бегун по пересеченной местности, да и вообще был разносторонним спортсменом, но только не наездником. Я считал его потомком йоменов, а не сквайров, принадлежащим к тому старинному племени линкольнширских фермеров, сердце которых радует борзая, а не гончая собака, к тем, кто охотятся с ними на ветреных пустошах не верхом, а пешими. Деревенские виды спорта и развлечения были у него в крови. Если бы в прошлом Фрэнк начал критиковать охоту на лис, чем он и занимался в тот вечер, Алан был бы первым, кто бросился на ее защиту.

Но сегодня он промолчал целых полтора часа, пока другие с воодушевлением обсуждали эту тему. Фрэнк Роуэн весьма свирепо и с явным запозданием взялся отстаивать Билль против охоты на лис, совсем недавно отклоненный в палате общин, и был при этом остроумен, желчен, резок и, на мой взгляд, не очень-то вежлив по отно-

шению к хозяйке и ее соседям, когда утверждал, что те, кто увлекается кровавыми видами спорта или даже просто одобряет их, явно недоразвиты морально или интеллектуально. В майоре Хедли соединились скромность профессионального военного и хорошее знание предмета, то есть охоты, присущее ему как сельскому жителю; он оборонялся на своей собственной, хорошо знакомой ему территории и упорно сопротивлялся намерениям Фрэнка выманить его на открытое пространство, где Фрэнк со своим любимым оружием, философией и психологией, имел бы преимущество.

А вот с Элизабет Хедли дело обстояло по-другому. И было очень странно, что Алан не сделал и попытки сказать хоть несколько слов в ее поддержку или помочь ей выпутаться из клубка противоречий и непоследовательностей, в который затянул ее своей злой диалектикой Фрэнк. Ее пыл сумел бы воспламенить и человека, куда менее склонного поддаваться чарам энергичной молодой девушки, чем тот Алан, которого мы знали раньше. Сейчас же казалось, что он просто сбит с толку или же, как один-два раза почудилось мне, встревожен.

Милой и непосредственной Элизабет было два-

дцать два года. Она родилась и выросла в Торсвее и, когда ей было одиннадцать-двенадцать лет, перед войной, принадлежала к числу преданных поклонников и постоянных спутников Алана. Лошади были ее страстью всю жизнь, и, когда в эти три дня мне несколько раз довелось побеседовать с ней, она говорила только об охоте, о выставках лошадей, о заседаниях клуба любителей пони, о том, как воспитать щенков английской паратой гончей. Если уж кого и могла огорчить перемена, произошедшая с Аланом, так это ее. И тем не менее она согласилась выйти за него замуж вскоре после того, как он вернулся из плена, и никто, кроме миссис Квердилион, не высказал ни малейшего намека на то, что между ними не все было гладко. В отношении Элизабет к Алану, на мой взгляд, не было и тени жалости или покровительственности: ничего похожего на заботливость, которую добросердечная девушка могла бы проявить к нему, если бы он вернулся домой с войны калекой или слепым.

Они были помолвлены, но не знаю, объявлялось ли об их помолвке. Я считал ее чем-то само собой разумеющимся из-за тех разговоров, которые мистер и миссис Хедли и мать Алана вели об этой паре. Правда, меня немного удивляло,

почему они тянут со свадьбой так долго, хотя, когда Алан вернулся домой, Элизабет было всего восемнадцать лет, и, конечно же, ее родители решили подождать; но мне казалось, что не было никаких причин откладывать свадьбу и дальше, и я не понимал, почему они не поженились еще в прошлом году.

И вот, наблюдая за Элизабет во время жаркого спора об охоте на лис и заметив скрытую тревогу в том взгляде, который бросил на нее бедняга Алан, когда она с великолепным негодованием дала отпор наскокам Фрэнка, я отдал должное матери Алана, потому что она попала в самую точку. Алан растерял свою храбрость; его мужественность исчезла или спала крепким сном; что-то заставило его так сильно измениться, что живость этой девушки, ее молодость, пылкость и красота устрашали его. Он попросту боялся ее, и я понял, что, хотя другие и считали их помолвку чем-то само собой разумеющимся, ни он, ни она об этом не подозревали, потому что у него не хватило духу просить ее руки. Его мать понимала, что он потеряет ее, если не придет в себя, и я почувствовал, что разделяю ее тревогу. Они так подходили друг другу; в Элизабет Алан нашел бы то, в чем так нуждался сам: оживляющее и

вдохновляющее начало. Я отказывался верить, будто Алан изменился настолько, чтобы остаться равнодушным к ее физической красоте. Было необходимо, чтобы старый друг открыл ему глаза на тот риск, которому он подвергался из-за своей новоприобретенной застенчивости и неуверенности в себе, могущими бы взять верх над его истинными желаниями. И прежде чем наш спор подошел к концу, я принял на себя ту роль, которую предназначала мне миссис Квердилион.

Спор закончился совершенно неожиданно. Я уверен, что Фрэнк упорствовал скорее ради забавы, ради того, чтобы спровоцировать Элизабет, а не потому, что имел серьезные доводы против охоты на лис. Их пикировка, как я уже говорил, стала чересчур оживленной и, с моей точки зрения, почти оскорбительной для обеих сторон, хотя я считаю, что они знали друг друга достаточно хорошо для того, чтобы перебрасываться словесными ударами, не обижая друг друга. И все же спустя некоторое время Фрэнк начал отступать, и спор постепенно превратился в добродушное, невинное подшучивание, пока наконец он не произнес:

— В конце концов, никто не сказал об охоте на лис лучше Оскара Уайльда: «Невыразимое в

погоне за несъедобным»[2].

И тогда Алан вынул трубку изо рта и проговорил тихим прозаическим тоном:

— Ужас — вот что действительно невыразимо.

Совершенная неуместность этого замечания и резкость перехода к серьезной тональности поразили нас так же, как и то, что Алан вообще принял участие в разговоре. Фрэнк и майор казались озадаченными, а Элизабет, бросив на Алана непонимающий взгляд, произнесла отрывисто, с едва заметной нотой враждебности в голосе:

— Ужас? Какой ужас?

Алан наклонился вперед и, сжав трубку в руках, неодобрительно поглядывал на кошку, мирно свернувшуюся калачиком на коврике перед камином. Он не находил нужных слов, чтобы объяснить, что же он имел в виду, и мы, трое взрослых мужчин, ждали, слишком явно демонстрируя снисходительность и терпимость по отношению к его немоте. Майор, преодолев свое первоначальное смущение и удивление, улыбался ободряюще, как улыбаются ребенку, который никак не может начать декламировать стихи.

---

[2] Примечания: 2

Из пьесы «Женщина, не стоящая внимания» (1893), действие первое. В переводе Н. Дарузес: «Английский помещик, во весь опор скачущий за лисицей, — бесшабашный в погоне за несъедобной».

— Я имею в виду, — проговорил наконец Алан, все еще не отводя глаз от кошки, — я имею в виду страх, который испытывает тот, на кого охотятся: его невозможно описать, его попросту нельзя выразить словами. С людьми-то проще…

Элизабет подняла брови, глаза ее округлились, все лицо говорило о вызове и протесте. Я даже ждал, что сейчас она выкрикнет: «Чушь!» — и выпалит те же самые страстные аргументы, с которыми уже с десяток раз за этот вечер нападала на Фрэнка Роуэна: что-де насильственная смерть — это естественный конец для всех диких животных, что это самый милосердный конец, что у животных нет воображения, способного нарисовать ужасную картину смерти до ее прихода, — словом, все те знакомые доводы, изрекаемые охотниками на лис, которые достаточно опрометчиво защищают эту забаву, пытаясь выставить лису своим свидетелем защиты. Я был уверен, что все эти возражения сейчас изольются на Алана, ибо ее лицо по-детски прямолинейно выражало то, что было у нее на душе, но прежде чем эти слова сорвались с ее уст, мысли ее внезапно и совершенно явно свернули в другое русло. И что поразило меня, в абсолютно незнакомое русло. На ее лице уже нельзя было прочесть го-

товности к отпору, она пристально вглядывалась в Алана, чья поза, казалось, говорила о тревоге и беспокойстве, когда он, отвернувшись от Элизабет, склонился вперед, и мне почудилось, что в ее широко раскрытых глазах появился некий всепоглощающий интерес, который мог быть от природы присущ кошке, сидевшей между ними. В тот момент невозможно было сказать, какое открытие она сделала, какую новую картину действительности приоткрыли ей его слова. Я мог только догадываться о том, что охота на лис перестала быть предметом спора, им стал для нее сам Алан; она почувствовала, что страх, о котором он говорил, неким странным образом относится к ней самой, и это новое инстинктивное ощущение заставило ее быть бдительнее и следить за тем, чтобы никто не сумел прочитать, что происходит у нее в душе. Она ждала, что Алану ответит кто-нибудь из нас.

Но миссис Хедли начала прощаться с нами, собираясь уходить. Алан поднялся и молча вышел, чтобы прибавить света в прихожей, а после того как мы проводили гостей, взял фонарь и вышел за чем-то во двор.

Миссис Квердилион вскоре простилась с нами, пожелав спокойной ночи, а Фрэнк, продолжая

смеяться и шутить, довольный своей победой в споре и забавным, хотя и странным вмешательством Алана в разговор, отправился спать. У меня не было привычки так рано ложиться, поэтому я налил себе пива, выключил свет в гостиной и расшевелил огонь в камине.

Кошка вспрыгнула на подлокотник моего кресла и, подобрав под себя лапки, устроилась рядом со мной смотреть на догорающее пламя.

Звук шагов и холодный сквозняк пробудили меня, но не от дремы, а от долгой череды воспоминаний, которые следовали друг за другом так же непроизвольно, как картины сновидений. Алан вернулся. Я слышал, как он, стараясь не шуметь, закрывает на засов входную дверь. Я встал, чтобы зажечь свет, но налетел на него в дверях гостиной. Он начал хватать воздух ртом и вцепился в меня, потом, когда я заговорил, засмеялся с облегчением и отпустил меня.

— Я совсем забыл о кошке, — сказал он. — Она здесь? Я думал, все уже легли спать.

Его голос звучал неуверенно. Включив свет, я с ужасом увидел, что его лицо совершенно побелело от страха. Исполненный раскаяния, я извинился за то, что сидел в темноте и невольно напугал его. Он был явно смущен и, пробормотав,

что мне не следует беспокоиться, подошел к камину, делая вид, что ищет кошку, но движения его были нервными и резкими; слишком долго он оправлялся от пережитого испуга.

Почувствовав, что должен сказать что-нибудь, дабы разрядить атмосферу, я не нашел ничего лучшего, как вернуться к теме нашего вечернего разговора.

— Не удивлюсь, если сегодня вечером Элизабет впервые в жизни пришло в голову, что есть какая-то правота в словах тех, кто с гуманных позиций выступает против охоты. Конечно, на нее подействовало то, что ты сказал. Или то, как ты это сказал. Мне показалось, ты заставил ее задуматься.

Он резко повернулся ко мне:

— Она всю свою жизнь охотилась. Разве для нее может иметь какое-то значение то, что я сказал?

Мне стало яснее ясного, что они не впервые спорили об этом — и достаточно ожесточенно спорили. Я догадывался, что они повздорили, и какой бы пустячной ни казалась мне разница во мнениях по этому вопросу у двух влюбленных, я понимал, что для них это важно — если относиться к охоте всерьез. Но с чего вдруг Алану стало не нравиться то, что она охотится?

— Ну не знаю, — ответил я. — Я было подумал, что твое мнение что-нибудь да значит. Во всяком случае, побольше, чем мнение Фрэнка. А ведь были времена, когда каждое твое слово было для нее истиной в последней инстанции.

Он нагнулся и положил еще одно бревнышко в огонь, как будто бы совершенно забыв, что собирается ложиться спать. Потом еще несколько минут стоял, ссутулившись, молча наблюдая за тем, как бревно начинает тлеть и дымиться. Наконец, не глядя на меня, он произнес сдержанным тоном:

— Моя мать разговаривала с тобой обо мне и Элизабет, да?

— М-м-м… О тебе? — проговорил я. — Она немного обеспокоена. Мне кажется, она считает, у тебя что-то на уме. Лично я не вижу в тебе никакой перемены, если не считать того, что иногда тебя подводит твой язык, и если ты не против того, что я тебе это говорю, — твои нервы не в самом хорошем состоянии. Мне думается, ты не в лучшей форме, а живя в деревне, давно должен был прийти в себя. Скажи, ведь не бутылка же тому виной, а?

Он засмеялся.

— Все эти три дня, что ты живешь здесь, я ду-

мал о том, что мы с тобой все те же ребята, что и раньше. Хорошо, что ты приехал, — мне это пошло на пользу. Теперь я знаю, что, в общем-то, не изменился.

— Ну конечно, — сказал я, — характер человека, его привязанности должны оставаться неизменными, но безнадежен тот, чье поведение и чьи оценки не меняются под влиянием пережитого. Ты прошел через шесть лет войны и плена. Я очень хорошо понимаю, что взгляды человека после всего этого могут измениться.

— Да, — сказал он, — ты бы понял. Или, во всяком случае, тебе было бы интересно. Слушай! — Он резко выпрямился и повернулся ко мне. — Ты ведь не устал, а? Не против, если я тебе кое-что расскажу? Дай-ка я наполню твой стакан, садись, и я поведаю тебе одну историю.

Он налил нам обоим пива и выключил свет, а потом пошевелил угли в камине, пока в нем не разгорелся яркий огонь.

— Пожалуй, мне легче будет разговаривать с тобой вот так, при свете огня в камине, — сказал он, усаживаясь в кресле напротив меня, — и если тебе станет скучно, ты можешь спокойно заснуть, а я и не замечу.

Мы набили трубки, и я стал ждать.

— Я никому об этом не рассказывал, — начал он. — Ни матери, ни Элизабет. И прежде чем начну рассказывать тебе об этом, хочу подчеркнуть, что это всего лишь история, понимаешь? Надеюсь, она тебя развлечет и позабавит. Я не прошу тебя слушать внимательно, чтобы ответить потом на вопрос, что же со мной случилось. Я и сам прекрасно знаю, что со мной случилось, и с этим уже ничего не поделаешь. Надо лишь подождать и узнать, случится ли это еще раз. За последние три года это состояние ни разу не вернулось; если пройдет еще год и это не повторится, я решу, что все прошло и смогу смело просить Элизабет выйти за меня замуж, и все будет хорошо. Она сможет скакать по лесу со своими гончими, и я не буду ссориться с ней по этому поводу — по крайней мере до тех пор, пока она сама не захочет этого. А она не захочет.



II

«Нет, достопочтенный Фест, я не безумствую»[3]. Нет. Но я был безумен. Не просто неуравновешен или чудаковат, а совершенно спятил, вчистую. Уверен, что психиатры поставили бы диагноз не колеблясь. Но сейчас у меня все в порядке. Честное слово, в порядке; ну, я так думаю. Но только, понимаешь, после того как однажды так внезапно переключил передачу, я теперь знаю, как легко и быстро это может произойти, и иногда что-то неожиданное пугает меня на миг — до тех пор, пока не возвращается уверенность в том, что я все еще нахожусь, так сказать, по эту сторону стены.

Для военнопленного в лагере сойти с ума — дело, конечно, нередкое. Такое может произойти с кем угодно, и вовсе не обязательно с теми, у кого нервы напряжены до предела или на чьей душе скопилось больше всего мучений и тревог. Видел я таких бедолаг и раньше, до того, как это

---

[3] Примечания: 3

Ср.: «Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: безумствуешь ты, Павел! большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Нет, достопочтенный Фест, сказал он, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла» (Деян. 26: 24–25).

случилось со мной. Мне кажется, я знаю, почему на них такая печать безразличия ко всему на свете. Они просто-напросто не ведают, что творится в этом мире, пока так заняты миром другим. И пойми, чувствуешь ты себя при этом потрясающе нормальным. Я уверен (во всяком случае, что касается меня самого), что был вдвое активнее в интеллектуальном плане и вдвое чувствительнее к происходящему, когда спятил, чем когда уже пришел в себя и снова оказался в клетке.

Я был рад тому, что меня посадили в другую клетку. Никто в ней не знал, что однажды я слетел с катушек, а когда нас выпустили, психиатры поставили мне диагноз «абсолютно нормален». Само собой разумеется, они не слышали того, что я рассказываю тебе сейчас.

Наш корабль разбомбили пикировщики, и он затонул у берегов Крита в 1941 году, после чего я два года просидел в лагере в Восточной Германии — он назывался Офлаг XXIX Z. Этот маленький лагерный мир постепенно становился для меня все более привычным. Ну что тебе рассказывать: колючая проволока, на скорую руку построенные бараки, зимой слишком холодно, летом слишком жарко, грязные умывалки, вонючие уборные, легкая песчаная почва, черный сосновый лес

вдали и громилы-охранники на сторожевых вышках. И все те маленькие хитрости, уловки и изобретения, которые казались нам такими важными, — нет, они и были важными в том мире, который уменьшился для нас до размеров концлагеря.

Я льстил себя надеждой, что переношу превратности лагерной жизни намного легче остальных узников. По правде говоря, я нигде не чувствую себя по-настоящему несчастным, если только мне удается придумать, чем занять руки, и даже удивительно, каким трудягой-мастеровым можно стать в подобных обстоятельствах, если имеешь к этому склонность. Честное слово, я горжусь кое-какими безделицами, которые соорудил из старых жестянок. Но я и свой ум заставлял трудиться — собирался восстановить греческий. Наверное, разумнее было бы учить немецкий, но, думаю, греческий нравился мне тем, что казался таким свежим и ясным и, главное, не имел ничего общего с лагерем.

Я говорю об этом только затем, чтобы ты понял: я был довольно-таки бодрым военнопленным. Конечно, скучал по физической нагрузке, которой мне не хватало, но если учесть, что мы сидели на голодной диете, надо признать, гимнастика, за-

нятия которой мы наладили в лагере, позволяла чувствовать себя довольно сносно. И еще. У меня не было семейных проблем. Я получал письма от матери и от Элизабет так же регулярно, как все остальные от своих родных, и пока с ними было все в порядке, мне больше не о чем было беспокоиться. Да, конечно, скажешь ты, но само по себе вынужденное общение лишь с представителями одного мужского пола — это большое лишение, способное вызвать душевные расстройства… Ну, не знаю… я ничем в этом смысле не отличался от других; конечно, на ум приходили разные мысли об удовольствиях, но думаю, что относиться к их отсутствию философски можно в том случае, если ты сполна испробовал их, прежде чем попал в этот мешок. Мальчишки мучились от этого больше всего, но не парни моего возраста.

Нет, глядя назад и рассуждая честно и объективно (а лагерь хорошее место для того, чтобы измерить отклонения от нормы), я бы сказал, что уж я-то должен был чокнуться в последнюю очередь. Но факт остается фактом. Это произошло. Конечно, не исключено, что причиной был шок — от удара током или от чего другого… Сейчас я расскажу об этом. Но опять же, были ведь в моей жизни потрясения и посильнее. Дважды за три

месяца нас торпедировали в Северном море, не говоря уже о периодических бомбежках. От этих ударов мое тело пострадало намного больше, чем от шока, полученного у ограды Хакельнберга, но и они не выбили меня из колеи.

Ну да ладно. Ты не поверишь, сколько раз я сам себя освидетельствовал за эти два года и с какой тщательностью просеивал результаты, чтобы найти хоть малейшую трещину, симптом скрытой от глаз болезни, — и не мог ничего найти. Хотя должен был. Обязан был понять, отчего я на какое-то время лишился рассудка, ведь это было бы лучшим доказательством здравости — и не только моей, но всего порядка вещей, в который мы верим, последовательности времени, законов пространства и вещества, истинности всей нашей физики. Потому что, видишь ли, если я все-таки не был сумасшедшим, тогда безумным следовало признать все устройство мира — и не найдется человека, который смело взглянул бы в лицо такому безумию.

Да, ирония в том, что в лагере меня считали самым устойчивым, самым здравомыслящим — самой надежной старой клячей из всех военнопленных. У нас был Комитет по организации побегов — туда входили лучшие умы из числа

старших офицеров, а уж они-то могли оценить человека вернее, чем ваши психиатры. Уж они-то, с их опытом рассмотрения самых разнообразных, в том числе совершенно безумных планов и идей, наверняка заметили бы эту трещину в моем сознании, если только это было вообще кому-либо по силам. Я же практически во всех этих планах выступал, напротив, советчиком и помощником. Я стал своего рода консультантом для тех, кто замышлял побег, тем экспертом, совета которого искали, прежде чем представить план Комитету на одобрение.

Разумеется, все наши мысли вращались именно вокруг побега; наши мелкие занятия и развлечения были рябью на поверхности моря жизни, а подготовка к побегу — самим морем. Она поддерживала в нас надежду и отражалась во всем, что мы делали.

Все планы побегов, при всем их отличии друг от друга, были разновидностями одного и того же метода. Существовал только один способ решения главной проблемы: преодолеть колючую проволоку можно было, лишь вырыв тайком туннель. Я участвовал в придумывании самых разных туннелей и был членом многочисленных групп, которые копали и прятали потом зем-

лю, но в лагере Офлаг XXIX Z не было ни одного успешного побега до того самого дня, когда мы с напарником попытали счастья.

Не буду подробно рассказывать, как мы задумали свой подкоп и как его осуществляли. Подробности увели бы в сторону от того, что я хочу доказать тебе своим рассказом, ибо туннель был чрезвычайно умно замыслен и отлично исполнен. Весь лагерь помогал нам в этом деле.

Бежали мы в конце мая, за час до восхода луны. Выход из нашего туннеля был примерно в ста ярдах от забора из колючей проволоки, и надо было еще ярдов пятьдесят бежать до соснового леса. Мы решили, что простейшее применение основ тоннелекопания имеет наилучшие шансы на успех. Большинство побегов проваливалось потому, что туннели не отводили на достаточное расстояние от лагеря. Труд этот был таким тяжким, а времени на рытье уходило так много, что появлялся огромный соблазн закончить подкоп, как только он выходил за ограду, и рискнуть — рвануться по открытой местности к лесу. Соблазн этот был так велик, что ему было трудно противиться. Но нам это удалось, и мы незамеченными достигли черного покрова соснового леса — тревогу в лагере не объявили. Чтобы отвлечь внимание охраны,

наши сообщники затеяли в одном из бараков драку: уловка старая как мир, но она сработала.

И еще одного соблазна нам удалось избежать — спланировать дальнейшую фазу побега во всех подробностях. У нас обоих, у меня и у Джима Лонга, были свои представления о том, как лучше перемещаться по территории Германии в военное время, и мы решили, что каждый пойдет своей дорогой. Мы оба направлялись в Штеттин, где должны были вступить в контакт с подпольной организацией, которая поможет нам попасть на шведское судно. Таковы были самые общие очертания нашего плана — по обоюдному согласию мы его не конкретизировали. Ты, наверное, скажешь, что такой план слишком расплывчат и оптимистичен, но результат доказал его осуществимость. Джим Лонг добрался до Штеттина на поезде, пробыл неделю в матросском общежитии, тайком был проведен на борт шведского рудовоза и спасся. Я оказался не таким везучим.

Мы оба сходились на том, что добираться до Штеттина лучше по железной дороге, а вот при обсуждении места, где садиться на поезд, возникли разногласия. Джим, хорошо говоривший по-немецки и по-французски, решил дойти пешком до ближайшей станции, предъявить там

фальшивые документы на имя французского рабочего, купить билет и положиться на то, что сама обыкновенность этой поездки поможет ему прорваться к цели. Мой же план состоял в том, чтобы как можно дальше отойти от лагеря, прежде чем сесть на поезд. Я выбрал для этой цели Деммерштадт, добраться до которого, по моим расчетам, можно было за две ночи, в дневное время отлеживаясь в лесу. Я рассчитывал прикинуться офицером болгарского торгового флота, направляющимся на свое судно в один из балтийских портов: моя военно-морская форма, слегка перешитая, в глазах практически любого немца могла бы, как мне казалось, сойти за форму болгарского торгового флота, а наши ребята в лагере, занимающиеся изготовлением поддельных документов, снабдили меня целой кипой бумаг, включая и одну экзотичную и очень «балканскую» на вид бумагу на кириллице. Главный риск заключался в том, что со мной случайно мог заговорить кто-нибудь, знающий болгарский, но я прикинул, что свою игру, как говорят картежники, сыграю. Что же до остального, то наши товарищи снабдили меня продуктами на четыре дня, еще у меня был крохотный компас-пуговица, который немцы не нашли, когда подобрали

меня на берегу, было немного немецких денег и хорошая, нарисованная от руки карта, которой снабдил меня Комитет по организации побегов.

Джим и я быстро распрощались в темноте леса, пока из лагеря все еще доносился шум драки, организованной для нашего прикрытия. Собаки лаяли как сумасшедшие, слышались выкрики охранников, но прожектор в нашу сторону так и не повернули. Похоже было, что вторая фаза операции закончилась успешно.

Я заранее выучил карту наизусть и держал весь свой маршрут в голове. Первая часть моего ночного похода представлялась наиболее трудной. Надо было пробраться на восток через сосновый лес, вдали от дорог, и часа за три выйти к безлюдной дороге, по которой пройти еще четыре-пять миль на северо-восток, потом опять свернуть на восток, чтобы обойти деревню, узкими извилистыми тропками пересечь широкую равнину, где и жителей-то почти не было, и оказаться у другой лесной полосы, по моим расчетам, к рассвету. Там я собирался спрятаться и передохнуть. На следующую ночь мне пришлось бы продолжать переход по местности, где лес чередуется с открытым пространством, и на рассвете выйти к железной дороге чуть южнее Деммерштадта.

Прекрасно понимая, как трудно продираться через лес ночью, я надеялся бóльшую часть пути пройти по дорогам, если это будет возможно. Не страшно, если на проселке я встречу крестьянина или гражданскую полицию, — вряд ли весть о нашем побеге разнесется так быстро, — и я чувствовал, что сумею изобразить первого помощника капитана, пьяного иностранца, опоздавшего на поезд или сошедшего не на той станции и отправившегося искать нужную. Я не раз встречал таких в жизни.

Несколько слов о преимуществах соснового леса. Да, там невероятно темно, дьявольски темно, но зато, если сравнивать с широколиственными лесами, практически отсутствует подлесок. Пройти этот первый круг моего «забега» оказалось совсем непросто, и я скоро почувствовал, что недооценил последствия двухгодичного заключения для моего здоровья, но, хоть мне и понадобилось почти пять часов вместо трех, чтобы добраться до дороги, я все же вышел на нее и, что уже совсем удивительно, примерно в том месте, где и предполагал. Конечно, мне помогал компас, но, думаю, главным моим помощником оказался самый полезный из всех навигационных приборов — обыкновенное везение.

До чего же приятно было оказаться на дороге и сориентироваться по местности. Затем я немного отдохнул и поел. Можешь себе представить, чего мне стоил этот ночной поход, как болело и ныло все тело, — никакого сравнения ни с одним из наших с тобой путешествий в юные годы. Каждый раз, когда вдали показывались огни приближавшейся машины, я прятался в каком-нибудь придорожном саду или заползал в канаву и ждал, пока автомобиль проедет, и, по мере того как ночь близилась к концу, эти сбои с ритмичного, пусть и тяжелого хода делались все мучительнее. Пару раз, когда опять болезненно выбирался из кювета, я подумал, что уже никогда не смогу заставить себя двигаться, не смогу унять жгучую боль в стертых до крови ногах. И скажу тебе правду: к тому моменту, когда небо начало сереть, меня уже не сильно волновало, как скоро меня поймают. Было одно желание — остановиться и попить чего-нибудь.

В этом и состоял мой второй просчет. Чтобы облегчить свою ношу, я не взял фляжки с водой, рассчитывая, что в Европе везде есть вода, годная для питья. Но это совсем не так, во всяком случае в Восточной Европе. Деревни я обходил стороной, а почва там песчаная, и думаю, что ни ручьев, ни

прудов не было и быть не могло; воду можно было набрать только в колодцах, а колодцы — лишь в деревнях и на хуторах.

Хотя уже наступило утро, я без происшествий добрался до дальней лесной полосы. Отсюда были хорошо видны небольшая ферма и поилка для скота в загоне, но я не рискнул пробраться туда, чтобы напиться: солнце уже стояло высоко, и, хотя кругом не было ни души, наверняка где-то здесь караулила собака. Оставалось лишь одно: дохромать до укромного уголка в тени сосен и, переползая с места на место, собирать бледные травинки и жевать их, чтобы хоть немного утолить жажду.

Я отдыхал весь день в самом прохладном месте, какое сумел отыскать. От жажды и усталости меня подташнивало, поэтому есть я не мог, но зато поспал тем неглубоким и тревожным сном, который бывает при переутомлении. Ссадины на ногах, ноющие мышцы и пересохшая глотка, бывает, заставляют голову хорошо работать, в то время как воля, или что уж там производит отбор и дисциплинирует мысль, слишком утомлена, чтобы отстаивать свои права. Тебе знакомо это чувство? Как будто твое сознание — это своего рода оживший кинопроектор, возомнивший

себя начальником, сбросивший с лестницы киномеханика и усевшийся прокручивать со все возрастающей скоростью километры пленки лишь для того, чтобы доставить самому себе какое-то дьявольское наслаждение. Я не помню подробностей кошмарных снов, которые видел в тот день на опушке соснового леса, но на всю жизнь запомню, как давили они на мой воспаленный мозг, сколько их было и с какой безумной скоростью они проносились.

Огромное физическое напряжение и острейшее подспудное беспокойство, возможно, и послужили причиной всего, что произошло со мной потом. Раньше я не думал, что мне может просто не хватить сил. Наверное, мне не надо было расставаться с Джимом Лонгом.

Когда стемнело, я снова пустился в путь. Но эта ночь была совсем другой. Я утратил веру в себя, в свою способность довести дело до конца, и это было для меня потрясением. Впервые в жизни мое тело отказывалось сделать то, что я требовал, и этот бунт деморализовал меня. Вместо того чтобы беречь силы, я, упорствуя в своей неправоте, загнал себя, как лошадь. И думаю, что, если я сбился с курса, в этом не было ничего удивительного. Мне надо было идти на север, но мой

маршрут то и дело пересекали глубокие овраги и лощины, и это заставляло меня отклоняться в сторону в поисках удобного спуска; время от времени я видел свет на лесных прогалинах, но у меня хватало мужества и решимости обходить их стороной, как бы тяжело это ни было, а не идти прямо на огонь, чтобы сдаться и покончить тем самым с муками.

Память начинала подводить меня; сверить свой курс с картой можно было только по прогалинам, но я уже не запоминал, сколько их было, не мог найти их на карте. Я сжег все спички, пытаясь разглядеть что-то в потемках, и был настолько измучен и угнетен, что едва мог читать, не говоря уж о том, чтобы мыслить.

Наконец я наткнулся на освещенную яркой луной проселочную дорогу. Она вела куда-то на северо-восток, а не на север, но дорога была ровная, прямая, ее было хорошо видно, и после темного леса, его ухабов, сучьев и оврагов я не смог побороть соблазн и пошел по ней. Различая следы копыт и колею от проехавших повозок, я подумал, что дорога, возможно, ведет к хутору, но меня это уже не волновало. Я устало тащился вперед.

Помню, что мало-помалу мой мозг успокаивал-

ся, идти стало легче, появился правильный ритм, и из-за этого я впал в какой-то автоматизм. Как в детстве, я начал твердить про себя разные слова, что помогало выдержать ритм ходьбы: сначала это были бессмысленные фразы, потом стихи. Знаешь балладу о смуглой деве?[4] Четыре строки этой баллады вертелись в моей голове подобно монотонному стуку двигателя и вели меня за собой бог знает сколько миль:

Знает разбойник, что крепок закон:
Повяжут, потащат его,
Повесят без жалости, знает он,
Болтаться на ветру.

До сих пор удивляюсь, что, несмотря на чисто механическое отбивание ритма, к которому свел балладу, я все же задумывался и о смысле этих строк и ощущал в них некий странный, новый для меня надрыв. Непривычное сочетание: жалость — и жестокое изгнание из общества. Я никогда об этом раньше не думал. Человек, который написал эту балладу, хорошо знал, что разбойники не были романтическими героями

[4] Примечания: 4
«The Nut-Brown Maid» — английская баллада, известная с начала XVI в. и, возможно, основанная на более старой немецкой балладе.

и хотели они только одного — жалости. Да-да, это-то и самое жестокое: когда человек объявлен вне закона, у народа отнимают возможность сочувствовать разбойнику.

Если бы узкая лесная дорога привела меня на сельский хутор, думаю, я склонил бы голову перед крестьянами и взмолился о жалости. Но дорога привела туда, где людей не было.

Я шел очень долго и вот ощутил, что темные стены леса расступаются. Остановившись, я понял, что дорога вывела меня на широкий пологий гребень, безлесный и поросший густой травой, доходящей мне до колен. Я часто спрашивал себя потом, видел ли я все это той ночью на самом деле. Могу сказать тебе, что́ я позднее видел там — или мне только казалось, что видел. Я точно знаю, как это выглядело потом, когда смотрел на все это с другой стороны (если понимаешь, о чем я), но я бы все отдал за то, чтобы в точности вспомнить, как это представлялось моему здоровому сознанию, такому, как сейчас. Подозреваю, беда в том, что в ту ночь я медленно, но верно сходил с ума. Усталость и беспокойство нашли мое слабое место, эту щель, которую они всё расширяли, — и вот на выходе из леса мой мозг раскололся надвое. Когда земля разверзается у

тебя под ногами, что в тебе решает, на какую сторону пропасти прыгать?

Все вокруг заливал лунный свет. Я видел длинный травянистый гребень, уходивший на северо-запад и юго-восток. Трава была нетронутой и в свете луны казалась серой, ее покрывали какие-то белые цветы, придававшие ей молочное мерцание. Дорога, которая привела меня сюда, исчезла. Помню, мне пришло в голову, что какое-то время назад, перед тем как выйти из леса, я потерял из виду колесную колею, но мне не удалось вспомнить, в каком месте она отвернула.

Я дошел примерно до середины этого широкого открытого пространства — возможно, пожарного проезда — и остановился, потому что мне хорошо был виден лес на другой стороне, отлого спускающийся вдали с гребня напротив. Но никакой лунный свет, по крайней мере в Европе, не может быть столь ярким, чтобы я смог разглядеть этот лес в таких подробностях, будто видел его ясным летним утром. И потом… потом это был совсем другой лес — не черный однообразный сосновый лес, по которому я шел, а прекрасный лиственный лес из дубов, буков, ясеней и усыпанных белыми, дурманяще-ароматными цветами кустов боярышника. Контраст был разителен

— как между днем и ночью, тюрьмой и волей, жизнью и смертью. И, глядя вниз со своего невысокого гребня, я видел сквозь кроны деревьев на опушке того леса прекрасную открытую поляну и на ней — маленькое озеро с мерцающей водой. Мучительно больно было вновь заставить себя двигаться; мышцы стали как каменные, но все же я шел, шел прямо на блеск воды.

И еще одно поразило меня, и опять же я все отдал бы, чтобы узнать, какими глазами видел это, ибо в глубине души до сих пор не убежден в том, что удар, который почувствовал, был на самом деле. Но вот что я знаю — я действительно заметил что-то там, впереди, между мною и этим влекущим к себе лесом, нечто, не вяжущееся с каждодневным опытом, феномен, который во сне показался бы ничем не примечательным, но был совершенно невозможен в действительности. Пока я ковылял по отлогому склону, собирая остатки сил, я вдруг почувствовал, что пятачок передо мной освещен слабее, чем все вокруг, залитое лунным светом; некая зона более тусклого света, протянувшаяся в обе стороны от меня, но не по прямой, как луч прожектора, а по некой извилистой линии, будто обрисовывая контур гребня. Я знаю, что это противоречит законам

физики, что такое слабое свечение не может быть видимо в более сильном свете луны, и тем не менее клянусь, что я это видел. Может быть, и вправду к тому моменту я уже был исключен из сферы действия не только человеческих законов, но и самих законов природы?

Ничто не могло удержать меня от попытки добраться до воды. И когда прошел первый приступ мучительной боли, вызванной движением, я пустился бежать, то и дело спотыкаясь. Наверное, я шел как слепой, с вытянутыми перед собой руками, потому что именно руками я сначала ощутил удар. Руки и кисти охватила жгучая боль, как от ожога, а потом сильный удар сотряс каждую кость, каждую клетку моего тела, пробился наверх, раздробляя все на своем пути, и вырвался из черепа; глаза пронзила острая боль, как от вспышки желтого света, и мое тело, лишившееся веса и связности, взвилось газовыми клубами вверх, в темноту.



III

Собственное тело, несмотря на все его недостатки, — это вещь надежная, возвращающая уверенность в себе. Нет сомнений, я перепрыгнул через пропасть, но память моя до сих пор хранила воспоминание о той стороне. В моем сознании не возникали какие-то более или менее оформленные картины прошлого или слова, ну, скажем, как бывает, когда человек вспоминает события прошедшей недели или прошлого года, но я хорошо понимал, что существовал на этом свете и раньше, что у меня была когда-то своя жизнь, своя непростая и довольно богатая событиями история — до того, как я проснулся в этой чистой и удобной постели. Это мои собственные руки сомкнулись над пропастью, преодолев разрыв. Они, бесспорно, принадлежали мне, и я чувствовал в них слабую боль. Время от времени я поглядывал на эти аккуратно забинтованные и абсолютно бесполезные сейчас, но такие нужные и дорогие мне руки, лежащие передо мной поверх одеяла.

Если не считать легкой боли в руках, должен сказать, что я редко чувствовал себя так хорошо физически, так покойно и так свободно, как в

то утро, когда начал размышлять над тем, где нахожусь. Это совершенно точно был отнюдь не первый день, когда сознание вернулось ко мне. Я понимал, что уже довольно давно нахожусь в этой светлой просторной комнате, где пахло цветами и едва заметно лекарствами, мастикой для пола и чем-то дезинфицирующим. Выкрашенные в белый цвет двери и оконные рамы, красивые занавески на окнах и белая деревянная мебель были мне знакомы; я узнавал лица двух моих медсестер-сиделок: они ухаживали за мной уже много дней. Но в этот день закончился мой постепенный переход от пассивного восприятия к активному наблюдению.

Если бы не форменная одежда медсестер, я бы решил, что нахожусь в частном доме, а не в больнице: моя комната имела какой-то неповторимый облик и своей чистотой и привлекательностью не напоминала ни одну из больничных палат, встречавшихся в моей жизни. Не похоже было, что фаянсовая посуда, стаканы, тарелки, приборы и инструменты, которые приносили сестры, часто используются, и еда была слишком хороша для больницы. Легкий ветер, залетавший в открытое окно, шевелил занавеску, и когда утром дневная сестра удобно сажала меня в

постели, подложив за спину подушки, из окна мне были видны зеленые верхушки деревьев и голубое небо, и целый день, с первых проблесков света до темноты, где-то совсем рядом, за окном, громко пели птицы.

Я не мог есть самостоятельно, без помощи дневной сестры. Она мелко нарезала мне пищу в тарелке и кормила меня ложкой, брила и умывала, купала и вообще делала все, что должна была делать, со свойственными ее профессии уверенностью и ловкостью, энергично и умело.

Не раз сталкиваясь в жизни с медсестрами, я не рассчитывал, что они легко и сполна удовлетворят мое любопытство, но в то утро все же спросил дневную сестру, где я, и понятное дело, услышал в ответ шутливое и лаконичное: «В постели!» Думаю, между всеми медсестрами мира существует своего рода договор о том, что самое элементарное проявление интеллекта у пациента мешает им выполнять их задачу или же наносит ущерб их врачебному авторитету. Однако я сделал еще одну попытку и спросил, как ее зовут.

— Это не имеет значения, — сказала она. — Зовите меня просто Дневная Сестра.

Тем не менее такой ответ дал мне пищу для размышлений. Она говорила на очень хорошем

английском языке, но с легким немецким акцентом. Это помогло мне перебросить мост на далекую, затянутую туманом противоположную сторону расщелины.

Я начал рассуждать, пытаясь методично и с полным спокойствием делать выводы из своих наблюдений. Конечно, я догадывался о том, что могло со мной произойти, но это меня вовсе не тревожило. Вывод напрашивался сам собой, но я отложил его как вариант, который на досуге либо подтвердится, либо нет. Я был убежден, что теперь у меня будет очень много свободного времени. Впечатление, что я провел в полубессознательном состоянии много дней и ночей, было таким сильным, что граничило с уверенностью. И вдобавок я имел конкретное доказательство того, что с момента случившегося со мной несчастья должно было пройти еще больше времени, чем я думал, поскольку боль в руках уменьшилась до зуда и легкой пульсации, а единственное ощущение, с необыкновенной яркостью, живостью и силой врезавшееся мне в память, ощущение, вынесенное с той стороны пропасти, — это пронзительность боли, которую я ощутил, коснувшись того проклятого забора или как его там. Ожоги, наверное, были очень страшными, а теперь все

почти зажило. Чтобы это случилось, должно было пройти очень много времени. На следующий день после того, как ко мне вернулась способность к активному наблюдению (назовем это так), я внимательно рассмотрел свои руки, когда Дневная Сестра делала мне перевязку. Было ясно, что когда-то они были сильно обожжены, но сейчас быстро заживали. По сути дела, шрамы и рубцы вскорости исчезли и вовсе. Сейчас уже ничего и не увидишь.

Все это давало мне хотя бы некую отправную точку во времени. Не имея специальных медицинских знаний, я не мог произвести точных расчетов, но здравый смысл и опыт подсказывали, что должно было пройти не меньше трех-четырех недель. Когда же внимательно оглядел ноги, я укрепился в своем мнении. Зажили все волдыри, а я примерно представляю себе, сколько нужно для этого времени.

Определиться в пространстве было труднее. Если мои опасения были верны, я находился в таком учреждении, где нельзя надеяться получить прямые ответы на прямые вопросы. Сестры будут морочить мне голову самой нелепой и несообразной ложью. Значит, придется тихо лежать и присматриваться, неторопливо, день за днем

сводить воедино все увиденное, чтобы в итоге прийти к правильным выводам.

Вполне естественно, что я начал со своих сиделок, или, точнее, с Дневной Сестры. Ночную Сестру я видел по нескольку минут в день после захода солнца и, может быть, мимоходом рано утром. Я крепко спал по ночам, и ни разу мне не понадобилась ее помощь. Кроме того, Дневная Сестра, совершенно очевидно, была немкой и, также очевидно, профессиональной сиделкой, и все же я никак не мог поверить, что она служила в армии или же в государственной больнице. Что-то в ней было странное. И дело даже не в том, что ее превосходное владение английским свидетельствовало о более высоком уровне образования, чем можно ожидать от обычной медсестры, — в конце концов, в мире полно людей, которые с рождения владеют двумя языками. Думаю, дело было в ее одежде. Та была слишком изящной, слишком индивидуальной, как и сама комната, в которой я находился. Да, это действительно была форменная одежда, аккуратная, гигиеничная и стерильно чистая, но в то же время красивая, и носила ее она со вкусом и была в ней привлекательной, чего ни одна больница, какую я мог себе представить, или даже частная лечеб-

ница никогда бы не позволила. Вдобавок было совершенно ясно, что никакая сиделка в обычной больнице не смогла бы постоянно уделять мне столько внимания и обращаться со мной с такой предупредительностью — разумеется, в пределах, обусловленных профессиональными требованиями. Эти двое вовсе не выглядели переутомленными. По сути дела, я вскоре убедился, что был их единственным пациентом. Дневная Сестра могла проводить со мной сколько угодно времени, и я никогда не слышал, чтобы в доме звонил колокольчик, вызывающий ее к другому больному. В самом деле, кроме голосов моих сиделок, их мягких шагов по вычищенным, отполированным до блеска полам, кроме пения птиц за окном, я не слышал никаких других звуков окружающего мира.

Думаю, именно неестественная тишина тех первых дней и убедила меня в том, что я нахожусь в частной лечебнице для душевнобольных. Определив таким образом свое местонахождение, я решил попытаться при помощи наблюдений и дедукции узнать, как я попал сюда и почему со мной обращаются как с весьма состоятельным пациентом, а не как с военнопленным, потому что никакого выпадения памяти, как ты пони-

маешь, у меня не было: я все время отдавал себе отчет в том, что я — офицер Военно-морских сил Великобритании, помнил свое имя, как называется мой корабль и лагерь, в котором я находился до побега.

Задавать вопросы Дневной Сестре было абсолютно бессмысленно, хоть я и пытался делать это очень тонко. Она не была молчаливой, но обладала весьма своеобразной способностью в непринужденной и занимательной беседе не выходить за пределы профессиональных тем и не сказать ничего, кроме того, что имело отношение к моим телесным нуждам.

Всплыл лишь один-единственный факт, давший мне пищу для целого ряда размышлений: по ее словам, это место именовалось Хакельнбергом. Это был конкретный, радовавший меня факт, но сделать выводы из него я не смог, вернее, из этого вытекало еще одно обстоятельство, которому не было объяснений. К великой своей радости, я обнаружил, что, сосредоточившись, могу мало-помалу во всех подробностях восстановить в памяти ту карту, которой снабдил меня лагерный Комитет по организации побегов, и теперь, лежа с закрытыми глазами и мысленно в нее вглядываясь, я убедился, что такого названия на ней не

было. А значит, я находился по меньшей мере в сорока милях от лагеря Офлаг XXIX Z, ибо столько охватывала карта. Не было никакого смысла пытаться выяснить у Дневной Сестры, знала ли она о том, что я британский военнопленный. Я говорил по-английски с того самого момента, как пришел в себя, и, без всякого сомнения, бредил тоже по-английски. Доктор наверняка сообщил обо всем полиции, и офицеры разведки приходили взглянуть на меня: я представлял, как пара эсэсовских парней роется в моих нехитрых пожитках, изучает мои бумаги, карту и крошечный компас — предметы, рассказавшие им без околичностей историю моего побега, — а потом совещаются с доктором и в конце концов, согласившись с его диагнозом, оставляют меня здесь.

Да, но на чьем попечении? Кому принадлежит этот дом? Почему его владельцы или те, кто управляет домом от их имени, должны лечить меня и ухаживать за мной? Филантропы редко занимаются такими заведениями. Я часами обдумывал этот вопрос, и в результате в мою душу закрались сомнения в том, что я нахожусь в частной клинике для душевнобольных. Если же все-таки это была именно такая больница, мое присутствие здесь объяснялось разве что

тем, что мой случай представлял интерес для лечащего врача, который держал меня здесь и лечил из чисто научного любопытства. Но я вынужден был признаться себе в шаткости этой версии. Если же я находился не в клинике для душевнобольных, тогда оставалось единственное правдоподобное объяснение: этот дом принадлежал некоему эксцентричному богачу, наделенному чувством сострадания и имеющему большие связи; возможно, он (или она?) и сам страдает некой тяжелой болезнью, что объясняет и присутствие в доме высококвалифицированных сиделок, и их необычный для больничных сиделок внешний вид.

Я назвал хозяина этого дома богачом — да, в самой атмосфере дома чувствовалось царящее здесь материальное благополучие. В комнате не было ничего старого или ношеного, потертого; для того чтобы так изящно одеваться и быть такими подтянутыми, вышколенными, медсестрам надо получать очень хорошую зарплату; безупречная чистота пола и отполированная деревянная мебель свидетельствовали о том, что прислуги было много: я заметил, что медсестры уборкой не занимались. Собственно говоря, хотя я на все это не обращал особого внимания, мне

все же было известно, кто занимался уборкой.

Я и раньше не раз видел его ранним утром. Это был молодой человек крепкого телосложения, на четвереньках молчаливо и упорно натирающий и без того до блеска отполированные полы. Окончательно проснувшись, я стал следить за ним пристальнее. Он был толстый и откормленный, и, хотя почти все время держался ко мне спиной, я ненароком рассмотрел его лицо. Оно было гладким и невыразительным, с бледно-голубыми глазами, волосы на голове коротко подстрижены. Полное тело, немота и взгляд теленка, поза на четвереньках — все это придавало ему вид некоего сильного и спокойного домашнего животного — вола или буйвола. Впечатление усиливалось тем, как он был одет в то раннее утро, когда я впервые обратил на него внимание: он был без рубашки, на нем были только довольно тесные брюки, сшитые из какого-то хорошего, крепкого на вид коричневого материала, на ногах — пара добротных ботинок из, кажется, резины или, возможно, чего-то вроде искусственной кожи, нового для меня материала — мягкого, прочного и удобного.

Я заговорил с ним в то утро, когда не было сестры, но он на мои слова обратил не больше

внимания, чем буйвол, окажись тот на его месте. И все-таки нетрудно было догадаться, кто он такой. Немец его возраста не мог бы работать домашней прислугой: он был бы призван в армию или трудился на военном заводе. Если бы это было заведение военного типа в какой угодно стране, можно было бы сразу сказать, что он военнопленный. Но я находился в Германии и знал немецкую систему вербовки так называемой рабской силы из оккупированных немцами стран и доступности ее для частных предпринимателей. Этот парень был славянином, военнопленным, работающим по найму, и вид у него был определенно мужицкий. После того как я внимательно рассмотрел его ботинки и материал, из которого были сшиты его брюки, я стал пристальнее изучать и все прочие ткани и предметы, окружавшие меня, и нашел и здесь пищу для размышлений. Не могу утверждать, что много знаю о тканях или что вообще когда-либо обращал на них внимание, но то, что я увидел здесь, поразило меня своим высоким качеством и дороговизной. К примеру, моя пижама была сшита из шелка или из ткани, которую я ни за что не смог бы отличить от шелка; простыни были из тончайшего полотна, а одеяло — опять

же из шелка; фарфоровая посуда, из которой я ел, была изящна и изысканна, а стеклянная… я долго вглядывался в бокал, мензурку и другие стеклянные предметы, стоявшие на столе рядом с моей постелью, и пришел к выводу, что они сделаны вовсе и не из стекла, а из некоего высококачественного пластика, который можно, как стекло, резать, гранить и шлифовать, но при этом нельзя разбить. Я убедился в этом, когда столкнул со стола забинтованной рукой один из самых хрупких сосудов. Упав на пол, он не разлетелся вдребезги.

Такие мелкие подробности производят глубокое впечатление. Они свидетельствуют о высокоразвитой промышленности, изобилии материальных благ, дающем возможность пользоваться в быту только новым и совершенным оборудованием. Конечно, у немецкой химической промышленности, производства пластмассы и синтетических материалов всегда была высокая репутация, но после почти четырех лет войны горько было видеть подобное изобилие в жизни штатских.

Во всяком случае, мебель и полы в моей комнате были сделаны не из каменноугольной смолы или пульпы, а из натурального дерева, сохранившего всю красоту и разнообразие леса.

Древесина была подобрана и отделана теми, кто любил свое дело. Я начинал чувствовать, что уже что-то знаю о характере владельца Хакельнберга. Он был богат, это несомненно. Может быть, потомственный аристократ или один из магнатов старой Империи, которых нацисты сочли за благо оставить в покое; один из тех, кто не только был в состоянии покупать самые лучшие товары, производившиеся на фабриках, но также имел достаточно вкуса, чтобы соединить их с плодами труда лучших сельских ремесленников, работающих по дереву. Думаю, он был большой любитель леса и лесной живности.

Да, скажешь ты, но во всем этом столько же фантазии, сколько и дедукции. Конечно, Шерлок Холмс добился бы куда большего, имей он в качестве пищи для размышлений одну комнату и трех действующих лиц, но я горжусь тем, что нарисовал верную в общих чертах картину.

Первое подтверждение собственной правоты я получил из самого неожиданного для меня источника — от Ночной Сестры, которой я и двух слов-то не сказал, разве что «доброе утро» или «добрый вечер». И все же странно, что я узнал об этом именно от нее.

Я уже говорил, что начало всем моим размыш-

лениям положила необыкновенная тишина, царившая в этом доме. Конечно, для тишины в доме имелось и другое объяснение: я был гостем, гостем-пленником, если тебе так больше нравится, в некоем загородном доме. Поместье, безусловно, было очень большим. Насколько большим, я не знал, потому что, даже когда сестер не было и мне, выбравшись из постели, удавалось доплестись до окна, я не мог разглядеть окрестности: деревья, окружавшие дом, были слишком высокими, а их кроны слишком густыми, чтобы увидеть хоть что-нибудь, кроме буйной зелени. Однако из-за окна не долетали ни шум уличного движения, ни даже самый отдаленный гудок автомобильного рожка или свисток паровоза. Ни разу не слышал я и гул самолета: в Германии-то, в 1943 году — удивительное дело. Да, конечно, Третий рейх, расширивший к тому моменту свои границы, был намного крупнее Британии, и сеть аэродромов на территории Восточной Германии могла быть и не такой густой, как, скажем, в Восточной Англии. Я предполагал, что Хакельнберг расположен намного восточнее пределов досягаемости наших бомбардировщиков; в моей комнате не было занавеса затемнения, никаких предосторожностей подобного рода не соблюда-

лось, а медсестры, судя по их разговору, как будто вообще не знали, что Германия воюет. Ну конечно, они это делали сознательно, такова была их работа — ухаживать за мной и избегать тем, которые могли бы меня встревожить. Каждый раз, когда я заводил речь о войне, Дневная Сестра делала вид, что совершенно не понимает, о чем я, и просила не волноваться из-за того, что давно ушло в прошлое, пытаясь при этом развлечь меня беседой о цветах.

Но потом, спустя примерно неделю после моего полного пробуждения, я начал различать какие-то звуки. Мои руки к тому моменту уже совершенно зажили, и я чувствовал себя превосходно. Мне хотелось встать с постели, круглосуточное лежание начинало меня тяготить. Так что я перестал крепко спать по ночам.

Сначала я думал, что эти звуки мне снятся, потому что слышал их в полудреме, снова засыпал и лишь утром вспоминал об услышанном. Они долетали издалека и совсем не вязались с той упорядоченной, ограниченной узкими рамками жизнью, которая шла вокруг. Это были звуки рога, повторявшиеся через большие промежутки времени, и каждый раз в кромешной тьме и полном безмолвии он пел так одиноко, как одинок парус

в бескрайнем море. Мне доводилось слышать звуки горна в темноте и в пустыне моря, слыхал я и английский охотничий рожок и знаю, как от этой музыки порой сжимается сердце. Но теперь я слышал другие звуки. Я не мог представить себе то место, на фоне которого они раздавались, чувствуя лишь скрытую в них глубокую тоску, их дикость, исступленность и необычность. Сквозь скуку и монотонную притупленность моей полудремы они доносили неутешную скорбь и боль. Я вспомнил, как печальны эти звуки, когда день был уже в полном разгаре, а на следующую ночь, лежа в темноте и вполне очнувшись от сна, понял, что жду их, хотя и надеюсь, что не услышу.

Однажды ночью я услышал их еще до того, как заснул. Сомнений не было — это не сон. Ночь была светлая, приближалось полнолуние, по небу маленькими островками разметались белые облака. Я выскользнул из постели и замер, прислушиваясь, у открытого окна. Дул ветер, он играл звуками рога, то поднимая их, то, изменив направление, унося вдаль; эти подъемы и спады придавали мелодии той ночью некое новое качество. Печаль и боль были неизменны, как и раньше, но дикость и исступленность преобладали. Казалось, что охотник, трубящий

в рог, рыскал по лесам, искал дичь, и рог его пел иной раз с тревожным неистовством, а иногда в нем слышалась долгая гаснущая нота горечи и поражения.

Ночную тишину переполняли звуки. Лес был беспокойным и тревожным, как океан. Ветер шумел в ветвях буков за моим окном, деревья беседовали друг с другом на тысяче разных языков; играл весь лесной оркестр, и солировал в нем охотничий рог. Мое воображение рисовало самые разные голоса и инструменты в этом безумном разговоре; оно превращало жалобный скрип раскачивающихся ветвей в скулеж гончих псов, а неожиданно громкий шелест листьев под напором ветра мог оказаться шумом бегущей своры. Я долго стоял у окна, вслушиваясь и стремясь выделить рог из всех прочих звуков, и почувствовал странное беспокойство духа, все усиливающееся во мне; это была не та печаль, какую вызывала песня рога прежде, а скорее нервозность, мрачное предчувствие — то подкашивающее ощущение опасности, которое иногда посещает еще до того, как начинаешь понимать, с какой стороны исходит угроза и каким оружием тебе угрожают.

Я вслушивался до тех пор, пока звук рога не растаял вдали, и мое ухо больше не могло разли-

чить его среди шелеста и вздохов беспокойных деревьев, а потом забрался в постель и долго лежал, глядя на залитый луной квадрат окна, все еще ожидая, что мелодия прозвучит опять, и наконец уснул.

Но перед тем как окончательно рассвело, я снова проснулся, внезапно вырванный из сна звуком рога, раздавшимся где-то очень близко и громко. Ветер стих, луна зашла; было тихое, серое утро; и тут я услышал трубный, высокомерный звук, огласивший мрачные предрассветные сумерки. В нем слышалась настойчивая нота триумфа. Я высунулся в окно, стараясь как бы пронзить взглядом плотную преграду из деревьев; трубач мчался по лесу где-то недалеко от моего окна и удалялся куда-то вправо от моей комнаты.

Боковым зрением я увидел неясные очертания какой-то фигуры в белом, в полумраке скользившей по комнате, и сначала страшно испугался, но потом узнал Ночную Сестру.

— Немедленно назад в постель! — прошептала она, и ее тихий требовательный голос показался мне властнее и безапелляционнее, чем когда-либо.

Она встала между мной и окном, загораживая его спиной, как будто хотела помешать мне вы-

броситься из него, и я увидел, что она все время внимательно прислушивается к этим ликующим заносчивым звукам, слабеющим по мере удаления от нас.

— Что это? — спросил я, когда послушно лег и укрылся простыней.

Совершенно неожиданно для меня она дала прямой и серьезный ответ:

— Это граф возвращается домой.

Я был уверен, что она сказала правду; на секунду она забыла, что я ее пациент, и в ее голосе помимо воли прозвучала та смутная тревога, какую ощущал я сам, прислушиваясь к звукам рога прошлой ночью.

— Граф? — спросил я. — А кто он, этот граф?

Она подошла ближе и посмотрела на меня сверху вниз так, что я смог разглядеть ее черты в сером свете, падающем из окна. Она пробормотала что-то по-немецки, а потом объяснила по-английски:

— Граф Иоганн фон Хакельнберг.

— А кто он? — настаивал я, твердо решив сполна использовать открывшуюся возможность, раз она, наверное с испугу, стала обращаться со мной, как с вполне нормальным человеком.

Но она смолкла и задумалась, прежде чем от-

ветить, как будто мое невежество напомнило ей о том, что я все-таки был не вполне нормален, и тем не менее объяснила:

— В общем, он главный лесничий рейха.

— Разве? — спросил я. — А я думал, эту должность занимает маршал Геринг.

Я мог бы с равным успехом назвать имя нашего корабельного кота, ибо на ее лице не отразилось ничего. Я видел, что она уже справилась с приступом искренности и вернулась в свое прежнее состояние, притворяясь для меня, что современного мира не существует, — я предполагал, что этот обман был частью моего лечения.

Она казалась довольно озадаченной и рассеянно повторила эту фамилию несколько раз, явно думая о чем-то совсем другом. Затем постаралась вернуться к своему прежнему тону, резкому и повелительному, что ей удалось, и взбила мои подушки.

— Ну-ка, давайте! — приказала она. — Вы должны уснуть. Нельзя просыпаться так рано. Вам это вредно. — И она быстро вышла из комнаты.

При свете дня я перебирал в памяти события прошедшей ночи и чувствовал, что доволен. Наконец-то я узнал что-то определенное. Для меня было новостью, что Герман Геринг лишился

одной из своих должностей, но, скорее всего, в лагере Офлаг XXIX Z мы никогда бы об этом и не узнали. Одно стало ясно — я был гостем главного лесничего собственной персоной, и мне казалось, что это многое объясняет, во всяком случае больше, чем остается необъясненным. Но какой же странный характер должен быть у графа фон Хакельнберга, охотящегося в лесу при свете луны! Так легко и шею сломать, подумалось мне. Потом я стал вспоминать всякие россказни о наших чудаках-англичанах, живших в восемнадцатом веке. Я вполне допускал, что услышанное мною не имело никакого отношения к охоте; может быть, это была просто пьяная прогулка верхом по лесу, дикий кутеж молодых нацистов, а старый граф скакал по их следам, трубя в свой охотничий рог. Картина была довольно правдоподобной, но меня не убеждала. Рог звучал слишком часто, и продолжалось все это слишком долго, да и Ночная Сестра реагировала совсем не так, будь это пьяное буйство молодой компании. Звук рога, возвещавший о возвращении графа домой, был ей хорошо знаком. И испугало ее то, что было ей слишком хорошо известно.



IV

Утром Дневная Сестра влетела в комнату, неся мой завтрак, и я заметил явную перемену в ее поведении. Она была преисполнена чувством собственной значимости и невыносимо авторитарна. Я не очень удивился, когда, стремительно убрав остатки моего завтрака и безупречно выровняв кристально чистые сосуды на прикроватном столике, она объявила, что меня придет осмотреть доктор. Дневная Сестра заставила меня нервничать из-за явно чрезмерного значения, которое она придавала его визиту, но зато, как будто желая утешить меня и загладить свою резкость и бесцеремонность, незадолго до назначенного времени прихода врача поведала мне, что, возможно, он разрешит мне вставать, если найдет мое состояние удовлетворительным. Меня побрили и умыли, переменили пижаму, постель перестелили; в комнате, где и без того не было ни пылинки, еще раз вытерли пыль, обновили в вазе цветы, а по и без того блестящему полу снова прошелся с щеткой один из рабов, трудившийся как заведенный. И наконец Дневная Сестра сняла повязки с моих рук, достала стерилизатор и раз-

нообразные блестящие инструменты, а потом, когда снаружи послышались приближающиеся легкие шаги, с выражением строгого внимания на лице встала у моей постели.

Доктор вошел, мурлыча под нос какую-то веселую мелодию, окинул взглядом комнату и обратился к Дневной Сестре, застывшей по стойке смирно; взгляд ее словно остекленел. В Англии я бывал свидетелем чрезмерного усердия медсестер, их вышколенных ответов офицеру военно-морской службы; кроме того, я знаю, что такое немецкая дисциплина, но то, что я видел сейчас, превосходило в «прусскости» и самих пруссаков. Старшина-рулевой, отвечающий в день смотра адмиралу, и в подметки не годился бы Дневной Сестре. Она напоминала стеклянную статуэтку, во всяком случае несгибаемостью; ее короткие ответы были резки и отрывисты, как удары хлыстом. Сам же доктор был менее всего похож на офицера. Он лениво прохаживался по комнате и, расспрашивая Сестру, оглядывал ее с головы до ног, интересуясь скорее ее фигурой и платьем, чем тем, что она говорила. Это был молодой человек с бледным, одутловатым лицом и довольно интеллигентной внешности, но властный, высокомерный и потакающий соб-

ственным слабостям. На нем были белые брюки, кремовая шелковая рубашка и яркий шелковый платок, небрежно повязанный вокруг шеи. Мне казалось, что такой доктор, прежде чем войти в палату, вполне мог оставить за порогом теннисную ракетку.

Выслушав рапорт Дневной Сестры и взглянув на мою температурную карту, он подошел ко мне, нахмурил брови и покачал головой, но при этом выглядел вполне довольным. Осмотр был совершенно поверхностным и формальным: он послушал мне сердце, померил пульс, раздвинул веки и заглянул в глаза, наконец после того, как долго разглядывал мои руки, распрямился и сказал на очень хорошем английском:

— Теперь вы можете вставать с постели. Пойдемте поболтаем у меня в кабинете.

Дневная Сестра оттаяла в тот самый миг, когда он вышел из комнаты, и ее облегчение оттого, что пытка закончилась, буквально перехлестывало через край. Она принесла мне роскошный парчовый халат и пару шлепанцев, сделанных из точно такой же мягкой искусственной кожи, что и одежда слуги-славянина.

Чувствовал себя я превосходно, только от долгого лежания в постели ноги были ватными, и я

обрадовался, когда Дневная Сестра предложила мне опереться на ее руку. Я впервые выходил за пределы палаты и лишь изрядным усилием воли скрыл неуемное желание увидеть, что же представляет собой этот дом. Но я едва успел осмотреться, поскольку кабинет доктора находился рядом, надо было только пройти по широкой веранде. Однако мне удалось понять, что дом одноэтажный, деревянный и очень просторный и покоится на высоком кирпичном фундаменте. Моя же комната была угловой. Лес подходил очень близко к дому; сада не было, вокруг лишь природные газоны — лесные лужайки.

В кабинете доктора было темнее от деревьев, чем в палате. Сквозь листву пробивался зеленоватый свет, и все же выбеленные стены и отполированные до блеска полы и мебель делали ее светлее. Комната была одновременно кабинетом и приемной врача; вдоль стен располагались книжные шкафы и стеллажи с инструментами, а посередине стоял огромный деревянный письменный стол. Доктор предложил мне сесть в мягкое кресло рядом со столом и развернулся на своем вращающемся стуле, кивком отпустив Дневную Сестру.

Думаю, в то утро я говорил намного больше, чем

следует военнопленному. После сбивавшего меня с толку «юмора» моих сиделок было так приятно поговорить с кем-то, кто относился ко мне (по крайней мере, так казалось) как к нормальному человеку, а не как к сумасшедшему. Да, конечно, это было наивно с моей стороны, но мне и в голову не пришло, что он просто хотел разговорить меня, дабы изучить получше. Я-то думал, наша болтовня доставляет ему удовольствие. У меня сложилось впечатление, что ему просто нечего делать, он скучает и рад встрече с новым человеком, но я упустил из виду, что он уже должен знать обо мне довольно много. Не знаю, сколько правил безопасности мною было нарушено, но под влиянием его заинтересованности и наводящих вопросов я рассказал ему всю историю своего побега, скрыв один-единственный факт: что вместе со мной бежал Джим Лонг. Он что-то рисовал в своем блокноте, пока я говорил, но записей не делал. Когда я закончил, он долго молча смотрел на меня. Думаю, лишь в тот момент, когда я заглянул в его глаза, я почувствовал в его поведении что-то похожее на расчет, что-то вовсе не такое уж естественное и вызывающее доверие, как мне показалось вначале.

— Скажите же, — вырвалось у меня, — почему

вы не сдали меня в полицию? Ведь я не скрывал, что я англичанин и военнопленный.

— В полицию? — повторил он задумчиво. — В этом нет никакой необходимости. Все леса рейха находятся под юрисдикцией главного лесничего.

— Но я военнопленный, — продолжал я упорствовать. — И заниматься мной должны военные.

– *Ja, ja*[5], — согласился он. — Понимаю. Не надо спешить. Сначала мы должны вас вылечить.

И тут я разозлился, потому что понял: он обращался со мной точно так же, как и сестры, — мягко подтрунивая над несчастным умалишенным.

И я с вызовом спросил:

— Вы, наверное, думаете, что я сумасшедший, да?

— Мой дорогой друг, — произнес он, раздражая меня своей бойкостью и речистостью, — мой дорогой друг, я вовсе не считаю вас душевнобольным. Ну да и будь так, я бы не очень переживал. Ваш случай интересен мне с точки зрения физиологии. Вы попали в поле действия лучей Болена. Как правило, это заканчивается смертельным исходом, но мое лечение вам помогло. Я очень

---

[5] Примечания: 5
Да, да *(нем.)*.

вами доволен. Полагаю, вы здоровы и вам нужно лишь немного времени и тренировки, чтобы вернуть силу мышцам.

— Но я же вижу, что вы считаете меня человеком с неустойчивой психикой, — настаивал я. — И даже если это не представляет для вас интереса, все-таки вы врач и можете отличить сумасшедшего от нормального. Так я сумасшедший?

Он посмотрел в окно, углы его рта опустились, как будто мой вопрос показался ему неуместным или таким, на который невозможно дать ответ. Но потом скучающим и довольно-таки бесцеремонным тоном он пояснил:

— У вас должны были произойти некоторые церебральные нарушения. Временная потеря памяти — в порядке вещей. Можно ожидать и галлюцинаций или некоего рода манию. Похоже, ваша мания состоит в том, что вы верите, будто живете в давно прошедшие времена. Наверное, вы начитались книг по истории Войны за Германские Права, да?

— По истории? — переспросил я, начиная тревожиться. — Ну да, конечно…

Он перебил меня, не дослушав:

— Но меня это не беспокоит. Это пройдет. — Он

оглядел меня с тем же вялым любопытством, с каким рассматривал Дневную Сестру: его явно интересовало лишь мое физическое состояние. — Ну и что с того, если не пройдет? — спросил он. — Ваше тело снова в порядке. Сомневаюсь, что здесь кто-нибудь особенно заинтересуется вашим сознанием.

Меня уже не обманывали его показное добродушие и общительность, но жестокость последних слов поразила. И пусть я был встревожен и озадачен тем, что он сказал насчет моей мании, в глубине души я был убежден, что психически абсолютно нормален, и поэтому твердо решил принимать его грубость спокойно и хладнокровно.

— Я не настолько самонадеян, доктор, чтобы возомнить, будто моя психика интересует кого-нибудь, кроме меня самого, — сказал я. — Но я хотел бы поблагодарить вас за то, что о моем теле здесь так хорошо заботились; оно действительно в порядке, и единственное, что беспокоит меня сегодня, — это мысль о том, что вы собираетесь с ним сделать теперь, когда вы его «отремонтировали». Будут со мной обращаться как с военнопленным или нет?

Он оперся локтями о стол, положил подбородок

на сцепленные пальцы рук и приподнял брови, глядя на меня с каким-то вызывающим тревожное чувство удовольствием.

— Знаете, а вы мне нравитесь, — сказал он. — Беседа с вами действует на меня освежающе. Вдобавок вы, кажется, хороший слушатель, и у меня появится прекрасная возможность попрактиковаться в английском. Я не имею ни малейшего представления о том, что с вами собирается делать граф, но в моей больнице фюрер — это я, и если занимающий вас период настолько далек от современности, что вы не знаете, кто такой фюрер, поясню: фюрер — все равно что Господь Бог, и поскольку мне нравится ваше общество, я продержу вас здесь столько, сколько смогу. Вы не представляете себе, как тоскливо жить одинокому интеллектуалу, если его окружают одни охотники и рабы. Уверен, вы пробудите у меня вкус к разного рода наблюдениям насчет этого заведения, и, к счастью, ваше… э-э… нездоровье позволит мне высказывать их относительно свободно и без оглядки. Вы можете сохранить за собой свою комнату до тех пор, пока она не понадобится мне еще для какого-нибудь пострадавшего от несчастного случая, но прошу вас оказать мне честь со мной отобедать. И если

представится такая возможность, я проведу для вас экскурсию по всему поместью. Но должен предупредить вас: не ходите гулять в одиночестве, особенно по ночам. Я буду очень горевать, если первого пациента, столь успешно вылеченного мной от воздействия лучей Болена, так непрофессионально проанатомируют графовы гончие псы или какие-нибудь другие существа, которых он у себя держит.

Поднявшись из-за письменного стола, доктор мягкой походкой подошел ко мне и с ухмылкой похлопал по плечу.

— Итак, герр лейтенант, примите свою военную фортуну, как подобает солдату ваших давно ушедших героических времен, и ровно в половине первого приходите разделить с противником трапезу из куска оленины и бутылки бордо. Ах да! — воскликнул он. — Я же должен дать вам, во что переодеться. Думаю, вашу одежду сожгли.

Он наклонился к какому-то маленькому прибору на письменном столе и начал что-то говорить тихим голосом. Тем временем я встал и подошел к чудесным электрическим часам, стоявшим на книжном шкафу (он кивнул в их сторону, когда приглашал меня на ленч). Изящной работы часы, кроме циферблата, имели еще термометр

и барометр, а в маленьких освещенных отверстиях можно было увидеть еще какие-то числа, значение которых мне было непонятно. Потом я сообразил, что одна цифровая комбинация, очевидно, соответствовала числу и месяцу. Сегодня было 27 июля. Но под этим числом стояло число 102.

Пока я пялился на часы, ко мне подошел Доктор.

— А, — сказал он, — восхищаетесь моим хронометром? Да, вас как офицера военно-морских сил это должно заинтересовать. Но что вас так озадачило в нем?

Я указал на число 102.

– *Ja, ja*, — произнес он. — Это же год. Хотя, наверное, это лишнее.

— Год? — переспросил я, уставившись на него.

Он запрокинул голову и громко расхохотался, а потом извинился с явно преувеличенной учтивостью:

— Увы, так трудно совместить двух людей, живущих в разных столетиях. Прошу меня простить, но мне следовало объяснить вам раньше, что я — конечно же, только из соображений удобства — присоединяюсь к конвенции, согласно которой мы живем в сто втором году Первого Германского

Тысячелетия, как заповедано нам нашим Первым Фюрером, Бессмертным Духом Германизма, Адольфом Гитлером.



V

До сих пор не могу понять, почему за все время в Хакельнберге я ни разу не усомнился в собственной нормальности. Возможно, потому, что мое мнение о происходившем не успело сформироваться: я оказался в весьма необычных обстоятельствах, которым не смог сразу же дать убедительного объяснения, но такое объяснение должно было существовать, и я чувствовал, что в конце концов найду его — терпеливо наблюдая и неустанно размышляя. Внутри себя я ощущал невероятный запас терпения. Может быть, оно досталось мне в наследство от лагеря. Ведь замыслить побег, для осуществления которого надо вырыть длинный туннель, и справиться с этой задачей просто невозможно, если не научишься терпению. И все же удивительно, почему я так легко пошел на то, чтобы оставить вопрос о хронологии подвешенным. Доктор был уверен, что живет сто лет спустя после войны, я же, в свою очередь, не сомневался, что живу во время войны: только время могло показать, кто из нас прав. Да, время, но еще и пространство. Я чувствовал, что если бы смог побродить по Хакельнбергу и

встретиться с другими людьми, то быстро сумел бы разобраться в ситуации.

И тем не менее во мне глубоко засело убеждение, что, даже если предположить правоту доктора, само по себе это вовсе не должно было означать, что я сумасшедший. Доктор считал, что я страдаю некой безобидной манией, но возможно и другое объяснение: что, если, пока я был без сознания, прошел целый век? Разве не мог я проспать в лесу, который именуется теперь Хакельнбергом, целых сто лет, как Рип ван Винкль в Кэтскильских горах?[6]

Да, пожалуй, скажешь ты, если я мог принимать такое объяснение всерьез, моим умственным состоянием впору обеспокоиться. Но что, собственно говоря, должен думать человек, если он чувствует себя таким здоровым, таким уравновешенным, таким психически нормальным и с таким живым интересом относится ко всему, что его окружает? Никогда раньше я не замечал в себе такой склонности к наблюдениям, не запоминал так хорошо все, что видел. Говорю тебе — мои воспоминания о Хакельнберге, о том, что я видел, чувствовал и делал там, кажутся мне куда

---

[6] Примечания: 6
Герой новеллы Вашингтона Ирвинга «Рип ван Винкль» (1819).

реальней и ярче, нежели любой другой эпизод из моей жизни.

Все это было таким настоящим и даже — хоть и странно прозвучит, учитывая все, что случилось со мной потом, — захватывающе интересным.

Но я вовсе не хочу сказать, что все сделанные мной открытия были из числа приятных. Нет, ни в коем случае. По сути дела, они страшно напугали бы меня, если бы я продолжал совершать подобные прыжки во времени — то туда, то обратно, — чтобы взглянуть на происходящее глазами человека из 1943 года. Но я этого не делал. Я принял как данность историю последнего столетия в том виде, в каком она была известна в Хакельнберге, а дальнейший побег из Хакельнберга означал побег не во времени, а в пространстве. Главная проблема состояла в том, чтобы снова преодолеть барьер из лучей Болена.

И наконец, если говорить честно, разве можно обвинять скромного лейтенанта ВМС Великобритании в том, что в середине 1943 года он допускал вероятность немецкой победы. Нам, узникам лагеря, могло бы даже казаться, что Германия уже победила. Но если бы это произошло и сто последующих лет лишь укрепили ее могущество, значит вожди нацистов в буквальном смысле ста-

ли повелителями мира. А нацистские боссы, как мы хорошо знаем, имели задатки чудовищных тиранов; завоюй они мир — и рядом с причудами их деспотизма анналы римских императоров и татаро-монгольских ханов будут читаться как протоколы церковно-приходских собраний.

К сожалению, выходило, что я попал в уединенный район Германской Империи, в частный охотничий заповедник, и не имел никакой возможности наблюдать за тем, что происходило во всем мире. Я мог лишь теоретизировать об абсолютной власти Расы Господ над всем земным шаром.

Итак, я был пациентом-пленником (ему больше нравилось называть меня гостем) герра профессора доктора Вольфа фон Айхбрунна, но я не сомневался, что судьба моя находится в руках главного лесничего — графа Ганса фон Хакельнберга. Мне не очень-то нравилось, что, лишь заслышав имя графа, весь больничный персонал понижал голос и съеживался от страха. Я вспоминал испуганный шепот Ночной Сестры, когда она застала меня у окна, прислушивающегося к звукам рога.

Один только доктор свободно упоминал имя главного лесничего, но я заметил тревогу и

беспокойство, проглядывавшие из-под маски показного превосходства, и к тому же, когда фон Айхбрунн высмеивал суровую дисциплину, которой добился в своем заведении, и возводил вину за это на систему, его неискренность была совершенно очевидной.

Впервые отобедав с ним, я заметил, что все меньше внимания обращаю на его реплики и все больше изучаю персонал. Я сделал небольшое открытие: только половина девушек в доме были профессиональными медсестрами, а остальные шесть — горничными, хотя, в общем-то, нелегко было понять круг их обязанностей, если не считать того, что они стояли за нашими спинами во время обеда; ведь в доме было по меньшей мере с десяток мужчин — молодых мужчин, очень похожих телосложением и внешностью на того парня, который убирался в моей комнате. Двое из них приносили блюда из кухни в столовую, а потом стояли у буфета, в то время как две горничные обслуживали нас за столом. Мужчины всегда были раздеты до пояса, и это позволяло хорошо рассмотреть их откормленные, лоснящиеся тела; их зеленые или коричневые ливрейные брюки плотно обтягивали бедра; каждый был на полпути к ожирению, удержаться от которого им

помогала лишь тяжелая работа, и ведь никто из них не был старше двадцати двух лет. Заметил я и то, что все они носили на шее тонкий ошейник из какого-то блестящего металла.

— Они дешевле машин, — вот что сказал доктор в ответ на какую-то мою реплику. — А вдобавок у графа предубеждение против всего механического. Он может уступить в вопросах, связанных со средствами уничтожения, но скорее даст мне трех рабов, чем один пылесос.

— Кто они? Кто по национальности? — спросил я.

Он пожал плечами:

— Думаю, что славяне. Собственно говоря, никогда не интересовался их происхождением. Мне они кажутся просто комками некой однородной низшей расы. Сейчас их много разводят в Южно-Российском Гау[7]. Боюсь, что ваше, так сказать, выпадение из современности не позволит вам познакомиться с открытиями Весслера в области искусственного зачатия и с применением процессов Рёдера — Шваба для ускорения роста. Не правда ли, приятно осознавать, что отцом этих двух буйволов был, возможно, один и тот

[7] Примечания: 7

Гау — административно-территориальная единица в средневековой и гитлеровской Германии.

же кусочек медной проволоки… А сколько лет вы им дадите?

Я предположил, что где-то около двадцати двух.

— Не более пятнадцати, а вероятнее всего, двенадцать. Не по годам зрелые ребятишки, а? Но это раннее развитие касается лишь тела, и слава богу, что так, скажу я вам.

— Не знаю, не знаю, насколько я был бы рад, имея под командой двенадцать здоровых парней с умом малого дитяти, — заметил я.

Он ухмыльнулся:

— О, конечно, без определенных мер предосторожности не обходится. Наверняка со временем выведут и таких, у которых вообще не будет разных лишних органов, а сейчас заводчики вскоре после рождения отсеивают тех, что могут причинить беспокойство. Вы заметили, наверное, что они не разговаривают? Граф считает целесообразным заранее провести небольшую операцию на их голосовых связках.

Я перевел взгляд с рабов на двух молодых девушек, в изящных зеленых с белым форменных платьях ожидавших наших приказаний, и спросил:

— Это тоже рабыни?

— Ну что вы, нет! — ответил он, глядя на них с гордостью. — Это чистокровные немецкие девушки. У графа довольно много рабынь, но мне бы не хотелось с ними возиться. У правильно воспитанных немецких детей дисциплина входит в плоть и кровь. Если какая-нибудь из девушек нарушает правила, другие тотчас доносят об этом. *Selbstzeuchtigung!*[8] Но обычно преступница предвосхищает события и сама сообщает о своем проступке и даже предлагает соответствующую меру наказания. — Его взгляд заскользил по стройным формам двух молоденьких горничных, и в его благодушном тоне прозвучало что-то, напоминающее причмокивание. — И они хорошо понимают, что слишком мягкого наказания лучше не предлагать!

Чем дольше я жил в этом до блеска отполированном стерильном мире, в этой атмосфере вышколенного рабства, тем сильнее манил меня образ ночного охотника с его экстравагантными причудами. Время от времени я слышал его рог, трубящий в ночном лесу, и, как и раньше, этот звук волновал меня и смутно тревожил; но до сих пор я не сумел увидеть его или кого-нибудь

---

[8] Примечания: 8
Самодоносительство *(нем.).*

из его спутников. Гуляя каждый день вокруг здания больницы в сопровождении одной из двух сиделок, я понял, что «шлосс», как они называли его, то есть замок, находился неподалеку, к северу, и его отделяла от нас лесная полоса. Но так как меня никогда не отпускали гулять одного, без сопровождения немого раба, который всегда находился где-то поблизости, я ни разу не попытался пересечь этот лесной массив. Доктор предупредил меня, что случится с девушкой, если она потеряет меня из виду.

Единственное, что я мог сделать в подобных обстоятельствах, — это заявить фон Айхбрунну, что такой малой физической активности мне явно не хватает. Он опроверг мои доводы, сказав, что даже ему самому этого было вполне достаточно. Но жить у леса и не иметь возможности зайти в него было так мучительно, что я настаивал на своем до тех пор, пока однажды, выслушав меня с нетерпением и досадой, он наконец не уступил.

— Вижу я, — сказал он, — что, если не удовлетворю ваше любопытство, вы сделаете какую-нибудь глупость, например попытаетесь бежать. Полагаю, в голове у вас вертится некая англосаксонская романтическо-авантюрная чушь, правда ведь? А если так, я не могу рассчитывать на то,

что ваши старомодные рыцарские чувства по отношению к моим *maedels*[9] или же забота о вашей собственной шкуре смогут вас удержать. Ну что ж, если ничто не удовлетворит вас, кроме лицезрения Ганса фон Хакельнберга, лучше будет, если я сам отведу вас в замок. Для вас, мой друг, будет лучше, — произнес он со значением, выделяя каждое слово, — если вы увидите его, чем если он увидит вас.

Помню, произнося последние слова, он расплескал вино (это было красное бордо), и мне показалось, он сделал это нарочно. Может, это было возлияние, молитва богам, которая должна была встать между ним и злой силой; это мог быть и риторический прием, силу которого я оценил, пока вглядывался в красную лужицу, сверкавшую на гладкой поверхности дерева. Одна из горничных быстро промокнула ее салфеткой, а доктор отодвинул стул от стола и неловко засмеялся.

— Хорошо, — сказал он после паузы уже более легким и дружелюбным тоном. — Я это вам устрою. Да, вот что я вам скажу. Послезавтра граф принимает у себя гауляйтера Гаскони и

---

[9] Примечания: 9

От *лат.* medela — целебное средство, лечение.

его друзей. Они прогуляются по лесу и немного постреляют. Все утро замок будет пуст. Да, я смогу показать вам замок, а может быть, и какие-нибудь графские забавы. Вы больше нигде не увидите таких развлечений, как те, что граф приберегает для своих гостей. А потом, может быть, позднее — но имейте в виду, я вам этого не обещаю — я разрешу вам взглянуть и на самого Ганса фон Хакельнберга.



VI

Фон Айхбрунн сдержал слово. Прошел день, и рано утром меня разбудили, но не успел я надеть присланный им лесной костюм, как услышал, что он зовет меня с веранды. Было чудесное свежее утро, лесные запахи пьянили своей сладостью. Ночью я не слышал звуков рога, ничто не нарушало мой покой, даже сны, и сейчас громкое пение какой-то птицы, шелест пробуждающегося леса, свет, играющий на листьях и стволах деревьев, и поросшие высокой травой поляны радовали мне сердце.

Для прогулки по лесу доктор надел пару облегающих темно-зеленых брюк, украшенных широкой золотой тесьмой, замшевые полуботинки и короткую куртку из оленьей кожи с богатой золотой отделкой. На голове у него была зеленая бархатная кепка с пером цапли, а к поясу пристегнут длинный кортик или, возможно, охотничий меч с рукояткой из слоновой кости. Костюм, который он одолжил мне, был в том же стиле, только проще и скромнее.

Он повел меня по узкой тропинке, круто заворачивающей в лес от здания больницы, и я

заметил, что он приказал двум рабам-славянам следовать за нами.

Мы прошли не больше четверти мили, когда вдали показались первые постройки «шлосса». Мне трудно описать это место, потому что я, считай, не видел его со стороны. По сути, увидеть его целиком было бы и невозможно: лес не просто подходил вплотную к его стенам, но и рос во внутренних дворах и проходах между зданиями, а кое-где даже пологом нависал над замком. Увиденное мной мало походило на замок, который рисовался в моем воображении. Постройки были низкими, деревянными или фахверковыми и такой неправильной формы, будто перед архитекторами стояла задача сохранить все деревья до единого и подогнать свои проекты под очертания полян и всех открытых безлесных участков земли. В некоторых местах огромные буки и дубы вплетались в ткань зданий, а башенки и маленькие комнаты располагались как гнезда среди их раскинувшихся ветвей.

В утренней атмосфере все это казалось странным, таинственным. И не потому, что кругом не было ни души, — к этому я был готов. Думаю, после строгого изящества больницы я ожидал чего-то аналогичного и от замка — но увидел

средневековую причудливость, вычурный примитив, искаженные пропорции. Эти низкие, хаотичные здания с их фронтонами и мансардами, свесами и закутками, окнами странной формы и заглубленными дверями как будто сами собой пробились между стволов, то выглядывая на свет, то прячась в тени, подобно диким зверям. Это были лесные жилища в полном смысле слова; их балки и доски, побелка и штукатурка, серые камни фундамента и ступени были сродни этой земле. Они были столь же лесными по духу, как и типи ирокезов или хижина поселившегося в чаще отшельника; и тем не менее их нельзя было назвать грубыми. В их конструкции чувствовалась искусность; в самой их неправильности, их, если так можно выразиться, бегстве от привычных пропорций и плоскостей присутствовало мастерство готической эпохи. Мы вступили в лабиринт дворов и узких проходов, мощенных булыжником и поросших мхом, прошли на цыпочках по выложенным дубовыми панелями галереям, и вдруг мне пришла в голову странная мысль, что мы крадемся по брошенному людьми, забытому Богом и заросшему лесом средневековому немецкому городку, над которым, видно по воле чуда, оказалось бессильно время, не сумев-

шее разрушить его.

Фон Айхбрунн говорил мало, оставляя без ответа некоторые мои вопросы, давая тихим голосом лишь самые необходимые и лаконичные объяснения, когда показывал мне жилые помещения и спальни, кухни, псарни и конюшни. Мне бы хотелось ненадолго задержаться и получше рассмотреть гончих и лошадей, экипажи в каретном сарае и стеллажи со старинными охотничьими ружьями и снаряжением на галереях, но он торопил меня, нервничая и явно стремясь, как мне почудилось, вновь оказаться под открытым небом (или сравнительно открытым, с поправкой на лес). Поэтому я успел понять лишь то, что главный лесничий рейха держит самых разных псов: свору черно-белых гончих французской породы святого Губерта, несколько ищеек и огромных гончих, с которыми ходят на кабана, — коротконшерстных, пятнистых, невероятно сильных и свирепых, как тигры, с диким ворчанием бросавшихся на прутья решетки, когда мы проходили мимо. Я никогда раньше не встречал такой злобы и агрессивности даже у овчарок, с которыми ходили охранники в лагере. Доктор торопился миновать клетки, стараясь держаться подальше от клыков и тусклых свирепых глаз.

Ярость, которую мы навлекли на себя, так вывела доктора из равновесия, что он заблудился. Из псарни мы вышли во дворик, затененный огромными нависающими деревьями, из которого можно было пройти в несколько полутемных галерей. Фон Айхбрунн огляделся по сторонам, не зная, в какую из них войти, потом сделал знак приблизиться одному из рабов, следовавших за нами. Но прежде чем тот мог ответить, из темного прохода раздался резкий оклик. Фон Айхбрунн вздрогнул, потом с неуверенной улыбкой нырнул в одну из галерей, потащив меня за собой. И почти сразу же свернул в длинную, светлую комнату, одно из окон которой выходило во двор, где мы только что были, а сквозь другие окна, высоко под потолком, виднелось голубое небо в просветах между древесными кронами.

Позвавший нас оказался молодым человеком, одетым почти так же, как доктор. Но, в отличие от доктора, он снял свою короткую кожаную куртку и остался в одной рубашке. Наблюдая за ним из-за спины доктора, я подумал, что это великолепный образчик того, каким мы всегда представляли себе типичного молодого нациста: он был не очень плотного телосложения, но притом фигурой и позой напоминал боксера или борца; ресницы и

волосы у него были такие светлые, что он вполне мог бы сойти за альбиноса, если бы не серые глаза; лицо его, прежде чем он узнал фон Айхбрунна, являло собой преувеличенно-надменную маску холодной властности, но, когда он коротко ответил на приветствие доктора, оказалось просто эгоистичным и насмешливым, и лишь в глазах его и складках вокруг рта таилась беззаботная жестокость.

Они говорили по-немецки, и доктор явно пытался объяснить что-то про меня. Чувствуя на себе взгляд молодого человека, я изо всех сил старался не встретиться с ним глазами и осматривал комнату.

Вероятно, это была комната егеря: здесь хранилось всякое охотничье снаряжение, причем в хорошем состоянии — явно за ним тщательно ухаживали и постоянно им пользовались. Даже копья для охоты на кабанов, составленные у стены в пирамиды, были начищены до блеска и вполне годились в дело: что странно, большинство снаряжения никак не вписывалось в хронологию фон Айхбрунна. Что здесь делают блестящие металлическими деталями арбалеты с новой крепкой тетивой, пики, копья и короткие мечи, почему в дальнем углу на деревянных

подставках стоят, судя по всему, натуральные доспехи, хотя скорее из плотной кожи или чего-то очень на нее похожего, чем из стали? Граф фон Хакельнберг явно был без ума от старины, особенно от Средних веков. Уступку современности я заметил лишь одну — стойку с короткоствольными ружьями очень большого калибра, значительно превышавшего все известные мне калибры, с какими ходят на дичь, и еще я увидел штабеля металлических коробок, в которых, как я догадался, находились патроны. Кроме перечисленного, было здесь и снаряжение, которое очень мало меняется со временем, — собачьи поводки, смычки, ошейники и кнуты.

В комнате было так много всего, но я успел рассмотреть лишь то, что бросалось в глаза, однако вполне уместных охотничьих трофеев, вроде оленьих рогов или голов, лисьих морд и так далее, не увидел, зато имелось довольно много шкур или кусков шкур, причем все они были одного типа и висели на стене в дальнем конце комнаты рядом со странными доспехами. Они не были выставлены как трофеи, а просто висели на крючках. Я заметил длинные хвосты, и мне пришло в голову, что это могли быть шкуры леопардов, а то и пятнистых кошек. Чего бы диким кошкам

и вправду не водиться в обширных лесах вокруг Хакельнберга.

И еще одна важная подробность не укрылась от моего взгляда: светловолосый юноша-егерь, стоявший у длинного и широкого стола посредине комнаты, что-то делал с некими диковинными приспособлениями, лежавшими там среди всякой всячины. Он отложил в сторону предмет, над которым работал, чтобы подойти ближе к доктору; это была маленькая деталь какого-то металлического инструмента, которую он затачивал напильником. Незаметно подойдя поближе, я увидел, что это очень странное сочленение стальных крючков, напоминавших человеческие пальцы, размером примерно с мою кисть или чуть меньше. Собственно, это была своего рода стальная рукавица без манжеты. На столе валялось несколько таких штуковин, одна-две из них были снабжены ремешками и завязками. Думаю, еще минута-другая — и я подошел бы достаточно близко, чтобы взять ее и разглядеть как следует, но доктор за руку вывел меня из комнаты.

Кажется, он усыпил подозрения молодого егеря, поскольку тот вышел из комнаты вместе с нами, добродушно болтая с фон Айхбрунном, хотя ни разу не обратился ко мне. Ну конечно, он не вла-

дел другими языками, кроме немецкого, и пусть я, как ты знаешь, могу сбивчиво объясниться по-немецки и понимаю, когда говорят достаточно медленно, фон Айхбрунну я этого не выдавал.

Егерь вывел нас из дворика на открытое пространство, напоминавшее парковую зону, где деревья стояли довольно разреженно. И там я увидел огромное здание, превышавшее размерами все увиденное здесь раньше. Хотя оно пряталось за деревьями, я разглядел это величественное каменное сооружение в готическом стиле, с остроконечной, уходящей ввысь крышей, украшенное башенками и сложным орнаментом, будто причудливая имитация рейнской ратуши шестнадцатого века.

Хотелось бы, конечно, подойти поближе и рассмотреть его, но фон Айхбрунн снова меня увел: то, что собирался показать нам егерь, находилось совсем в другой стороне. Он вел нас узкими тропинками между живыми изгородями из подстриженных лесных деревьев, отделявшими друг от друга загоны для животных, — думаю, это была ферма по разведению дичи, потому что за оградами я видел много ручных косуль, ланей и оленей, и все это были, насколько я понял, самки с потомством. По его зову они выбегали

из-за деревьев и кустов и ели у него с руки, а он похлопывал их по бокам и спинам, как фермер, прикидывающий, достаточно ли жирна свинья. Вероятно, подумал я, на столе у графа никогда не переводится оленина.

Не знаю, как велика была эта ферма, но весьма вероятно, что там находились и другие, скрытые от глаз высокими изгородями загончики, в которых содержались менее кроткие существа, чем олени: был момент, когда мы гладили носы молодых ланей, и вдруг невдалеке от нас раздалось какое-то странное подвывание. Лани испуганно отпрянули и бросились в укрытие, егерь засмеялся, а фон Айхбрунн, казалось, нервничал почти так же, как тогда на псарне, когда проходил мимо собак, с которыми охотятся на кабанов, и на секунду мне показалось, что ему тоже хочется убежать в укрытие, как ланям. Это был странный, неприятный звук: я назвал его подвыванием, но он скорее напоминал сдавленный вопль, в котором слышались бормотание и резкие ноты восторга и нетерпения, звучавшие почти по-человечески; а все вместе взятое отдавало исступленностью и безумием. Я никогда не слышал, чтобы так выла собака, и тем не менее был глубоко уверен, что раньше или слышал этот

звук, или же когда-то он наводил меня на мысль о собаках. И только спустя несколько минут после того, как вой прекратился, я вспомнил, где его слышал (или думал, что слышу) раньше. Именно эти звуки улавливал мой слух сквозь шум леса в ту ночь, когда я, стоя у окна, прислушивался к трубящему рогу Ганса фон Хакельнберга. Я и тогда вообразил, что это воют и подскуливают собаки, но, поразмыслив, решил, что это ветер. Разумеется, это были не собаки и не ветер.

Я не рискнул ничего спрашивать, пока егерь не вывел нас с фермы и не показал лесную тропинку, по которой доктор, с явным облегчением оттого, что вновь остался со мной наедине, пустился быстрым шагом в горку. Затем в ответ на мой вопрос, не собираемся ли мы взглянуть на большое здание за деревьями, он проронил короткое «Nein» — и больше не вдавался в объяснения, пока мы не поднялись на холм.

Он прислонился спиной к сосне и вытер лоб: день был очень теплый, а он не привык к такого рода гонкам.

— Нет, — сказал он желчно. — На сегодня достаточно. Хватит с меня замка — на пустой-то желудок. Этот егерь, Франк, говорит, что гости гауляйтера собираются отобедать в павильоне

Кранихфельс — идти туда примерно час. Обед будет потрясающий. По общим отзывам, эта публика обжористая, пузатая, и я буду не я, если не получу свою долю, прежде чем они вернутся с охоты. А потом я намерен убраться с этой *verfluchte*[10] жары и соснуть.

— Я думал, вы хотите показать мне замок, — напомнил я.

– *Ja*, конечно, вы так думали, — ответил он, а потом, уже менее раздражительным тоном, слегка поостыв, добавил: — Если обещаете не убежать сегодня вечером, возможно, я проведу вас тайком в замок ближе к ночи. Но имейте в виду — за последствия я не отвечаю! — оборвал он.

Думаю, к тому моменту я хорошо изучил характер доктора и относился к нему в некотором смысле как к ребенку, а потому спокойно ответил, что он, уж наверное, как-нибудь оградит себя от нежелательных последствий; что же касается меня, я готов рискнуть. Сойдясь на этом, мы продолжили наш путь.

Спустя какое-то время он снова заговорил со мной в обычной для него легкомысленно-самодовольной манере, но теперь я не смог удержаться

---

[10] Примечания: 10
Проклятой *(нем.)*.

от соблазна подпустить шпильку и заметил, что, несмотря на его презрение к простым охотникам и их помощникам, он должен признать, что у них есть кое-какие навыки и умения, не говоря уже о выдержке, которых ему, доктору, не хватало, раз они справляются с псами, каких мы только что видели.

Я не ожидал, что мои слова произведут на него такое впечатление. Он отпрянул от меня, тяжело вздохнул и сказал что-то по-немецки, прозвучавшее как проклятье тому дню, когда он взялся за эту работу; а потом, очень трезво и рассудительно, произнес:

— Собаки, конечно, довольно-таки страшны, но упаси меня господь от кошек!

Я с удивлением услышал в его голосе настоящий страх.

— В смысле, тех, чей визг мы слышали, когда нам показывали оленей? — спросил я.

Но он был оскорблен и сердился на меня за то, что я уличил его в малодушии, и продолжал путь в мрачном молчании.

Эти несколько миль, пройденных с доктором, оказались безумно интересными. Живности вокруг было немного: разве что одна-две рыжие белки и совсем чуть-чуть птиц, но я очень хотел

запомнить рельеф и дорожку, по которой мы шли, запечатлеть в мозгу каждую отворачивающую тропинку, каждое приметное дерево или камень. Мы пересекли два-три маленьких ручейка, и из каждого доктор напился, а потом вновь начали подниматься по длинному и очень пологому склону, пока не достигли вершины холма, густо поросшей кустами. И там я неожиданно услышал собачий лай — совсем близко. Фон Айхбрунн, казалось, не замечал его, но спустя минуту вздрогнул и выругался, когда из засады в кустах бесшумно вышел человек и загородил собой проход.

Это был егерь, одетый во все зеленое, с легким луком в руках, совсем еще юноша и довольно симпатичный. Он что-то коротко сказал фон Айхбрунну, а потом, когда доктор проворчал что-то брюзгливо в ответ, воззрился на него, не скрывая веселья. Я почти догадался, в чем было дело, и моя догадка подтвердилась, когда доктор, вовсе не желающий остаться без обеда, снова обратился к молодому егерю с вопросом. Я понял, что мы пришли слишком поздно. Ясно было, что уже начали гнать дичь, и продолжи мы свой путь — окажемся между охотниками и оленем. А егеря поставили здесь именно для того, чтобы

развернуть назад любую дичь, если та оторвется от преследователей и будет двигаться по нашей тропинке.

Собака залаяла снова, егерь наклонил голову и прислушался, потом где-то неподалеку от нас, слева, грянул ружейный выстрел. Егерь продолжал прислушиваться, а затем ухмыльнулся. Он поднял свой лук, как бы целясь в воображаемого оленя, и с сожалением покачал головой. «Если бы тот парень промахнулся, — как будто говорил его взгляд, — уж я бы этого оленя не упустил».

Потом он резко повернулся к фон Айхбрунну и, как мне показалось, спросил его, почему бы тому не пойти к стрелкам и не подождать с ними, коль скоро охота и так близится к концу. Фон Айхбрунн помотал головой, но юнец засмеялся и, вставив палец в рот, столь правдиво изобразил, как вылетает пробка из бутылки шампанского, что доктор тут же передумал и без шума и возражений позволил увлечь себя куда-то сквозь кустарник.

Егерь повел нас по своего рода туннелю, проложенному сквозь густой подлесок, вниз по дальнему склону кряжа. Ничего невозможно было разглядеть далее одного-двух ярдов, а кусты по обе стороны были так густы и ветви их пере-

плелись так плотно, что, пожалуй, лишь хорек смог бы тут продраться. Наверняка все здесь устроили таким образом, чтобы загнанной дичи волей-неволей пришлось следовать знакомыми тропами туда, где ее уже ждали нацеленные ружья. Когда мы пришли туда, где сидели в засаде охотники, я убедился, что был совершенно прав.

Это был такой стрельбищный вал, который вряд ли когда-нибудь придумали бы в охотничьих заповедниках Англии. Маленькая рощица, из центра которой старательно вычистили подлесок и оставили лишь молодые деревца, была окружена земляным валом высотой по грудь, покрытым травой и засаженным поверху низкими кустами. Его наружная сторона походила на равелин, а щели в заслоне из кустов были расположены так, чтобы поляна хорошо простреливалась с любой позиции. Собственно говоря, это была не поляна, а просека, своего рода аллея, противоположная сторона которой представляла собой густую живую изгородь из кустов, и на первый взгляд та выглядела вполне естественно, но на самом деле, вне всякого сомнения, состояла из густо переплетенных ветвей, призванных помешать дичи свернуть и направить ее прямо к валу, чтобы стрелки уж точно не промахнулись.

Мы находились в долине, и «аллея» вела по склону вверх, туда, где обрамлявшие долину высокие серые скалы смыкались, оставляя лишь узкий проход между утесами. Было ясно, что дичь, сумевшую уйти от пуль охотников, остановят скалы, и либо та устремится назад, под выстрелы, либо же ее прикончат поставленные в верхней части долины егеря. Бóльшая часть треугольника, образованного скалами, была перед нами как на ладони — деревьев там было немного и они не заслоняли обзора. С той же стороны, откуда дичь гнали, просека тянулась еще на сотню ярдов, так что оленя можно было увидеть заранее и выстрелить без спешки, когда он подбежит ближе.

Не хватало только ручного оленя — и самому плохому стрелку была бы обеспечена удачная охота. А взглянув на восседавшего в засаде главного «охотника», я понял, что вот таких гостей и приходится обслуживать главному лесничему рейха.

Это был маленького роста чудовищно жирный человек в новых «ледерхозен»[11], фасонных подтяжках, белых носках и вышитой рубашке. У него была квадратная, почти лысая голова, толстые

[11] Примечания: 11

Lederhosen *(нем.)* — кожаные шорты, часть баварского национального костюма.

щеки и двойной подбородок; толстый наплыв жира на загривке нависал над воротником рубашки, и корма у него была, как у баржи. Трудно было представить себе более нелепого соседа рядом с тремя-четырьмя молодыми егерями, сидевшими с ним в засаде, — такими подтянутыми и аккуратными они были, в зеленой с золотом одежде, не только богатой, но и вполне пригодной для охоты. Его пухлые бледные конечности так разительно отличались от загорелых крепких рук егерей, что он казался представителем другого биологического вида.

Он повернул голову в нашу сторону, когда мы приблизились к засаде с тыла, и посмотрел на нас, моргая, сквозь очки без оправы ничего не выражающим взглядом, а потом возобновил наблюдение за просекой. Он сидел у просвета между кустами на складном стульчике, которого почти не было видно под складками его кожаных шорт, а рядом, у покрытого дерном вала, стояли два-три ружья, и одно из них было очень большого калибра, вроде того, что я видел в замке. У следующей естественной бойницы стоял егерь с арбалетом и внимательно следил то за просекой, то за гостем.

Фон Айхбрунн и я отступили к противополож-

ному краю сооружения, где доктора шепотом приветствовали другие егеря. И там, на широкой лежанке из дерна, утешительно окруженный бутылями и флягами, среди вместительных контейнеров для льда, под покровом зеленых листьев и расположился доктор, а я мог на досуге наблюдать за происходящим.

Гость уже успел поохотиться: на березовом суку висела туша самца лани, только что освежеванная. Упражнений было, совершенно очевидно, больше, чем результатов: на земле рядом валялись три-четыре пустые гильзы. Его товарищи где-то неподалеку тоже развлекались: мы слышали короткий собачий лай и выстрелы тут и там за большой рощей, скрывавшей из виду долину.

Наш толстяк, кажется, начинал скучать. Он достал портсигар и собирался закурить, когда старший егерь подал ему знак. Заряжающий протянул ему ружье и очень вежливо указал нужное направление. Стоявший рядом со мной юноша подтолкнул меня локтем и показал, откуда можно было хорошо разглядеть всю просеку. Пара гончих подавала голос, гоня жертву в нашу сторону; затем появился олень-самец, мчавшийся большими скачками. Он остановился ярдах в пятидесяти от засады, что-то подозревая, но,

понюхав воздух и встряхнув головой, опять перешел на рысь и пронесся от нас ярдах в двадцати. Вряд ли его гнали долго, и мне он казался совершенно ручным — таким доверчивым, что, если бы охотился я, инстинктивно опустил бы ружье. Однако наш гость открыл пальбу. Олень к этому моменту уже исчез из моего поля зрения, и я не знал, были ли удачными те три-четыре выстрела, которые сделал наш стрелок, но, когда молодые егеря выскочили из засады, я увидел, как старший зашел за дерево и тайком перезарядил свой арбалет. Потом он торжественно поздравил гостя, и, пока молодые парни заносили убитого оленя, он шагнул навстречу фон Айхбрунну, чтобы перекинуться с ним словцом.

– *Das ist der Letzte*, — услышал я. — *Jetzt haben wir nur noch die Voegel, dann wollen wir sehen ob's was zu essen gibt*[12].

Пока тушу оленя потрошили и подвешивали, двое парней занялись приготовлением напитков со льдом и сэндвичей для гостя, который, утомившись от сидения на складном стульчике, с удовольствием возлег на прохладной мягкой скамье из дерна в задней части сооружения. Еге-

[12] Примечания: 12

Это последний. Теперь остались только птицы, а там посмотрим, что нам приготовили поесть *(нем.)*.

ря льстили ему без зазрения совести, и, хотя он отвечал им с преувеличенными сердечностью и радушием, было ясно, что не так уж много удовольствия он получил сегодня утром. Однако гость немного приободрился и проявил бóльшую заинтересованность, когда старший егерь показал ему странное ружье огромного калибра и стал объяснять, в чем состоит следующая часть программы. Я ничего не разобрал из его объяснений, поскольку отошел в сторону, чтобы не привлекать к себе внимания гостя, и вдобавок меня куда больше заинтриговали новоприбывшие.

Они вышли незаметно из-за кустов у нас за спиной и устроились наверху нашего земляного укрепления, скрытые от глаз зеленой густой ширмой, но так, чтобы можно было наблюдать за просекой сквозь просветы между ветвями. Их было трое: молодой лесничий с кнутиком, держащий на привязи двух существ, которых я принял сперва за бабуинов, потому что мог разглядеть только их головы и грудь. Но когда он позволил им встать и распрямиться, я понял, что это мальчики, а не обезьяны. На их головах были маски, как две капли воды напоминавшие собакоголовых бабуинов, обитающих где-то в Абиссинии; из приоткрытого рта раздавалось вполне вза-

правдашнее рычание, видны были огромные зубы. Плечи, спина и грудь были покрыты серой, а местами золотисто-коричневой шелковистой шерстью, доходившей почти до талии; ниже талии они были абсолютно голыми, если не считать узкого ремня, к которому и крепилась привязь. Их обнаженные тела были темно-коричневыми, но был то загар или природный пигмент — не поручусь.

Их заметил наш толстый охотник и удивленно хмыкнул. Егерь спрыгнул вместе с ними с вала и, спустив с привязи, несколькими щелчками кнута отправил дурачиться и прыгать. Они скакали и веселились то на всех четырех, то стоя прямо и, к большой радости гостя, подражали настоящим бабуинам весьма неделикатными жестами, усовершенствовав обезьяньи проделки с изобретательностью и мастерством, которые не оставляли сомнения в их принадлежности к человеческому роду. Гость довольно гоготал и трясся от смеха, пока по знаку старшего егеря их дрессировщик не велел им приблизиться, что они и выполнили немедленно, встав на четвереньки и задрав морды. Тогда он передал им густую крепкую сеть, которую они быстро набросили себе на плечи.

И тут же из долины донесся звук охотничьего рога. Егерь-дрессировщик со своими «бабуинами» вернулся на позицию на земляном валу, гостя отвели к его стульчику, а я снова пробрался к дырке между кустами, через которую была хорошо видна вся просека.

Какое-то время было тихо, а потом я услышал собачий лай, громче и напористей прежнего. Затем снова недолгая тишина — и последовал выстрел, но какой-то негромкий.

Рядом со мной стоял молодой егерь.

– *Da schiesst der Gauleiter los*[13], — пробормотал он.

Я посмотрел наверх, не зная, на каких птиц они собирались охотиться, но ожидая увидеть какую-нибудь крупную дичь вроде глухарей. Раздались еще один или два слабых выстрела, и внезапно собаки залаяли где-то совсем рядом. Они гнали зверя по нашей просеке, и теперь я узнавал голоса тех псов, тех свирепых тварей, которые в ярости кидались на ограду питомника, когда мы на них смотрели. Я все еще разглядывал кроны и пытался услышать шелест крыльев, когда егерь подтолкнул меня локтем и указал на какой-то

---

[13] Примечания: 13
Там стреляет гауляйтер *(нем.).*

силуэт, движущийся по просеке.

Это был человек, одетый во что-то фантастическое. Из последних сил он бежал по густой траве, приближаясь к нам, а невидимые собаки гнались за ним по пятам с твердым намерением разодрать в клочки. Я не мог отвести взгляд от бегуна, или, точнее, от бегуньи: это была высокая длинноногая девушка; ее лицо скрывала великолепная маска с острым клювом, которая, однако, не прятала ее темных струящихся волос. Поразительное было зрелище — все равно что увидеть, как птицеголовая богиня Древнего Египта стряхнет каменную неподвижность и бросится в паническое бегство. Горжетка из блестящих золотистых и алых перьев покрывала ее грудь; к рукам были прикреплены крылья каштанового и переливчато-зеленого цвета, а с талии спускались длинные, загибающиеся кверху коричневые и золотые хвостовые перья. Вся ее одежда состояла из этих украшений и желтых туфель на ногах.

И ни грамма той приученности, что сквозила в движениях оленя; она была перепугана до смерти и бежала со скоростью, которая сделала бы честь и мне самому в те дни, когда я упражнялся ежедневно. Проносясь мимо, она буквально источала отчаяние, и было ясно, что через сотню

ярдов она начнет выдыхаться. Я потерял ее из виду, и тут наш охотник выстрелил.

Охваченный ужасом, я был готов запрыгнуть на земляной вал, но егерь, уже забравшийся достаточно высоко, чтобы разглядеть скрытую от моих глаз часть просеки, воскликнул негромко:

— Промахнулся! А вот и вторая птичка!

Я оглянулся и увидел ее — в белых перьях, с высоким золотистым хохолком и коротким, задранным кверху веерообразным хвостом. Она была полнее первой и бежала не так быстро, в ее движениях сквозила усталость, но, услышав за спиной новый шквал собачьего лая, она ускорилась и пробежала очень близко от нашей засады.

Когда охотник выстрелил, я приподнялся и увидел, как вслед беглянке в воздухе пронеслось нечто вроде паутины из тончайших желтоватых волокон, блеснувших на солнце, — это было похоже на хвост кометы. Девушка подпрыгнула и закричала; паутина как бы раскрылась — так разворачивается при забрасывании большая рыболовная сеть под действием нашитых по краю свинцовых грузил. «Птица» завертелась на месте, хлопая себя по обнаженным частям тела, будто ужаленная, — и тонкие волоконца опутали ее руки; она зашаталась, и было видно, какую

жгучую боль причиняют ей «укусы» маленьких снарядов. Она пробежала вперед еще несколько ярдов с огромным трудом, потому что волокна, тонкие, но очень крепкие, облепили ее тело, связав по рукам и ногам.

Старший егерь победно затрубил в свой серебряный рожок, и дрессировщик спустил с привязи мальчиков-бабуинов. С громким визгом они выпрыгнули из засады и помчались к тщетно пытавшейся освободиться от липкой сети девушке. Увидев их, она сделала последнее отчаянное усилие и сумела разорвать путы на ногах, но через несколько ярдов «обезьяны» настигли ее. Они швырнули ее наземь, набросили свою сеть, подавили сопротивление и крепко спеленали.

Гостю помогли спуститься на просеку, а егеря готовились выступить в погоню за первой «птицей», мелькавшей вдали среди редких деревьев: ее алые и золотые перья ярко выделялись на фоне зелени. Егерь-дрессировщик подозвал своих «бабуинов», собираясь начать преследование, а другой вручил гостю его ружье, но наш охотник не проявил никакого энтузиазма: его телосложение не позволяло ему гоняться за беглянкой, какой бы усталой и изможденной та ни была. Он осмотрел свою добычу, бившуюся под

сетью, сладострастно захихикал и запыхтел, восклицая с необыкновенным смаком: «Fabelhafts! Marchenhafts!»[14], и все же было совершенно очевидно, что сейчас его интересует только обед и ничто другое. Без сомнения, фон Айхбрунн был с ним солидарен.

Так что лишь дрессировщик на пару с другим егерем отправились в погоню за беглянкой, весело подгоняя мальчиков-бабуинов. Из зарослей вызвали группу рабов, чтобы нести убитого оленя и спеленутую сетью девушку-птицу, привязав их к шестам, и все мы толпой поспешили к павильону Кранихфельс.

Моя надежда увидеть за обедом графа фон Хакельнберга не оправдалась. Я не сумел поглядеть и на гауляйтера Гаскони и его свиту, потому что фон Айхбрунн увел меня в тихий уголок сада рядом с павильоном, где завтракали низшие чины, в то время как сильные мира сего шумно вкушали свою трапезу в самом павильоне. Молодые парни поглядывали на меня с любопытством, но не пытались заговорить со мной; по их редким негромким репликам я понял, что граф доверил проведение утренней охоты своему заместите-

---

[14] Примечания: 14
«Замечательно! Сказочно!» *(нем.)*

лю. С утра он показал гостям, никогда ранее не бывавшим в Хакельнберге, своих бизонов и лосей, а потом оставил их развлекаться той игрой, свидетелем которой был и я. Граф, как мне казалось, слишком ревниво относился к своей дичи — и к зверям, и к людям, — чтобы хладнокровно наблюдать за тем, как ее будут бить посторонние. Что же касается таких аттракционов, как охота на «птиц», то у графа был огромный запас рабынь из славянских земель и Средиземноморья, позволявший бесконечно разнообразить аттракционы, которыми развлекали сатрапов рейха, но самую отборную дичь и самые хитроумные изобретения он приберегал для собственного удовольствия.

Я спросил у фон Айхбрунна, что же сделают с живой добычей. Он ухмыльнулся:

— Их подадут сегодня вечером на ужин. Ну конечно, живехоньких, брыкающихся и лягающихся, не волнуйтесь! А какова эта жирненькая голубка, которую подстрелил сегодня наш коротышка! О, это будет зрелище, когда он будет с ней управляться…

Обед был весьма обильным и продолжительным. Молодые егеря поистине наслаждались угощением, которое, как я догадывался, было лишь слабым подобием того пира, что шел

внутри павильона. Фон Айхбрунн вливал в себя шампанское и напился до такой степени, что его английский стал совершенно нечленораздельным; пришлось смириться с тем, что вторая половина дня уйдет впустую. Мне же столько всего хотелось сделать — рассмотреть патрон, выбрасывавший тонкую паутину волокон, и то ружье, что стреляло этими патронами. А также поговорить с распорядителями охоты и загонщиками, походить по тем просекам… Но и то и другое было совершенно невозможно.

Егеря и лесники ушли еще до того, как закончилась трапеза гауляйтера, но доктор улегся в тени и пролежал там еще с полчаса, пока к нему не подошел некий юноша и не сказал, что в замок отправляется коляска, и если мы захотим, то можем поехать в ней. Упрямый спьяну и сонный, фон Айхбрунн настаивал на том, чтобы вернуться в больницу и устроить сиесту, у меня же не было выбора, кроме как подчиниться. По дороге он вынудил меня дать ему честное слово, что я никуда без него не пойду; поэтому, когда он улегся, чтобы проспаться после неумеренного обеда, после жары и непривычной физической нагрузки, я тоже лег в своей комнате и стал терпеливо дожидаться вечера.

Доктор зашел за мной, когда уже стемнело, и был раздражителен и сварлив, так что я из кожи вон лез, чтобы смягчить его, и потакал ему во всем, боясь, что он передумает, прежде чем мы дойдем до главного здания. Однако, хотя он и жаловался на головную боль и нездоровье, тем не менее казалось, сама идея его весьма и весьма привлекает и, по сути дела, он переживал, что пропустит самое интересное из-за того, что спал слишком долго.

Выйдя из лабиринта «шлосса» и миновав парк, разбитый перед огромным строением, мы увидели высокие окна, освещенные оранжевым светом. В темноте перед главным входом бродили какие-то люди, и фон Айхбрунн, соблюдая осторожность, завел меня за угол здания, где за контрфорсом была узенькая дверца, за которой находилась винтовая лестница.

Мы поднялись по ней не очень высоко, а затем протиснулись по страшно узкому проходу, едва освещенному слабым светом, проникавшим из центральной залы сквозь узкие щели. Этот проход привел нас в маленькую шестиугольную комнату, в одной из стен которой примерно на уровне груди находилось незастекленное круглое оконце, перекрытое изящной каменной

решеткой. Слегка подталкиваемый доктором, я заглянул в оконце и обнаружил, что из него открывается прекрасный вид на огромную залу, причем наше окно расположено в одном из ее углов футах в тридцати от пола.

Электрического освещения не было, и тем не менее залу заливал свет. На высоте футов десяти от пола стены опоясывал каменный карниз, и на нем на равном расстоянии друг от друга стояло более сорока фигур, которые я сперва принял за совершенно одинаковые статуи из серебра, у каждой из них в руках был сверкающий шест, на конце которого находился горевший ровным желтым пламенем факел. Однако, присмотревшись внимательнее, я увидел, что статуи дышат и едва заметно шевелятся: это были девушки, тела которых покрывала серебряная краска, либо их нарядили в костюмы из такой гладкой, тонкой и облегающей ткани, что каждая стала неотличима от блестящей обнаженной скульптуры. Свет факелов заливал залу; мягкие отблески достигали выступов резной балочной крыши, оставляя в темноте все сложности ее конструкции.

На двух длинных сторонах залы карниз, на котором стояли факельщицы, образовывал поверхность антаблемента, поддерживаемого

рядом пилястр, а между каждыми двумя пилястрами находилась неглубокая ниша-альков. По всей длине залы перед нишами пролегала широкая скамья, или, точнее, каменный помост, укрытый толстым слоем бизоньих, медвежьих и оленьих шкур, в то время как в самих нишах поверх таких же шкур были разложены покрывала из мягких мехов — лисы, выдры и куницы. Между двумя этими возвышениями, довольно удаленными друг от друга, стоял огромный стол, за которым могло бы свободно разместиться около сотни человек. Компания гауляйтера с друзьями не превышала дюжины персон, с ними обедало еще человек двенадцать-четырнадцать подчиненных графа. Все они восседали на изрядном расстоянии друг от друга за той частью стола, что была ближе к его главе; во главе же стола на огромном деревянном стуле, покрытом богатой резьбой, сидел сам Ганс фон Хакельнберг.

Я ожидал увидеть человека необыкновенного, носителя определенных качеств старой восточноевропейской аристократии. Образ, рожденный моим воображением, совпадал с тем, что я увидел, лишь в одном — в необузданности. Но у человека, сидевшего во главе стола и возвышавшегося над ним, да, по сути, и над всей огромной залой, во

взгляде сквозило такое необузданное исступление, какого я никогда не видел и даже вообразить не мог. Он не принадлежал ни к моему веку, ни к столетию, в котором жил доктор. Дистанция, отделявшая его от вульгарных нацистских бонз, что драли глотки у него за столом, была больше, чем между ними и мной. Их бесчеловечность была бесчеловечностью города, стадно-машинной цивилизации, презренной жестокостью громкоговорителя и пулемета. Ганс фон Хакельнберг принадлежал к тому веку, когда насилие и жестокость носили более персональный характер, когда право властвовать опиралось на собственную физическую силу человека. Такая свирепость и дикость, как у него, принадлежала к другим временам — временам зубров, диких быков того темного древнего германского леса, с которыми город так и не сумел совладать.

Он был намного выше и крупнее всех, кого ты когда-либо видел в своей жизни: это был великан, так что огромный трон, на котором он восседал, и громадный дубовый стол казались предметами нормального размера, а вся остальная компания выглядела просто детьми.

Темно-рыжие волосы его были коротко подстрижены, что делало его невероятных размеров

череп и бычье чело еще мощнее и чудовищней. Его длинные усы и раздвоенная рыжевато-коричневая борода блестели в свете факелов, когда он мрачно качал головой и сердито поглядывал на своих гостей. На нем был зеленый камзол без рукавов с вышитой золотом портупеей, на шее — тяжелая золотая цепь, а выше локтя — золотое ожерелье древних кельтов, плотно охватывавшее бицепс.

Он ничего не ел, лишь время от времени резко вскидывал рог для вина, осушал его и возвращал на место с усилием настолько свирепым, как будто рука его, поднявшись, с трудом удерживалась от того, чтобы по собственному почину заняться разрушением — бить и уничтожать все, что попадется. Время от времени он отсекал от куска говяжьей вырезки, лежавшего перед ним на столе, изрядный кусок и швырял его псам, жадно следившим глазами за каждым его движением, и делал он это с такой силой и с таким первобытно-свирепым блеском в глазах, что становилось ясно: ему хотелось швырнуть псам саму голову гауляйтера. Иногда он откидывался назад и долго разглядывал потолочные балки, потом взгляд его медленно и мрачно скользил по телам факельщиц, стоявших у стен, как будто злобная гримаса

на его челе должна была обеспечить ему полное повиновение — и ни одна из них не дерзнула бы поникнуть или шевельнуться. И я увидел, что глаза его были желтовато-коричневыми, а когда в них один-два раза попадал отблеск факельного пламени, они загорались красным, как пылающие угли, огнем.

Оказалось, что мы пришли поздно и пир подходил к концу, — во всяком случае, жареным мясом гости успели наесться досыта. С немыслимой щедростью к столу было подано огромное количество мясных туш — говяжьих, бараньих и свиных, а также лесная дичь, и на столе в истинно средневековом духе царил страшный беспорядок: стол загромождали сальные подносы, оловянная посуда, серебряные блюда и тарелки. Молодые лесничие, одетые в богатое платье из шелка и парчи, обходили гостей, наполняя их деревянные кружки пивом, а большие пустотелые коровьи рога — вином.

Компания была буйная и уже на три четверти пьяная. Гости развалились за столом, горланя песни, причем одна группа старалась перекричать другую, и производили при этом больше шума и, пожалуй, хуже выводили мелодию (а слова было понять вообще невозможно), чем в два

раза большее количество английских студентов на торжественном ужине в честь победителей турнира по гребле. Они не успокоились и тогда, когда шесть высоких юношей-лесничих, одетых в восхитительные костюмы из зеленой ткани, украшенной золотом, взошли на невысокий помост за графским троном и, приложив к губам серебряные горны, начали выводить один за другим разнообразные охотничьи сигналы. Граф откинулся на спинку трона и слушал их игру, мрачно сдвинув брови, а в это время в зале появилась группа рабов, которая быстро убрала со стола все, за исключением бокалов, кубков и кружек.

Когда все было сделано, горнисты выждали несколько минут и снова принялись играть, но теперь это была быстрая, веселая мелодия — некая охотничья песня, которая казалась мне знакомой, скачущая галопом, возбуждающая музыка, перекрывшая пьяные крики гостей и заставившая их приплясывать в такт песне.

Неожиданно широкие входные двери в торце залы распахнулись, и снова быстрым шагом вошли рабы, каждая четверка несла по огромному сверкающему металлическому блюду с куполообразной крышкой. Они разделились и

подошли к столу с двух сторон, водрузили свою ношу на черную полированную поверхность стола таким образом, что вскоре перед каждым гостем оказалась чудовищных размеров посудина, способная вместить овцу или даже оленя. Затем рабы вспрыгнули на стол и устроились по одному перед каждым блюдом, взявшись за ручку крышки. А тем временем юноши обошли гостей, положив на стол рядом с каждым из них охотничий нож.

Граф Ганс фон Хакельнберг медленно встал; его подчиненные вскочили и отступили на шаг от стола, а гости, с большей или меньшей степенью уверенности, последовали примеру хозяина и встали, покачиваясь из стороны в сторону и поглядывая с любопытством то на графа, то на стоявшие перед ними блюда. Горнисты протрубили одну звенящую ноту и смолкли.

— Господа! — вскричал граф голосом, подобным бычьему реву. — Приглашаю вас отведать той дичи, которую вы подстрелили!

Все рабы разом сняли крышки с блюд и подняли их высоко над головами, а затем гуськом стянулись к центру стола.

И тогда на блюде перед каждым гостем оказалась та «птица», которую он «убил» под конец

утренней охоты, но уже без перьев, ощипанная, но по-прежнему в маске с клювом, связанная, как для жарки, с прижатыми к подбородку коленями и кистями, притянутыми к лодыжкам. Графовы подчиненные проворно отодвинули от стола стулья и одним-двумя жестами показали, в каких местах можно разрезать ножом путы на руках и ногах «птицы», а затем незаметно кивнули на удобные альковы за спинами гостей.

Казалось, гости были слишком изумлены, чтобы понять смысл предложенного. Но вот гауляйтер справа от графа, уставившийся на блюдо с прекрасным загорелым существом в яркой маске дикого индюка, сверкавшей на бледном фоне пышных золотистых волос, разразился громким хохотом и, склонившись над «птицей», ущипнул ее за округлое бедро. Кое-кто из гостей приветствовал предложение радостными похотливыми криками и уже размахивал ножом, но, прежде чем хоть один из них успел разрезать веревки на своей курочке, Ганс фон Хакельнберг постучал по столу рукоятью кортика.

— Господа! — снова заревел он, и все умолкли и замерли. — Господа! — повторил он уже более человеческим голосом, хотя и достаточно громко, что позволило нам расслышать каждое слово

в нашей маленькой комнатушке, и продолжил так медленно, с таким значением и силой, что я понял практически каждое слово. — Надеюсь, разделывание дичи порадует вас не меньше, чем охота на нее. Дичь ваша, пусть каждый из вас насытит свой аппетит так, как ему это больше нравится, и, если кому-то из вас мясо покажется недостаточно нежным, мои молодцы сдерут с нее грубую кожу по вашей просьбе. — Он указал на старшего егеря, который с ухмылкой подобрал с земли собачий хлыст и медленно протянул его сквозь пальцы. — Но прежде чем вы приметесь за дело, — зарычал граф, неожиданно вновь перейдя на высокомерно-властный тон, — я приглашаю вас пройти со мной и увидеть ту же аппетитную плоть в другой шкуре. Придержите свой аппетит, господа, на десять минут, и женщины покажут вам такое, что раззадорит его пуще прежнего. *Bitte! Herr Gauleiter!*[15]

Он взял гауляйтера под руку и отвел к входным дверям залы, где нам его уже не было видно. А лесничие подступили к остальным гостям — которых неожиданное препятствие на пути к утехам озадачило еще больше, чем само неожиданное

---

[15] Примечания: 15
Прошу вас! Герр гауляйтер! *(нем.)*

предложение «угоститься» добытой дичью, — и погнали недоумевающее стадо к выходу, а на столе тем временем остывали нетронутые «лакомства» под присмотром младших егерей, которые, вооружившись винными кубками, вознамерились в отсутствие гостей поваляться на покрытых звериными шкурами помостах.

Когда гости толпой покинули залу, факельщицы, стоявшие вдоль длинных карнизов, развернулись и вышли через двери, расположенные по углам, а стоявшие на торцовых карнизах — меньше трети от общего числа — продолжали нести свою недвижную вахту.

Доктор, поняв, что развлечение прервано, не успев начаться, раздраженно выругался. Он дернул меня за рукав и прошептал:

— Давайте спустимся и хотя бы выпьем, прежде чем они вернутся. — И не дав опомниться, он потащил меня вниз из нашей крохотной комнаты.

Мне ничего не оставалось, как последовать за ним, но я успел спросить по пути, почему бы нам не пойти и не посмотреть на представление, обещанное графом.

— Нет-нет, нет! — вскричал доктор, удивив меня своей горячностью. — Я не пойду! И ради бога, давайте наконец выпьем.

Он скатился вниз по винтовой лестнице, и я за ним следом, едва не наступая ему на пятки, но, прежде чем мы вышли на улицу, я решил улизнуть от него. Желтые факелы, образуя две прямые линии, двигались во тьме на некотором расстоянии от здания; у фасада стояла довольно большая толпа рабов и каких-то других людей, в темноте их было плохо видно, и, когда доктор заспешил к главному входу, я без труда стряхнул с себя его руку и смешался с молчаливой толпой. Я даже не слышал, стал ли он окликать меня, когда я плечами и локтями прокладывал себе дорогу среди рабов и потом, когда побежал за удалявшимися факелами. Думаю, он слишком боялся темноты, царившей на улочках «шлосса», чтобы оставаться одному под открытым небом.

Через несколько минут я догнал процессию и примкнул к группе лесничих, замыкавших шествие. Никто не обратил на меня внимания, хотя свет факелов, падавший с двух сторон, наверняка осветил и мое лицо, и мое скромное незамысловатое одеяние. Серебряные девы, оказавшиеся вблизи ростом с гренадера, вышагивали церемониальным шагом, высоко задирая ноги и глядя прямо перед собой; каждая из них крепко держала факел в негнущейся руке. Лесничие негромко

переговаривались друг с другом, но гости, слегка остыв под открытым небом, были странно тихи и молчаливы, а граф фон Хакельнберг, все еще держа гауляйтера под руку, шествовал впереди, возвышаясь над процессией и ни словом не объясняя, куда и зачем он ведет гостей.

Так мы прошли несколько сотен ярдов и, судя по высокой живой изгороди, которую миновали, оказались где-то неподалеку от заповедника, который я видел утром. Две шеренги факельщиц начали расходиться налево и направо, тогда как граф и вся его свита остановились и наблюдали за ними, пока те не соединились вновь, образовав перед нами большой овал. И тогда граф торжественно пригласил своих гостей садиться, а я впервые за все это время услышал в его голосе веселые нотки.

Незаметно пробравшись вперед, при свете факелов я увидел широкий вал из дерна, обрамляющий края довольно странной ямы овальной формы. Граф притянул к себе гауляйтера и усадил его рядом на внутреннюю сторону вала, а все остальные, не без участия егерей, расположились по правую и левую руку от него. Я потихоньку отошел в самый конец ряда и заглянул вниз. Теперь девушки наклонили свои длинные факелы,

так что те свисали над ямой и ярко освещали ее. Стенки ямы высотой пятнадцать-двадцать футов были обшиты гладкими белыми досками, а дно устлано выстриженным дерном. По обе стороны ямы находились железные решетки, закрывавшие вход в подземные помещения. Словом, это был римский цирк в миниатюре, максимально упрощенный.

Внезапно раздался высокий резкий звук рога, заставивший меня похолодеть. Я невольно вздрогнул, как, впрочем, и все, — наверное, даже факельщицы, потому что по кругу факелов пробежала волна. Граф фон Хакельнберг стоял, приложив к губам огромный серебряный рог, сверкающее кольцо которого проходило над его плечом и опоясывало торс. Он дул в него изо всех сил, и громкость и настойчивость этого звука, раздавшегося так близко и таким диким эхом отозвавшегося в ближних лесах, были почти невыносимы.

Когда звук угас, я услышал грохот поднимаемой решетки. Из подземного коридора на освещенный красным светом овал арены вышли три молодых человека, одетых с головы до ног в странные доспехи, которые я видел утром в комнате егеря. Теперь я понял, что это была не

сталь, не какой-то другой металл, а материал, хотя твердый и плотный, но все же достаточно гибкий, чтобы не стеснять движений. Первые два несли тяжелые кожаные хлысты, заплетенные в косички, а третий вел двух ланей — двух мягких откормленных пятнистых созданий с шелковыми ленточками на шеях. Они вышли на середину арены и встали. Ланей била легкая дрожь, они жались к егерю, который держал их за ленты, их большие уши настороженно вздрагивали, а когда они поднимали головы, в темноте их больших влажных глаз, уловивших свет факелов, на миг загорался зеленый огонь.

Фон Хакельнберг снова протрубил в свой рог — раздался короткий, высокий и властный звук, и, прежде чем он отзвучал, я услышал ответ. Это был тот же ужасный кошачий концерт, который я слышал утром, но теперь в нем звучала пронзительная похотливая нота, а может быть, так кричат от голода; визг и крики, раздававшиеся из-за второй решетки, становились все ближе и ближе, и я различал в них жутковатый подголосок получеловеческого лепета. Он был громче и настойчивей, чем утром, этот высокий злобный визг, столь расстроивший нервы доктора.

Решетка с лязгом поднялась, и в яму выпрыгну-

ли пара десятков крупных животных.

Это были гепарды (во всяком случае, я поначалу принял их за гепардов), скакавшие так резво, словно бегали на задних лапах. Но прежде, чем я понял, что это вовсе не животные, раздался дикий хохот графа, и мне стало понятно, что́ он замышлял, откладывая на потом распутные утехи своих дряблотелых гостей. Прекрасные пятнистые шкуры, лоснящиеся в свете факелов, обтягивали бока, спины и округлые груди молодых женщин, так точно совпадавших по размеру, возрасту и пропорциям, что, должно быть, этих рабынь отбирали тонкие ценители по всем фермам рейха. Это были сильные, хорошо сложенные женщины, без капли лишнего жира, пышущие здоровьем и на пике формы; мягкие изгибы их конечностей и тел вызывали восторг, какой рождается лишь при виде исключительной женской красоты, и в то же время игра мускулов под их блестящей загорелой кожей пробуждала во мне отнюдь не только восхищение или благоговейный восторг — нет, в конечном счете это был страх перед силой, звериной силой, способной вырваться внезапно и скрытой в этих очаровательных женственных формах. В состоянии покоя они могли бы стать натурщицами для скульптора,

создающего образ идеальной женственности, но, когда они вырвались на арену и забегали с такой скоростью, что не уследишь взглядом, в них не было ничего человеческого: благодаря какому-то дьявольскому искусству селекции и дрессировки женщины превратились в огромных, гибких, быстрых и опасных кошек.

Их головы и шеи плотно облегали пятнистые шлемы с аккуратно закругленными ушами леопарда, но овал лица оставался открыт, и каждое лицо, когда на него падал свет, было искажено уродливым оскалом; в полуоткрытом красном рту блестели большие белые зубы, в глазах сверкал тусклый огонь настоящего безумия. Их визг и скулеж напоминал теперь вой сумасшедшего, а неразборчивый лепет казался безумной скороговоркой. Я вспомнил, что говорил мне доктор о немых рабах, и догадался, что этих женщин тоже подвергли хирургической операции.

Облегающие меховые куртки укрывали их плечи, руки и грудь, доходя до нижних ребер; они заканчивались прямо над ягодицами мысиком, с которого свисал покрытый короткой шерстью хвост. На ногах у них были своего рода высокие мокасины из той же пятнистой шкуры. Но взгляд неудержимо притягивала другая деталь

их костюма — странные перчатки, которыми заканчивались облегающие рукава. В них поблескивал металл, и, как бы трудно мне ни было уследить за этими существами в движении, я разглядел, что у каждой из них к рукам прикреплено по странному устройству с крючками; я видел такие в комнате егеря. Представь себе четыре изогнутые стальные полоски, прикрепленные к некой гибкой основе, и еще одну полоску сбоку, а все вместе они сделаны по образу и подобию человеческой руки, но каждая полоска вдобавок снабжена пустотелым стальным когтем леопарда, в который входит последний сустав каждого пальца, и все это крепко приматывается ремешками к запястью, к тылу кисти и к каждому пальцу. И сталь явно была упругой, потому что они вполне могли сжать кулак, а на бегу зачастую ненадолго становились на четвереньки, касаясь земли костяшками пальцев, и когда одна из них пробегала неподалеку, я отчетливо слышал легкое постукивание стальных когтей.

Как только «кошки» выбежали на арену, три егеря сошлись в центре спина к спине; двое из них, как цирковые артисты, держали хаотично крутившуюся вокруг них группу на дистанции кнута, а третий смирял двух ланей, рвавшихся

из рук от ужаса. «Кошки» были не вполне выдрессированы, и лишь щелчками хлыстов егеря́ удерживали их от того, чтобы они не сорвались со своих извилистых орбит и не бросились к центру арены. И каждый раз, когда одна из них делала такую попытку, раздавался мастерский, тяжелый удар плети, попадавший на ничем не прикрытую поясницу или ягодицы, и при каждом щелканье кнута остальные «кошки» поднимали дикий визг, а ощутившая на себе силу удара высоко подпрыгивала, пританцовывала от боли и гнева, пронзительно крича, фыркая и яростно потрясая ослепительными стальными когтями. И, перекрывая этот визг, оглушительно хохотал Ганс фон Хакельнберг.

Егеря заставляли «кошек» бегать по кругу, пока их бедра не заблестели от пота, а грудь не начала вздыматься. И тогда граф снова затрубил в свой рог, выводя длинную замирающую ноту, жалобную, затухающую музыку Смерти.

Тут же невыносимый визг, раздававшийся в яме, стих, превратившись в нетерпеливое поскуливание; а едва граф закончил, как три егеря отпрыгнули в стороны и кинулись к открытым решеткам.

И в абсолютной тишине, которая была страш-

нее, чем яростный визг, «кошки» набросились на ланей. Бедные животные высоко подпрыгнули, но ярко блестевшие стальные когти резали и полосовали, царапали и глубоко вонзались в шею и ноги и раздирали брюхо и бока. Это была настоящая свалка, с дикими корчами, отчаянным отпихиванием друг друга ногами и бедрами; головы и руки были заняты своим неистовым делом. Внезапно в мои ноздри ударил сильный запах теплых потрохов, и я попятился от края ямы. Спустя несколько мгновений «кошки» рассеялись по всей арене, позабыв о егерях и их кнутах, раздирая и жадно заглатывая сырое мясо. Слышны были только громкое чавканье и глухое рычание, звучавшее, когда одна «кошка» прошмыгивала поблизости от другой. Их лица были забрызганы кровью. Кровь запятнала их груди и руки, обтянутые лоснящимися шкурами, и темную кожу обнаженных животов и гладких бедер.

Ганс фон Хакельнберг закричал весело:

– *Es ist zu Ende! Komm, meine Herren!*[16]

Лесничие вскочили, факельщицы развернулись и, выстроившись в две шеренги, отправились церемониальным маршем к главному

---

[16] Примечания: 16

Кончено! Пойдемте, господа! *(нем.)*

зданию; гости, еле волоча ноги, в полной тишине проходили мимо возвышавшегося над ними графа, стараясь не глядеть на него, а граф, ожидая последнего, дабы замыкать шествие, и сотрясаясь от смеха, ухмылялся и поглядывал сверху вниз со свирепым удовольствием на свое потерявшее кураж маленькое стадо некогда самодовольных хвастунов-охотников. В них мало что осталось от людей, собиравшихся весело провести остаток ночи. Нашего утреннего знакомого, толстого охотника, поддерживали под руки два лесника: его безудержно рвало под деревом.

Я медлил до тех пор, пока последняя пара факельщиц не сошла с земляной насыпи, надеясь, что фон Хакельнберг присоединится к своим гостям, но по краям ямы зажглись ослепительно-яркие фонари, и, боясь, что меня, стоящего поодаль и потому бросающегося в глаза, заметят, я присоединился к последней группке из четырех-пяти лесничих и прошел мимо графа, низко опустив голову.

Мне казалось, что я уже проскочил, когда огромная рука, опустившаяся на мое плечо, остановила меня столь внезапно, как если бы я наткнулся на низкую ветвь дуба. Он развернул меня кругом, требуя ответить, кто я такой, и прямо передо

мной, в паре футов, оказались эта темно-рыжая раздвоенная борода, этот огромный ухмыляющийся рот и эти горящие глаза. Резким жестом он остановил последнюю факельщицу, и ее факел осветил мое лицо. Голосом, исполненным угрозы, граф повторил свой вопрос. Лесничие сомкнулись вокруг нас, и, беспомощно оглядываясь по сторонам, я неожиданно узнал в одном из них молодого парня, который был с нами в засаде в это утро. Прежде чем я наскреб несколько немецких слов, чтобы пуститься в объяснения, этот парень успел все рассказать обо мне. И я видел, как, рассказывая, он красноречиво постучал себя по лбу. Граф же прервал его громким криком:

— Знаю! Я знаю! — И потом, обращаясь ко мне и ухватив меня за плечо с такой силой, что, казалось, кости вот-вот затрещат, он загремел: — Ну?! Так ты беглец! В тюрьме сидеть не хочешь, а? Свободы возжелал? Так ты ее получишь! В лесу! Гоните его в лес, ребята! Пускай, свободный, ищет пропитание с оленями!

И он оттолкнул меня, я зашатался, но лесничие подхватили меня, не дав упасть. Я инстинктивно сопротивлялся, но они были сильнее. Тратить силы на эту возню было бессмысленно, так что усилием воли я заставил себя смириться и позво-

лил им меня увести.



VII

Указания графа были тотчас исполнены. И хотя еще утром, видя меня вместе с доктором, егеря относились ко мне если не дружелюбно, то по крайней мере без открытой враждебности, теперь они не обращали ни малейшего внимания на мои вопросы, как будто я был для них не человеком, а просто зверем. Они действовали грубо и бесцеремонно, и, если я мешкал, выполняя их приказы, им не надо было даже меня бить: они ясно дали понять, как ловко и незамедлительно подавят малейшее сопротивление.

Меня привели в какую-то комнату в той длинной веренице построек рядом с загонами для дичи, там заставили снять одежду, которую дал мне доктор, и надеть странный костюм из гардероба, где было много подобного снаряжения. Костюм состоял из пары бриджей, сшитых из незнакомого материала, с первого взгляда похожего на оленью кожу или замшу, но на деле оказавшегося тканью, эластичной, как натуральная кожа, с густым коротким ворсом снаружи, напоминающим шерсть животного. Еще мне дали облегающую фуфайку с длинными рука-

вами из того же материала, а затем, изрядно потрудившись, подогнали по мне пару мокасин из натуральной оленьей кожи, плотно зашнурованных и удобно облегающих стопу.

Экипировав с головы до ног, меня вышвырнули во двор, где стояла маленькая запряженная лошадьми повозка, даже скорее не повозка, а квадратная деревянная клетка на колесах. Меня впихнули в нее, дверцу заперли, пара лесничих уселась на крыше, и мы тронулась по темной лесной дороге.

Мили четыре или пять мы бодро ехали густым буковым и дубовым лесом по довольно приличной грунтовке. Затем остановились, меня выпустили и заставили дальше идти пешком, причем возница шел впереди, освещая путь фонарем, прежде висевшим на повозке, а другие следовали за мной, и в поясницу мне упиралось ружейное дуло. Мы шли по узкой песчаной тропинке, пересекавшей открытую поляну. Луну закрывали облака, и я мог бы, метнувшись в сторону, оторваться от преследования; да, мог бы, если бы не был уверен, что сейчас они мучить меня не собираются: при всей своей странности приказы фон Хакельнберга были совершенно однозначными и выполнить их надлежало бук-

вально. Теперь я знал, что леса Хакельнберга окружает надежная ограда; быть свободным здесь означало лишь оказаться в более крупной тюрьме. Но быть хозяином самому себе даже в этих четко очерченных пределах — это казалось шагом к полному освобождению. И мне не хотелось испортить все дело, получив пулю в ногу.

Мы остановились в маленькой рощице — фонарь осветил крохотную хижину из плотно переплетенных ветвей, крытую толстым слоем камыша. Меня подтолкнули к темному низкому дверному проему, и один из охранников грубо приказал:

— Жить будешь здесь. Еду найдешь рядом. Но если мы тебя увидим, пристрелим, как дикого зверя, или натравим на тебя собак.

Он ткнул меня прикладом, я отлетел во мрак хижины и распростерся на полу, беспомощно ловя ртом воздух. Сумев наконец разогнуться, я увидел, что свет фонаря уже исчезает за деревьями.

Ощупывая в темноте стены хижины, я испуганно отпрянул, когда моя рука коснулась копны чьих-то волос. Раздался сдавленный крик, похожий скорее на визг, и я понял, что это существо боится меня еще больше, чем я его. Что-то громко

зашуршало — не то солома, не то сухие листья, и нечто большое споткнулось о мои ноги, стремясь к двери. Я схватил это «нечто» и понял, что держу человека.

Он рухнул наземь, всхлипывая и бормоча голосом таким тихим, слабым и сбивчивым, что я не сразу понял, человеческая это речь или искаженные звуки, которые только и могли издавать графские рабы-славяне. Потом, когда я приподнял его, он успокоился, и я понял, что он говорит по-французски.

Позволив мне ощупать себя, свою голову и все тело, он дрожал и постанывал от страха. У него были длинные волосы и длинная борода, и точно такой же, как мой, костюм из материала, напоминающего звериную шкуру. Он был невысокого роста и, как показалось, намного меня старше. Изо всех сил стараясь утешить его на ломаном французском, я подтащил его к куче сухой соломы, которую нащупал в углу хижины, и усадил рядом с собой.

Наконец он стал испытывать ко мне некоторое доверие и в свою очередь начал робко ощупывать мое лицо и одежду, потом спросил, кто я. Услышав, что я англичанин, бежал из лагеря для военнопленных, во время побега наткнулся на

лучевое заграждение вокруг Хакельнберга и после лечения отпущен в лес по приказу графа фон Хакельнберга, он содрогнулся при упоминании имени графа и глухо застонал.

— Они убьют вас, — сказал он, едва не рыдая. — Убьют. Они всех нас убьют. Меня гоняют с места на место. Гоняют без отдыха. Я спать не могу, я сойду с ума! — И он раз десять повторил это «сойду с ума», постепенно переходя на визг ужаса и отчаяния, так что меня передернуло.

Очень скоро я убедился, что он и вправду балансирует на грани безумия, мучимый неким воистину невыразимым ужасом, облечь который в слова ему было не под силу, как я ни старался его разговорить. Я-то думал, что сумею успокоить его, если упрошу рассказать его историю, но удержаться дольше минуты на каком-либо ином предмете, кроме того ужаса, который преследовал его в этих лесах, он не мог: вздрагивал, как дикий зверь, при каждом звуке, доносившемся снаружи, шипел на меня, призывая замолчать, странно втягивал в себя воздух и, словно окаменев, прислушивался к далеким, едва различимым шумам.

Я смог понять лишь то, что человек он образованный; наверное, писатель: бессвязно бормоча,

плача, как ребенок, пытающийся объяснить, за какой проступок его наказали, он говорил о каких-то своих письмах или статьях, путаясь в исковерканных немецких именах и фамилиях и причитая:

— Я делал только то, что они мне говорили. Я же не знал, что это неправильно. За что меня наказали? Почему мне не дали возможности публично покаяться, выступить с отречением? Они же понимают, что я никогда не написал бы этого, если бы знал, что это неправильно. Они специально меня запутали, чтобы мучить, чтобы убить чисто удовольствия ради. О господи! Они хотят убить меня для развлечения!

Я просидел на соломе с этим несчастным безумцем чуть ли не полночи, пытаясь то утешить его, то понять, чего же такого он настолько боится, хотя, Господь свидетель, в Хакельнберге я тоже получил свою долю ужасов и вполне мог вообразить, на что еще способен граф, чтобы свести человека с ума. Мой новый знакомец явно не только был раздавлен страшным душевным напряжением, но и смертельно устал; когда же я спрашивал его, чем он обычно занимается в лесу днем, и где берет еду, и в этой ли хижине обычно ночует, он либо не отвечал ничего, либо слабым

голосом, с хитроватой, эгоистичной сумасшедшинкой бормотал, что ничего мне не скажет, поскольку я его предам.

Мне хотелось есть, но в хижине не нашлось ничего съестного, вдобавок я устал, и раз помочь этому бедняге ничем не мог, как и он мне, а бояться его было незачем, я вытянулся на соломе и уснул.

Разбудили меня солнечные лучи, в хижине я проснулся один. Окружающий лес поражал великолепием свежей зелени в золотистых отсветах, радовал прохладой. Я окинул взглядом прекрасную поляну, прислушался к пению птиц, потянулся и вздохнул полной грудью. Может быть, моя свобода была обманчивой, но мне она казалась настоящей; и в ярких утренних лучах, окруженный такими настоящими деревьями, спокойно и с подлинным совершенством осуществляющими извечный круговорот всесильной природы, я не мог поверить, что порочные извращения естественной красоты, виденные мною при свете факелов, это унижение и оскорбление человеческой природы, которые я наблюдал накануне, — что все это было на самом деле. Оглядываясь по сторонам в поисках моего соседа, я со смехом вспоминал его ночные страхи,

но нигде его не видел; смеялся и над самим собой: в этих меховых бриджах я был похож на коротко остриженного Робинзона Крузо.

Меня поражало, что преступников у графа наряжают так роскошно (а я определенно должен был считаться преступником). Очень непохоже на нацистов: они не тратили хорошую одежду на человеческий хлам, подлежащий ликвидации. Но потом я вспомнил изысканные костюмы девушек-птиц. И хотя мне не верилось, что страхи французского писателя перед ужасной гибелью оправданны, я не сомневался, что и ему, и мне предназначена некая роль в графских фантастических играх.

Где-то неподалеку приглушенно журчала вода. Я пробрался сквозь густой кустарник и по заросшему склону спустился на звук. В тенистом буковом лесу с редким подлеском плескался на камнях небольшой чистый ручей, наполнявший соблазнительной влагой водоем с песчаным дном, усыпанным редкой галькой. Но тут грянул неистовый собачий лай, и я опрометью взлетел назад и, выглядывая из-за куста, увидел двух-трех лесничих с парой псов.

Лесничие что-то делали за грубым деревенским столом неподалеку от пруда, один из них смот-

рел в мою сторону и вдруг без предупреждения вскинул ружье и выстрелил. Я инстинктивно присел, и дробь посекла сучья над моей головой. Я метнулся к хижине и не выходил до тех пор, пока не услышал, как злобно ворчащих собак уводят вглубь леса. Тогда я выбрался с превеликой осторожностью, вслушиваясь и оглядываясь по сторонам, прежде чем выйти из-за кустов на открытое пространство.

На столе я нашел оставленную ими снедь — хлеб, сыр, картошку, свежие овощи и яблоки. Голодный, я готов был схватить ломоть, но, похолодев от внезапного подозрения: что, если егеря таким образом выманивают меня на открытое пространство? — снова кинулся в укрытие.

Наверное, битый час я прятался в кустах, умирая от голода, но боясь приблизиться к столу. Одной лишь угрозой им удалось превратить меня в животное. Не то чтобы я испугался их ружей или собак, но я понимал, что рисковать не могу: если меня ранят, пропадет последний шанс бежать отсюда, и это чувство взяло верх над остальными. Результат был один и тот же. Назови это трусостью или излишней осторожностью, но я лежал и по-животному терпеливо ждал, пока абсолютно не удостоверился, что путь свободен.

Тогда я сбежал по склону, быстро напился и схватил то, что мог унести. Я не вернулся в хижину, а устроился есть на широкой травянистой прогалине с хорошим обзором.

В этом и заключалась горечь моей «свободы»: зная, что меня выпустили для некой жестокой графской забавы, я не имел представления, что за форму она примет, какой злобной выходки мне опасаться. Лес был прекраснее рая, но меня не радовал; все мои чувства были напряжены в постоянном ожидании подкрадывающейся опасности.

И тем не менее у меня была цель. Я льстил себе тем, что слеплен из другого теста, нежели французский писатель с больными нервами. Не берусь утверждать, что мне нравится, когда в меня стреляют, однако я побывал в нескольких переделках и мимо моих ушей свистела не только дробь, но и кое-что покрупнее. Итак, поев и чувствуя себя намного лучше, я в первый раз отправился на разведку.

Лес оказался совсем не таким густым и диким, как я ожидал. Кругом были видны следы облагораживания; если не считать небольших рощиц, весь подлесок вычистили, поваленные деревья распилили и сложили по бокам просек, а траву

там коротко подстригли. И если бы не огромные размеры Хакельнберга, этот лес не отличался бы от английского поместья. Здесь, как и там, царил дух уединенности.

За все утро я не встретил ни одной живой твари, если не считать нескольких птичек и одной-двух белок. Это меня тоже удивляло, пока я не задумался об особенностях охоты в Хакельнберге. Если что и нужно было гостям фон Хакельнберга, так это легкая добыча без усилий, а не превратности погони за диким оленем. Но я сам слышал, как граф ночью скачет по лесу и трубит в свой рог. Какую же дичь гнал он в темноте, под луной? Теперь я, кажется, знал ответ на этот вопрос и то и дело прикидывал, как высоко стоит солнце над горизонтом и сколько часов осталось до заката.

Была уже середина дня, когда я подошел к ограде. Перед этим я обогнул широкую всхолмленную пустошь, окруженную соснами; стараясь держаться в тени деревьев, я направлялся к лежавшей за пустошью лесной полосе. За соснами начиналось открытое травянистое пространство, по медленной пологой кривой разворачивающееся влево и вправо, насколько хватало глаз. Ярдов на двести вокруг не было ни одного укрытия, способного спрятать хотя бы лисицу, но что важнее

и немедленно привлекло мое внимание — это высокая деревянная сторожевая вышка посреди пустого участка, ярдах в четырехстах-пятистах от меня. Верхняя часть башни была загорожена, и я не видел, есть там кто-нибудь или нет, но так и так был уверен, что в бинокли и прицелы ружей все открытое пространство великолепно просматривается.

Сама же ограда выглядела до смешного хлипкой: всего один ряд тонких стальных столбов, поддерживающих три ряда проволоки, ярко сиявшей на солнце. Я подполз на животе, насколько хватило смелости, укрываясь за росшими неподалеку от сосен кустами вереска. Проволока была не похожа на колючую, и при дневном свете я не замечал никакого странного свечения, которое видел (или мне казалось, что видел) в ту лунную ночь, когда пришел в Хакельнберг.

Я прополз еще несколько дюймов вперед и вспугнул птиц, те шумно выпорхнули из куста вереска впереди и устремились к островку леса за оградой. Самец летел высоко, а курочка, чуть отставшая от него, намного ниже. Я видел, что если она не поднимется, то с трудом перелетит через верхнюю нитку проволоки, протянутую в десяти футах над землей. Но она все же взлетела

повыше, заметив проволоку, и точно должна была через нее перемахнуть. И тут курочка упала замертво, как будто в нее выстрелили из ружья двенадцатого калибра. Я услышал глухой звук: это ее тушка ударилась о твердую голую землю у подножья ограды. И тем не менее могу поклясться, что проволоки она не задела. Уверен, что она не долетела до нее фута два, когда упала на землю. И потом, если бы она коснулась проволоки — такая большая птица, да и летящая так быстро, — я бы обязательно увидел, как проволока, яркая и заметная, завибрирует. Я сразу бросил взгляд на сторожевую башню — интересно, заметили там птицу или нет, — но никто не шелохнулся.

Я стал продвигаться влево, стараясь не высовываться из-за кустов. Нашел несколько мест, где можно было подойти к ограде намного ближе, по-прежнему укрытым, и оттуда увидел, что на расстоянии двух футов в каждую сторону от нижней нитки проволоки земля абсолютно голая на всем протяжении ограды. То там, то здесь на этой мертвой полосе я замечал пучки меха и перьев — останки птиц и мелких животных, пытавшихся пересечь ограду.

Примерно в полумиле виднелась еще одна сторожевая вышка. Сама собой напрашивалась

мысль, что башни расставлены по всему периметру на равном расстоянии друг от друга, чтобы вся ограда была под наблюдением. Если бы это было не так, рассудил я, мне бы точно не лежать сейчас здесь живым и не наблюдать за ними с внутренней стороны ограды. Еще некоторое время я пролежал в своем тайном убежище, размышляя над увиденным. Теперь я мог прикинуть эффективный радиус действия лучей Болена, испускаемых при помощи проволоки. Если каждый проволочный ряд действовал на два фута, ясно, что ограда представляла собой смертельную преграду шириной в четыре фута и высотой в двенадцать. Единственный выход — копать туннель. Если земля и проводила лучи, то вряд ли далеко, судя по тому, что сразу за двухфутовой полосой росла густая здоровая трава. Но минимальное расстояние, на которое я приближался к ограде, составляло около сорока футов. Будет ли у меня время на то, чтобы в одиночку, пользуясь лишь теми инструментами, которые смогу смастерить, вырыть туннель как минимум в пятьдесят футов длиной?

В обратный путь я двинулся заранее. Еще по дороге к ограждению я предусмотрительно оставлял отметки — заламывал ветки на деревьях,

чертил камнем крестики на участках голой земли, — так что почти не заплутал и вернулся к своей хижине, прежде чем стемнело. По пути я обдумывал, как избежать тех неприятностей, которые готовит мне граф, и не последовать ли случайно оброненному совету француза о том, что место ночлега надо менять каждую ночь. Но потом что-то во мне — инстинкт ли, упрямство или гордость — восстало против того, чтобы меня гнали, как дикого зверя. Мне отвратительно было бежать от них, как кошка удирает от собаки, — бежать для их удовольствия. Если собираются меня мучить, пусть лучше найдут меня в моем логове, а там посмотрим, кто кого. Я безумно жаждал свободы, но, думаю, на самом деле больше боялся превратиться в робкую полоумную развалину, как тот француз, чем погибнуть в неравном бою.

Поэтому я вернулся назад, смело подошел к столу, не видя и не слыша никого поблизости, от души наелся той снедью, что там лежала, а остаток прихватил с собой в хижину. Потом я нашел несколько длинных палок, собрал из них что-то вроде грубой решетки и перегородил вход; никого она, конечно, не остановит, но, если кто-нибудь попробует вломиться, я хотя бы проснусь от шума. И наконец я положил самую толстую

палку и подобранный камень рядом с моим соломенным ложем и улегся спать.

Ночь была беспокойная. Хоть я провел целый день на ногах, толком уснуть мне не удалось. Все страхи, загнанные внутрь дневными заботами, всплыли на поверхность, а шепоты, вздохи и шелест, не прекращавшиеся в лесу всю ночь, стали для них прекрасной питательной почвой. Мое воображение перетолковывало даже знакомые звуки вроде уханья сов и превращало их в голоса тех отвратительных существ из собачьего питомника фон Хакельнберга. Я слышал, как шуршит в сухой траве мелкая зверюшка, и воображал мальчиков-бабуинов, кружащих вокруг моей хижины.

И все-таки разбудило меня и прогнало сон в ранний час вовсе не воображение; я подскочил, уставился в серый квадрат дверного проема и напряг слух — что, если звук повторится? Долетевший сквозь сон издалека, безошибочно узнаваемый, он выводил длинную завершающую ноту — как будто охотник наконец отзывал своих собак. Луна этой ночью приближалась ко второй четверти, наверняка просеки хорошо освещены. Холодный предрассветный воздух проник в хижину через решетчатые стены, и я

зябко поежился.

Как только взошло солнце, я всеми силами постарался стряхнуть оцепенение и беспомощность. Мои планы пока не сформировались; у меня были только самые общие идеи, которые я, чтобы не впасть в полное отчаяние, никак не мог отважиться соотнести с фактами, которые успел узнать. Поэтому я поставил перед собой конкретную и выполнимую задачу: добыть какой-нибудь инструмент или орудие, и самое лучшее, что я смог придумать, — это выпросить или украсть его в хозяйстве доктора. Я не мог поверить, что сестры, ухаживавшие за мной так заботливо, настолько лишены чувства жалости и готовы подчиняться приказам столь бездушно и педантично, как с гордостью заявлял доктор.

Я подождал в кустах, пока егеря уйдут, оставив на столе новый запас продуктов, а затем, сунув под фуфайку ломоть хлеба и несколько яблок — сухой паек на день, — отправился искать дорогу в больницу. Дело это было долгим и утомительным, и на каждом шагу подстерегала опасность. И хоть я старательно обходил стороной любую тропинку или просеку, что могла бы привести прямо к «шлоссу», все же несколько раз я едва не столкнулся с группами охотников: слышал голоса

егерей и конский топот, а один раз мне пришлось броситься на землю и замереть в высокой траве над склоном, пока внизу, вдоль ручейного русла, двигался небольшой отряд: впереди две ищейки на поводке, за ними четверо нетерпеливых мальчиков-бабуинов с сетями наготове, а замыкала шествие пара зорко озирающихся лесничих, в руках у которых были широкоствольные ружья, стреляющие паутиной волокон.

Вскоре после полудня сквозь ветви замаячили строения замка, и, прикинув направление, я стал медленно обходить «шлосс» по широкой дуге. Искомое нашлось лишь благодаря везению: когда солнце уже начинало клониться к закату, в конце очередной тропинки-туннеля мне вдруг открылись белые стены больницы и узкая полоса мха и дерна, где я обычно гулял под присмотром сестер.

Повторяю: у меня не было заранее подготовленного плана. Зная, где расположена кухня, я решил, спрятавшись за деревьями и улучив момент, пробраться туда и прихватить большой нож, или лопату, или тесак — любое подходящее скобяное изделие. Ну а если проникнуть на кухню незамеченным при свете дня не выйдет, что же, дождусь, пока рабы не лягут спать, и попробую

вломиться в дом уже тогда.

Прячась за деревьями, я подобрался к зданию поближе, осторожно пригляделся к тому крылу, где располагались спальни медсестер, и увидел мою Дневную Сестру, та сидела в одиночестве на деревянной скамье у стены и читала газету. Охваченный неожиданным порывом, я смело шагнул вперед и сказал: «Привет, Дневная Сестра!»

Она вскочила, вскрикнув дрожащим голосом, и зажала рот тылом кисти, когда меня узнала. В страхе она уставилась на меня, и глаза ее были полны такого смертельного ужаса, что явись я ей при свете луны, одетый в могильный саван, и то, наверное, не напугал бы сильнее. В ответ она не сказала ни слова — да, наверно, и не слышала того, что я говорил: просто стояла, застыв от ужаса и плотно прижав пальцы к губам. Не знаю, следовало ли мне убеждать ее в том, что я живой или что не причиню ей зла, — шансов у меня все равно не было. За спиной прозвучали шаги, я обернулся — и одна из сестер, увидев меня, с громким криком метнулась за угол здания. Я сделал глупость — побежал следом, надеясь поймать ее, чтобы не всполошила весь дом, — но не успел: трое плотных рабов сбежали по ступенькам веранды, угрожая мне швабрами, и начали колотить меня,

порыкивая и гортанно клокоча. Я отбивался, но к ним присоединилось еще несколько рабов, вооруженных уже дубинками, и мне досталось несколько сильных ударов по голове, рукам и плечам. Тут распахнулось окно, и краем глаза я увидел, что оттуда высунулся доктор, бледный как мел, и подзадоривает рабов. Я крикнул ему по-английски, но в ответном крике услышал лишь грубое неистовство, рожденное паникой. И, заслоняя голову от ударов, я устремился обратно в лес.

Рабы не стали преследовать меня далеко, но я продолжал еще некоторое время бежать, прежде чем сел и стал растирать ушибы и кровоподтеки, обдумывая свое положение.

Было ясно, что проникнуть в больницу сегодня у меня ни малейшего шанса. Конечно, они тщательно проверят все окна, прежде чем лечь спать, да и рабы теперь будут настороже всю ночь, и я бы не удивился, если доктор предупредит кого-нибудь из лесничих о том, что я неподалеку. Мой наряд означал для всех, что я превратился в графскую добычу, вот почему их всех ужасала даже сама мысль о том, чтобы оказать мне помощь или дать приют вопреки его приказаниям.

Остаток светового дня я двигался назад к своей

хижине, но когда наступила ночь, нашел пятачок высокой сухой травы неподалеку от густого кустарника и решился заночевать там. Ночь была смертельно холодной, а к утру начал моросить дождь; утешением служило лишь то, что графского рога я не слышал.

На следующее утро искать дорогу к своей хижине заставил меня, вероятно, голод. Я все обдумывал, как мне попасть теперь уже в сам замок, раздобыть там какой-нибудь одежды на смену этому проклятому оленьему наряду и вдобавок найти оружие или инструмент. Да сумей я только украсть костюм лесничего — и в таком лабиринте, как замок, среди такого множества народа, наверно же, я смогу в сумерках зайти и спокойно выйти, не будучи обнаруженным, и даже не раз. Но этот проект откладывался до следующего вечера, а пока что надо было поесть.

Утро было на исходе, когда я добрался до своей хибарки, предполагая, что егеря уже оставили на столе у ручья свежий запас продуктов и давно ушли. И все же, пробираясь сквозь прибрежные кусты, внизу в приглушенном лесном свете я уловил какое-то движение. Раздвинув ветви, чтобы лучше было видно, я понял, что это вовсе не егеря, а напряженно застывшая у стола девушка:

быстро оглядываясь по сторонам и при малейшем звуке готовая отпрыгнуть в сторону, она тем не менее жадно заглатывала съестное.

Лохмотья, оставшиеся от ее костюма, все еще можно было узнать, и я был уверен, что уже видел эти густые черные волосы и длинные ноги. Я вспомнил, как вчера повстречал отряд с ищейками и мальчиками-бабуинами, и мысль о том, что они потерпели неудачу, наполнила мое сердце радостью: они не поймали ту «птицу», по которой стрелял да промахнулся наш жирный спортсмен. Ей удалось сдвинуть на макушку уродливую маску с клювом и отодрать приклеенные к рукам крылья, а также коричневые с золотом перья хвоста, хотя узенький поясок, к которому они крепились, оставался на талии. Перышки на «птичьей» шейке безнадежно испачкались, и вся она с ног до талии была вымазана засохшей грязью, как будто пробиралась по болотам и запрудам.

Я ломал голову, как бы не испугать ее до смерти своим появлением, и решил, что лучше всего смело показаться ей с некоторого расстояния, от ручья, дабы она могла разглядеть меня и убедиться, что я не лесничий, прежде чем сумею подойти ближе. Поэтому сначала я шел за куста-

ми, а потом с показной беззаботностью ступил на берег ручья.

Но ее уже и след простыл: она промелькнула меж деревьями подобно оленихе или косуле. Не спеша я подошел к столу, взял ломоть хлеба и начал есть, оглядываясь по сторонам. Ее нигде не было видно. Прошла минута-другая, и я позвал ее по-английски. Уловив едва заметное движение листвы на нижних ветвях дерева, я понял, что она следит за мной. И снова заговорил по-английски, надеясь, что, даже если она не поймет меня, само звучание иностранной речи убедит ее, что я пленник, как и она, или раб. Но ответа не последовало. Я не отрываясь смотрел на то место, где минуту назад шевелились листья: похоже, она вскарабкалась по свисающим ветвям огромного бука и спряталась в его густой кроне.

И тут, не думая о той страшной исторической пропасти, которую мне таким странным образом пришлось перепрыгнуть, и не помня точно, где и когда в моей прошедшей жизни я видел этот жест, я показал ей знак «V» — ну, ты знаешь, это жест Черчилля, которым, по словам наших пропагандистов, так часто пользовались в оккупированной Европе.

Листья снова зашевелились: показались пле-

чо и рука, и я увидел тот же самый жест. Поняв это, я подошел ближе, к самим ветвям, и начал объяснять по-немецки, насколько позволяло мое знание этого языка, что я видел, как она убежала после неудачного выстрела, и что я тоже пленник графа. Она прервала меня на чистом английском, без малейшего акцента, сказав очень твердо:

— Если вы знаете сравнительно безопасное место, где можно поговорить, пойдемте туда. Вы идите первым, а я за вами.

Удивляясь ее хладнокровию и уверенному голосу, странно взволнованный тем, что встретил здесь, в этом лесу, свою соотечественницу, я медленно пошел к своей лачужке. Но, не заходя туда, вышел на открытое место, где завтракал тем первым утром, которое провел в этом лесу. С трех сторон там открывался хороший обзор, а с четвертой вплотную подступала густая роща с зарослями буйно растущей сорной травы, где в случае необходимости можно было быстро спрятаться. Я шел через эти заросли, не оглядываясь, но когда остановился и присел на корточки, увидел, что девушка идет за мной по пятам, пригибаясь так низко, что трава скрывала ее почти полностью. Она съежилась и стала маленькой, как куропатка, и мне была видна лишь ее голо-

ва в причудливом шлеме с клювом. У нее было милое, слегка веснушчатое лицо и умные серые глаза. Пока мы говорили, она ела прихваченную со стола снедь и не спускала с меня изучающего и оценивающего взгляда; лицо ее было не испуганным и не измученным, как я ожидал, а скорее настороженным и временами, когда она рассказывала мне о своих злоключениях, дерзким.

Моя же собственная история прозвучала неубедительно и казалась неполной, поскольку я почувствовал, что не должен даже пытаться объяснить ей (вернее, описать) мой невероятный прыжок сквозь время. Не хотелось, чтобы она усомнилась в моей нормальности. Поэтому я просто сказал ей, что бежал из лагеря для военнопленных, полагая, что уж какие-нибудь концлагеря в рейхе наверняка сохранились. Я успел заметить, что пребывание англичанина в немецком заключении совсем ее не удивило. Ей хотелось расспросить меня о лагере, о преступлении, за которое я туда попал, о моих товарищах, но она сдержалась, как будто вдруг поняла, что для моей скрытности могут быть серьезные причины. Я долго размышлял, правильно ли сделал, показав ей тот знак, и с удивлением узнал, что после ста лет нацистского порабощения этим символом

все еще пользуются. Осторожно поинтересовавшись, откуда ей известно значение этого жеста, я услышал:

— Ну как же, — и вид у нее был удивленный, — ведь этот знак был в ходу во времена Старого Сопротивления, так? Я не очень хорошо разбираюсь в делах подполья, у меня было так мало времени, чтобы узнать об этом, прежде чем меня взяли, но я помню, что в нашей учебной группе в Эксетере кто-то читал доклад, и рассказывали, как этими жестами обменивались во времена Волнений, то есть после Вторжения Сорок Пятого Года. Этот жест означал засечку на прицеле тогдашних винтовок. Я не знала, что у Друзей до сих пор в ходу этот знак, но, когда увидела его, рискнула показаться вам, решив, что вы тоже Друг.

Она казалась такой юной, когда серьезно рассказывала о своей «учебной группе». Говорила она с поразительной уверенностью и часто ссылалась на непонятные аббревиатуры — вероятно, начальные буквы названий подпольных патриотических организаций. Но из ее рассказа я понял, что после ста лет авторитарного немецкого господства в Англии все еще существует сопротивление, во всяком случае среди молодежи и студентов, таких как она. Однако, похоже,

сопротивление перестало быть вооруженным: скорее речь шла о сознательном отклонении от официальной доктрины и партийной теории по отдельным пунктам — о расхождениях, неуловимых для непосвященного, но жизненно важных для нее, а мне казавшихся совершеннейшей схоластикой, подобно диспутам средневековых теологов. Но в Средние века, думал я, отклонения от единственно верного учения заканчивались костром. Моя работа состояла в том, чтобы бороться с нацизмом, находясь на борту военного корабля, и она делала то же, но другим способом — искажая партийные лозунги на студенческом митинге. Должно быть, для этого ей требовалось даже больше мужества, потому что я и мои товарищи были свободны, имели хорошую воинскую выучку и за нами стояла могучая держава. А рисковали мы одинаково: на карту была поставлена не только жизнь — в случае провала или плена нас ждали все пытки и унижения, какие имеются в арсенале жестокого абсолютизма.

Я спросил у нее, как она оказалась в Хакельнберге.

Она пожала плечами:

— Думаю, как и все. Причины две — легкомыслие и донос. Хотя мне лично повезло: они

не смогли предъявить мне ничего конкретного. Поэтому наказание было легким — меня послали на переподготовку в Школу лидеров в Восточной Пруссии. Ну, это такое заведение, где обучают руководство союзов молодежи, будущих офицеров. Туда направляют некоторых иностранцев — только нордической расы, конечно. Предполагается, что нравственная и интеллектуальная атмосфера этой Школы очистит их сознание от ошибочных мыслей. Кроме того, кадетам нужно практиковаться на ком-то в искусстве лидерства — а они любят непокорных арийцев, особенно девушек.

— Но как ты попала в руки фон Хакельнберга? — спросил я.

— Убежала из Школы, — сказала она спокойно. — Знаю, это была ошибка. Тактика Друзей состоит в том, что уж если попадаешь в школу переподготовки — вытерпи все, вызнай все хитрости и закончи курс образцовым нацистом, чтобы потом, вернувшись, разлагать систему изнутри. Но эта проклятая Школа была адом. Я не сумела вытерпеть. И убежала. Конечно, меня поймали. Если убегаешь, тебя считают злостным нарушителем и направляют на принудительную службу в какое-либо учреждение рейха, где на тебя рас-

пространяются те же дисциплинарные правила, что и на низшие расы. Вот так я и оказалась здесь. И хватит обо мне. Вопрос, что нам делать с тобой, твое положение много хуже моего.

Я ответил, что, на мой взгляд, мы в равных условиях.

— О нет! — возразила она с прямотой и практицизмом юности. — Я — ценное имущество, ты же всего-навсего Преступник и подлежишь ликвидации. Не знаю точно, что главный лесничий делает с Преступниками, которых ему передают, но процедура эта наверняка грязная и медленная. А что ты там успел увидеть?

Я рассказал ей.

Она кивнула:

— Я никогда не видела этих женщин-кошек, только слышала о них. И их самих тоже слышала. Думаю, без специальной медицинской процедуры там не обошлось.

Будничность ее тона поразила меня даже больше, чем суть ее предположения. Хирургическое вмешательство и удаление из прекрасного человеческого тела того, что освещает его внутренним светом души, было для нее не ночным кошмаром, а всего лишь привычной банальностью, тем, что делается ежедневно.

— Я здесь уже шесть месяцев, — рассказала она мне. — Знаешь, кто я для них? *Jagdstück*[17]. Я — дичь, которую держат специально для охоты. Они выбирают для этого самых лучших бегунов; нас тут много — и арийцы, и низшие расы. В промежутках между охотничьими забавами все не так уж и плохо. Лесничие — они по-своему неплохие ребята, пока дело не доходит до стрельбы. Самое страшное — это не они, а собаки. Знаешь, что бежать нельзя, но не можешь совладать с ужасом, когда слышишь позади их лай. И еще понимаешь, что им позволят тебя растерзать, если не побежишь, потому что тем самым лишишь их развлечения, и они тебя накажут, чтобы другим неповадно было. И даже лучшие из егерей сатанеют, когда гонятся за тобой. На меня охотились по-разному. Иногда у них бывают в гостях настоящие охотники, не то что компания этого гауляйтера. Сначала они гоняют диких оленей во внешнем лесу, а затем, чтобы повеселиться, гоняют здесь человека в оленьей маске. Тебя выпускают на свободу за день до охоты, а потом выслеживают с собаками. Ты хочешь спрятаться в самых густых и непроходимых зарослях, но

[17] Примечания: 17
Охотничий трофей, добыча *(нем.)*.

когда собаки тебя находят, охотники посылают вперед уже не ищеек, а свирепых, злобных псов — и ты срываешься и бежишь со всех ног. И тут в тебя стреляют чем-то вроде крохотного дротика, который вонзается в твою плоть, к нему приделана длинная яркая нить, чтобы легко было узнать, кто же именно в тебя попал. При этом ты одет в костюм оленя из плотной ткани, напоминающей звериную шкуру; а некоторые части тела остаются открыты, чтобы дротики вонзились, не повредив ткани. Эти штуки вызывают жгучую боль, и выдернуть их на ходу невозможно. Увидев, что тебя ранили, они спускают мальчиков-обезьян — а те уже ловят тебя и вяжут. Но в этой игре у тебя есть еще один шанс: дротик должен попасть в определенное место, потому что не может пробить плотную ткань костюма, и, если не вонзился в голую кожу, «обезьян» не спускают. На меня охотились три раза, и два раза мне удалось сбежать.

— Но ведь потом тебя все равно выслеживают? — спросил я и рассказал ей об отряде с ищейками и «бабуинами», который видел накануне.

— А, ну да, — ответила она спокойно. — Вчера они гонялись за мной чуть не целый день, но я

улизнула через болото. Конечно, рано или поздно они меня поймают, следя за местами кормежки, но до тех пор я от них хорошо побегаю.

— А ты не боишься того, что они с тобой сделают, когда поймают?

— Ничего они не сделают. Ну, дадут «обезьянам» побаловаться со мной немного… Это отвратительно. Но за само бегство они не наказывают — в конце концов, именно этого от тебя и хотят. А если сдаешься, им это неинтересно.

— Но если все же отказываешься бежать?

— Тогда тебя сожрут собаки, — сказала она спокойно, словно подводя черту. — Но, если в тебя хоть раз угодили дротиком, в следующий раз будешь изо всех сил стараться увернуться. Они их чем-то смазывают, чтобы больнее было.

Низко пригнувшись, мы просидели в зарослях почти все утро, теплое и солнечное, и я не уставал удивляться тому, что слышу ее приятный юный голос, говорящий на моем родном языке, голос, в котором странно смешивались наивность, и опытность, и откровенное приятие наших фантастических обстоятельств. Спустя какое-то время я осознал: она окончательно уверилась в том, что я входил в подпольную организацию английского Сопротивления. О моей «работе» она всякий

раз говорила с почтительным уважением, как будто я опытный подпольщик, а она всего лишь новичок. Она так часто называла меня «Другом», вкладывая в это слово особый смысл, что я наконец понял: такую форму обращения практикуют члены организации, — и тоже начал называть ее Другом, и увидел, как она обрадовалась.

— Но что же нам все-таки с тобой делать? — повторила она.

— Я убегу, — сказал я уверенно.

— Но как?

— Через изгородь.

Она очень серьезно помотала головой:

— Это невозможно. По проволоке же передаются лучи Болена. Одно прикосновение — и прости-прощай. Мы об этом говорили — я и другие злостные уклонисты-арийцы. У нас была девушка, за которой однажды уже охотились, и она ужасно боялась, что ее опять поймают, и так и сказала: мол, в следующий раз, когда за мной погонятся, побегу прямо к ограде, брошусь на нее и умру. Ну и вот однажды нас с ней вместе опять нарядили оленями. Она спряталась неподалеку от ограды. Ее нашли и, когда она выскочила, в нее попали. Я видела своими глазами. Она побежала прямо к ограде. Но не погибла — во всяком

случае не сразу. Я видела, как она упала, и слышала ее крик — она кричала от ожогов. Но когда что-нибудь большое попадает на проволоку, ее отключают. Часовые на вышках могут отключить излучение. Девушку подобрали и унесли. Думаю, она умерла от ожогов. Мы ее больше никогда не видели.

Я рассказал о моем собственном опыте с лучами.

— Но я не собираюсь бросаться на проволоку, — объяснил я. — Думаю вырыть туннель.

Почувствовав, что озадачил ее, я прочел натуральную лекцию об искусстве подкопа в понимании военнопленных. Она слушала меня внимательно и сразу подметила очевидные недостатки моего плана.

— На это уйдет слишком много времени, — заметила она. — Они ведь не оставят тебя в покое надолго.

— Но должны же быть в лесу и другие преступники, кроме меня, — возразил я. И рассказал ей о французе. — Мне кажется, он тут бегает довольно давно. И вроде бы знает, где прятаться.

Она склонила голову так, что лица ее почти не было видно в траве.

— Не знаю, — сказала она тихим неуверенным

голосом. — Не знаю, что с ним случилось. Я слышала рог…

— Ну хорошо, — ответил я. — Я все-таки попробую. Главное — достать инструменты. Ты здесь знаешь все ходы и выходы, не то что я. Где у них тут хранятся лопаты?

Заразившись моим энтузиазмом, она тут же начала строить планы, как достать все необходимое. Она сказала, что знает где — в павильоне Кранихфельс. Именно там лесничие, ухаживавшие за долиной с просеками и стрельбищными валами, хранили инструменты. И павильон был ей хорошо знаком: перед очередной охотой там девушек и держали. Отлично, сказал я, тогда отправлюсь туда сегодня же вечером и посмотрю, как и что там можно стянуть.

— Нет, что ты! — воскликнула она. — Это сделаю я. Тебя же сразу узнают. А я могу проскользнуть незамеченной в сумерках. Там есть девушки-рабыни, и я вполне могу сойти за одну из них. Только помоги мне снять эту идиотскую маску.

Детали ее костюма были подогнаны таким образом, чтобы их невозможно было снять без посторонней помощи — нужны были как минимум ножницы или нож. Отыскав два камня, я

несколько раз ударил одним по другому, пока не образовался острый край, и как пилой разрезал шов, скреплявший маску с горжеткой. Теперь, когда я мог внимательно рассмотреть ее одеяние, меня поразило, как искусно оно было сшито.

— Ох уж эта немецкая дотошность! — воскликнула она с презрением и забросила свою птичью маску в кусты. — Ты не поверишь, сколько они трудятся над тем, чтобы каждая деталь сидела как влитая. Эти лесничие — настоящие психи, и самое нечеловеческое — что они совсем не видят человека в тебе. Они часами будут корпеть над тобой, вертеть тебя и так и сяк, лишь бы одеть ровно как нужно для твоей роли в их спектакле, и тем не менее чувствуется, что они ничего не понимают в девушках, да и вообще в людях.

На шее у нее была цепочка, на которой болталась бирка. Я перевернул ее, но на оборотной стороне не было имени владельца — лишь несколько букв и номер. Мои пальцы коснулись ее теплой, нежной шеи, и пока она говорила, я отметил про себя какую-то новую нерешительность и глубокую обиду в ее голосе; она все еще была ребенком, и ее грубо остановили в самом начале той дороги, которая должна была привести ее в страну любви, понимания и свободных человече-

ских взаимоотношений. Течение ее жизни было силой изменено и направлено в иное, тесное, искривленное русло. И несмотря ни на что, она сохранила потрясающее здравомыслие, душевное здоровье и неизуродованную душу. Каждую минуту я восхищался ее мужеством и спокойной дерзостью. Но что сильнее всего тронуло меня, что одновременно смирило и дало новую надежду и цель, — вероятно, ее невинность и свежесть в этом изуродованном мире. В лесу Хакельнберга она была тем прекрасным деревом, которое, несмотря на всю безумную изобретательность главного лесничего, неспособно изменить собственной природе.

Понимаешь, до этого момента я вынуждал себя сосредоточиться исключительно на проблеме побега; я не мог позволить себе задуматься над тем, что тяжким грузом давило на мою душу, — то есть о кошмарном мире рабов, который я, вероятно, обнаружу за пределами Хакельнберга. Теперь я знал, что правда, мужество и гордость, остатки старой славы и великолепия, которыми гордилось человечество, — все это по-прежнему существует. Мы должны выбраться из Хакельнберга. Мы спасемся, поклялся я, и найдем ее Друзей.

Я вертел в пальцах маленькую бирку, а девушка стояла, запрокинув голову и подняв подбородок, с тихим, доверчивым удивлением принимая мою ласку, нежное прикосновение моих пальцев к ее шее.

— Тут нет имени, — сказал я и понял, что она догадалась о моих чувствах к ней по моему голосу.

— Меня зовут Кристин Норт, — сказала она. — Но дома меня всегда звали просто Кит.

Да, мы знали друг друга так недолго — всего день, с утра до восхода луны, один долгий летний день. Самый долгий в моей жизни. Теперь мне кажется, что я никого не знал так хорошо, как Кит. Чувствую, что, если бы я начал рассказывать обо всем увиденном и принесшем мне радость в этот день, я бы никогда не закончил, даже если бы потратил остаток своей жизни на то, чтобы освободить память от груза воспоминаний. И все же в памяти моей до сих пор живет тот залитый солнцем густой лес. Мне кажется, что я могу вспомнить каждый изгиб травинки, форму каждого листика, каждую сосновую иголку, игру света и тени, каждого жучка и мотылька, которые попались мне на глаза в тот день. Я и сейчас чувствую сосновый дух, запах трав и земли. Слышу, как гудят насекомые в знойном воздухе. И

во всем этом присутствовало какое-то редкое качество, которое нельзя отнести ни к моей эпохе, ни к ее, — что-то похожее на волшебный свет, который освещает воспоминания о чудном летнем дне из нашего детства. Это яркость красок и блеск тех давно ушедших дней, тех лет, когда ты жил и играл, недосягаемый для печалей и забот, отдавая свое сердце и душу редкостным чудесам живой земли.

Мы бродили по Хакельнбергу, как двое влюбленных, вновь обретших друг друга в заколдованном лесу. Каждому из нас его прошлое виделось далеким и нереальным, словно злые чары, рассеянные лучами утреннего солнца. Ганс фон Хакельнберг казался великаном-людоедом из сказки: мы верили в него, но не всей душой, а лишь настолько, чтобы наше приключение стало еще восхитительнее. Мы смеялись и планировали наш побег так, будто все это было игрой.

Мы внушили себе, что завтрашний день не наступит никогда; мы были так счастливы, когда нашли радость друг в друге, когда дивились безграничности этой открытой нами страны, и восторг от познания открывшихся сердец был так сладок и необуздан, что нам казалось, души наши вмещают в себя весь реальный и значимый мир;

мы одни, бродя в изумительном летнем лесу, и были весь мир.

За целый день мы не увидели ни души, не услышали ни звука человеческой речи, ни собачьего лая. Столь полное уединение внушило нам такую уверенность в незыблемости настоящего, что мы медленно, беззаботно, рука об руку шли по травянистым просекам, играли на полянах и громко смеялись. Так мы провели долгие часы в разговорах, в ленивых прогулках без определенной цели, и все же во второй половине дня наши блуждания стали постепенно приближать нас к павильону Кранихфельс. Задержавшись, чтобы собрать чернику в вересковых лощинах, которые хорошо знала Кит, мы стояли по пояс в кустах и, лакомясь ягодами из ладоней, смеялись над перепачканными лицами друг друга.

Незадолго до заката мы подошли к известняковым скалам, нависавшим над ручьем, который наполнял маленький водоем у их подножья, забрались наверх и уселись на мягкий дерн, откуда сквозь густую листву можно было разглядеть часть узкой тропинки, ведущей к павильону Кранихфельс. Кит сказала, что до него оставалось не больше полумили. Вечерний воздух был неподвижен. Скалы блистали в закатных лучах, согревая

нас теплом, которым напоило их за день солнце.

— Ах, — после долгого молчания проронила Кит, — со всей их властью, если бы только они смогли сохранить такой чудный и спокойный лес для любви, для тебя и для меня и для всех других влюбленных, которые бродили бы здесь, пока молоды…

Мы тихо просидели там, пока не сгустились сумерки. Потом Кит начала выдергивать нитки из швов своей горжетки. Я нашел острый осколок камня и стал помогать ей распарывать швы и наконец освободил от остатков ее наряда. Девушки-рабыни, которые могли бы бездельничать в окрестностях Кранихфельса в теплые летние сумерки, должны быть обнаженными, сказала мне Кит: это был своего рода знак, по которому отличали раба — представителя низшей расы. Если только им не была предназначена роль в каком-то представлении, летом голая кожа служила им своего рода форменным одеянием. В неверном сумеречном свете любой егерь, случись ему увидеть Кит, заметит блестящую стальную цепочку на ее шее и примет ту за ошейник раба. Что же до возвращения ко мне в час, когда рабов уже обычно держат взаперти, тут Кит уповала на густую темноту под сенью деревьев.

Соскользнув со скалы, она искупалась в маленьком бассейне, смывая с кожи засохшую грязь. Я проводил ее немного по тропинке до тех пор, пока она не сказала, что дальше нельзя, и мы расстались. Мне же пришлось снова вернуться к скалам, назначенным местом нашей будущей встречи.

Все еще пребывая в странной уверенности, что ничего страшного с нами случиться не может, по-прежнему веря, что моя встреча с Кит разрушила чары свирепого злого волшебника, я не скрываясь шел по травянистому лугу за ручьем. Мне казалось, мы просто играем в некую игру, и это чувство было таким сильным, что я не мог тревожиться за Кит; меня просто переполняли нетерпение и жажда вновь увидеть ее, обнять и снова ощутить вкус ее губ. Дело, которое мы хотели исполнить сообща, казалось в сравнении с этим куда менее серьезным.

Сумерки сгустились, а я все бродил, прислушиваясь к тишине, горя желанием услышать тихий оклик, которым, как мы договорились, она предупредит меня о своем приближении. Начиналась ночная жизнь леса, полная все более знакомых мне звуков: приглушенный шепот, отдаленные вскрики и какое-то совсем близкое

шуршание. Я замер на опушке редкой березовой рощицы и весь обратился в слух; мне не было холодно, но между смутно белевшими стволами повисла, наподобие невидимой ткани, какая-то льнущая к телу прохлада. Я прошел еще немного и в мрачноватой тьме начал чувствовать себя диким оленем, осторожным, готовым в любую минуту сорваться с места — это чувство, не раз испытанное мной до встречи с Кит, вернулось в мое тело.

На пятачке земли, заросшем высокой травой (в темноте мне все же удалось разглядеть, что трава примята, как будто здесь лежали олени или крупный рогатый скот), я наступил на что-то странное — не ветку и не камень. Подняв этот предмет с земли, я скорее догадался, чем увидел, что это мокасин из оленьей кожи — в точности такой же, как у меня. Он был холодный и влажный, и, ощупав его, я понял, что подошва сносилась до дыр; казалось бы — старый башмак, брошенный в лесу, — и тем не менее сердце мое забилось от страха. Мне хотелось унестись со всех ног от этого пятачка затоптанной травы, но я заставил себя порыскать вокруг, почти вслепую пытаясь найти хоть что-нибудь, что подтвердило бы мою догадку. И нашел: клочья ткани, на ощупь и по запаху

совпадавшие с тем материалом, из которого был сшит мой собственный костюм — ворсистый наряд одного из фон-хакельнберговых осужденных преступников. Но волоски ворса на этих рваных клочьях слиплись, эта ткань сначала промокла, а потом затвердела и засохла. Когда я ощупывал их, моя память подсказала мне долгую ноту графского охотничьего рога, звучавшую так одиноко, таким окончательным приговором в темноте предрассветного часа. Я не рискнул искать новые доказательства — в этом не было необходимости. Слишком хорошо зная, что за вещество засохло на этих клочьях, я отбросил их в сторону, вытер пальцы, и без того сухие, о траву и вышел, спотыкаясь, из березовой рощи на открытое место.

Луна, которой оставалась всего ночь до полной фазы, поднялась над верхушками деревьев и выбелила наши скалы. Теперь я боялся света почти так же, как темноты в роще, и потому съежился в тени, отбрасываемой скалой, и снова и снова мыл руки в ручье, как будто, отмыв их, очищу сознание от страшной картины гибели француза.

Я больше не мог дожидаться возвращения Кит и пошел впотьмах по тропинке, укрытой плотным пологом из листвы, сквозь которую не мог пробиться лунный свет; в моей голове смутно

зрела идея предупредить Кит об опасности или умолить ее вернуться в Кранихфельс, снова стать рабыней и все стерпеть, лишь бы свирепые клыки не коснулись ее тела.

Продвигаясь очень медленно, ибо в кромешной темноте леса я боялся потерять тропинку и, кроме того, постоянно наталкивался на деревья, спустя какое-то время я снова увидел луну и мерцающий сквозь листву проблеск желтого света, должно быть, падающий из окна павильона. Я спрятался неподалеку, там, где мог следить за небольшим отрезком освещенной луной тропинки, и замер в ожидании.

Прошло много времени, и, не дождавшись шагов Кит, я все-таки начал успокаиваться оттого, что никаких других звуков тоже не услышал. Луна поднималась выше и выше, но по-прежнему взывал к ней лишь голос леса.

И тут до меня донеслось слабое позвякиванье. Хрустнула сухая ветка, и снова что-то металлическое стукнуло по металлу. Я тихо позвал Кит — и на ярко освещенном луной пятачке некий силуэт замер на секунду как вкопанный, а потом растворился во мраке. Я подошел к ней поближе, успокаивая тихим голосом, нашарил в темноте ее руку и почувствовал, что Кит во что-то одета:

эта мягкая ткань на ощупь напоминала шерсть хорошего качества, или бархатистый мех, или нечто, похожее на молескин. В тихом смехе Кит звучало радостное волнение, но она не стала ничего рассказывать, пока мы не добрались до наших скал. Прислонясь там к камню, часто и тяжело дыша, она вложила мне в руку остро наточенную лопатку и секач.

— На это ушло много времени, — сказала она. — Я забыла, где находится сарай с инструментами и не рискнула расхаживать по двору, пока не стемнело, а когда стемнело, все здания заперли. Но даже в темноте я знала, как пройти в *Ankleidezimmer* — это что-то вроде костюмерной, — где нас наряжают в наши маскарадные костюмы перед охотой. Чего там только нет. Дверь была заперта, но окно оставалось открытым. Я влезла в окно, нашла вот эту одежду, что на мне, а потом увидела открытую дверь в кладовку и там вот эти инструменты. Смотри, совсем новые! Но, увы, я ничего не нашла для тебя из одежды.

Она снова засмеялась и вообще была так довольна собой и тем, чего ей удалось добиться, что, хоть я и собирался рассказать ей о своей находке и умолять сдаться, сердце мое подвело

меня, и у меня не хватило духу. И только когда она склонилась над ручьем, чтобы напиться, и я увидел ее всю целиком в лунном свете, мне стало понятно, что во всех планах Ганса фон Хакельнберга относительно его рабов, в мельчайших подробностях их жизни прослеживается некая маниакальная логика и что из сетей его безумной идеи не уйдешь: одежда Кит представляла собой комбинезон, плотно облегающий тело и подчеркивающий его пропорции, вроде того, что танцоры носят на репетициях, и тем не менее он был сшит из ткани, не отличимой по дьявольской задумке от шкуры животного. И когда Кит стояла на четвереньках, низко опустив голову к воде, так что лица ее не было видно, а лунный свет мерцал на странной, лоснящейся темной шкуре, покрывающей ее тело с головы до ног, она была похожа на гладкошерстного гибкого зверя, выскользнувшего из темноты леса на водопой. На какую-то секунду она показалась мне совершенно чужой и незнакомой, и, потрясенный, я почувствовал, что колдовские сети снова опутали нас, и увидел как наяву злобную усмешку, игравшую на губах Ганса фон Хакельнберга, когда он положил конец нашему короткому празднику существования в человеческом, а не зверином обличье.

Я схватил ее и рывком поставил на ноги, вернув в нормальное положение, но, когда увидел, что моя резкость ее испугала, смог лишь нервно пробормотать, что ее костюм показался мне очень странным.

— Ну конечно, как же иначе, — ответила она спокойно и рассудительно. — Я довольно часто его видела, а ты нет. В таком костюме рабы ходят зимой: он охраняет от самого свирепого ветра и непроницаем для дождя и снега.

— Давай уйдем отсюда, — сказал я и, подобрав с земли инструменты, отправился в обход скал, подальше от открытого пространства и темной березовой рощи.

Пока еще не поздно, я должен был сказать ей, что мой план никуда не годится: нельзя, мол, рассчитывать, что фон Хакельнберг оставит нас в покое на те несколько недель, что займет рытье подкопа. Но я уже заразил ее своим энтузиазмом; не только словами как таковыми, а самим своим присутствием, своей нежностью я убедил ее, что побег возможен, осуществим, реален, потому что мы так сильно его жаждем. И к тому же она была так довольна собой, так гордилась ролью, которую уже сыграла, что у меня духу не хватило разрушить ее иллюзии.

Мы быстро шли по освещенным луной просекам, Кит все время говорила торопливо и тихо, предлагая для подкопа то одно место около заграждения, то другое, но я слушал ее вполуха. Мне надо было придумать другой план, а я не мог. Тайком от Кит я провел пальцем по острию лопаты; секач был куда удобнее, зато лопата — тяжелее. Я попросил Кит взять секач.

Мы направлялись в ту часть леса, про которую Кит говорила, что она максимально удалена от замка; там густо разросся подлесок, упавших деревьев никто не убирал, и егеря туда заглядывали редко. Кит укрылась там, когда на нее охотились, и отсиживалась там неделю, прячась от собак. Она выучилась отыскивать туда дорогу в темноте после того, как ночами ходила к столам с едой в менее укромных уголках леса. Насколько она помнила, кустарник и вересковые заросли подходили там довольно близко к ограждению. Удачное, судя по всему, место для нашей затеи; по ночам будем там копать, днем — прятаться, а чтобы добывать еду, Кит собиралась действовать по тому же плану, что и в Кранихфельсе, но на этот раз она отправится в бараки для рабов прямо в замке. Единственный способ посрамить немецкую дотошность, заявила Кит, — это сде-

лать что-то дерзко-абсурдное: немцы никогда не заподозрят, что ариец способен добровольно влезть в шкуру раба-недочеловека.

Вот так мы и шли: Кит — с верой и радостью, я — ломая голову в попытках изобрести какую-нибудь новую уловку, и пришли наконец на какую-то возвышенность, поросшую папоротником, густой высокой травой и редкими дубами. Ночь была очень тихая и совсем не холодная. Запыхавшаяся Кит оттянула ворот своего комбинезона.

— О господи! — воскликнула она. — Да я в этой шкуре сварюсь заживо. Если бы только…

Ее речь оборвалась на полуслове. Она схватила меня за руку, и при свете луны я увидел, что глаза ее расширены.

— Ты слышал? — прошептала она.

Да, я слышал. Наконец я услышал тот звук, которого ожидал с того самого момента, когда нашел остатки лохмотьев бедного француза. В тишине ночи далеко, но очень отчетливо протрубил рог. Звук его донесся через залитые лунным светом леса, веселый боевой призыв, и, прозвучи он ранним осенним утром, моя кровь радостно заструилась бы по жилам. Мы стояли, замерев, и все прислушивались к тишине даже после

того, как звук угас, не смея снова поднять глаза и взглянуть друг на друга. И он прозвучал опять, торжественно, ликующе, и на этот раз к нему добавился отрывистый, нетерпеливый лай собак, напавших на след.

Я схватил Кит за плечи:

— Ты должна вернуться! Назад, в Кранихфельс! Иди и сдайся. Граф сейчас охотится на меня. Одной тебе ничего не угрожает.

Я был неистов в своей настойчивости, но она не поддавалась на уговоры:

— Нет! Я тебя не оставлю. Я покажу, где можно спрятаться. Они мне ничего не сделают, даже если я буду с тобой. И лай этот я узнаю — эти псы не из свирепых, просто ищейки, не для травли. От них можно сбежать. Пошли! Ну же!

Звучало довольно убедительно — похоже, шанс у нас был. Так или иначе, единственная надежда на спасение состояла в том, чтобы добраться до знакомой Кит чащобы. И мы побежали по тропинке, ведущей сквозь редкую дубраву.

Вскоре я получил еще одно доказательство того, что мое прошлое не было галлюцинацией, поскольку оно снова предало меня в моем сегодняшнем, столь невероятном настоящем. Бег по пересеченной местности должен был даться

мне без особого труда, но я обнаружил, как и при побеге из Офлага XXIX Z, что два года плена, два года недоедания и недостатка физической активности отняли у меня силу и выносливость. Уже после первой мили я начал обливаться потом, я задыхался, и ноги мои были как две колоды. Я больше не уговаривал Кит меня бросить, и не только потому, что надо было поберечь дыхание: увы, без нее я ни за что не продержался бы на этой скорости. Горько было думать, что, даже спасаясь бегством от фон Хакельнберга, мы исполняли его волю. Ведь именно для этой цели и тренировали Кит: я представил себе, как он восхищается ее красивым, свободным бегом, ее легким дыханием и злобно скалится, гордясь творением своих рук.

Прошло некоторое время, прежде чем мы снова услышали звук рога, и теперь он был слабее. От собак мы оторвались, только местность вокруг была уже крайне неровная, эти тропинки напоминали скорее русла горных речушек, и здесь легко было упасть, растянуть связки и переломать ноги. Но мои оленьи мокасины и туфли Кит из мягкой кожи не давали нам поскользнуться, и, подстегиваемые страхом, мы смело перепрыгивали с камня на камень. Я подумал, что с холодного камня запах выветрится быстро, и потому где

можно было мы скатывались по широким скальным плитам, усеявшим склон долины. Нашим главным и самым верным союзником была вода, и Кит явно думала так же. Мы нырнули в высокую траву у подножья холма, среди редкой поросли берез и тополей, и я почувствовал, что земля под ногами пружинит и хлюпает. Вскоре мы оказались в травянистой трясине, погружаясь глубже и глубже, вот уже вода стала мне по грудь. И тут мы почувствовали под ногами относительно твердое дно и, отгребая руками, как веслами, форсировали небольшой пруд посреди трясины. И продолжали идти, пока не нашли питающий его ручей, а затем поднялись по его течению, спотыкаясь на камнях и проваливаясь в промоины, и постепенно взобрались вдоль русла по долине. Оно вывело нас к нагорному болоту, и там мы наконец отдохнули, присев на тряский сырой дерн.

— Они потеряют кучу времени на болоте, — выпалила Кит, ловя ртом воздух. — Им придется обойти его кругом, чтобы собаки снова взяли след. Пошли!

Но теперь она не могла сообразить, в какую сторону нам идти, и мы сами потеряли кучу времени, медленно продвигаясь по болотистой равнине, и то и дело останавливались, пытаясь

в лунном свете приглядеться к окружавшим нас низким лесистым холмам. Когда же мы выбрались на твердую землю и Кит заявила, что узнает это место, снова подали голос псы.

Мы продолжали путь, иногда трусцой, где это было возможно, а по большей части еле волочили ноги. Кит была совершенно вымотана. У нас не было сил говорить, и мы брели молча — рядом, но отделенные телесным дискомфортом, у каждого — своим, и прислушивались к вырывающемуся из груди сердцу, натруженным легким и свинцовым конечностям. Я продолжал тащить лопату, хотя она мне ужасно мешала, Кит же давно бросила свой секач. Я слишком устал, чтобы на это реагировать.

Тропинки больше не было. Мы вслепую продирались сквозь подлесок, такой густой, что местами вынуждены были ползти на четвереньках. Не знаю, сколько времени мы преодолевали этот кустарник; не знаю и того, как далеко нам удалось убежать, — все спуталось и перемешалось в моей голове: то, что мы делали сейчас, казалось, продолжается уже тысячу лет, а наше барахтанье в пруду было чем-то очень давним, когда мы еще были свежими и полными сил.

Я чуть не споткнулся о Кит. Она лежала непо-

движно и застонала при моем прикосновении.

— Не могу больше, — прошептала она.

Я лег рядом, сам слишком вымотанный, чтобы понуждать ее двигаться, и навострил уши. Из-за нашего тяжелого дыхания мне ничего не было слышно. Мы лежали до тех пор, пока не отдышались, но и тогда казалось, что тишину ничто не нарушает.

Надо было признать: сумасшедший охотник получил то, что ему было нужно, — лай его собак и звук его рога превратили нас в жалких испуганных животных, съежившихся от страха в подлеске, с безумной надеждой на избавление. Оставалось лишь уповать на то, что собаки нас не найдут, — бежать мы все равно больше не могли. Я снова проверил остроту лопаты и крепче сжал черенок. Хотя бы прикончу пару псов, прежде чем мне перегрызут горло. Но для боя не на жизнь, а на смерть место не очень подходило — толком не замахнешься. Густые ветви кустарника держали меня крепко; собака же могла проползти на брюхе и схватить меня, как хватает хорек крысу, засевшую в норе. Я попробовал уговорить Кит выползти на более открытое пространство.

— Здесь самый густой подлесок, — ответила она устало. — Ограда где-то неподалеку. Лучшее,

что мы можем сделать, — лежать здесь тихо. Им же больше радости, если выгонят нас на открытое место.

Я лежал до тех пор, пока ко мне не вернулись силы, но бездействие и молчаливое ожидание не для меня. Волоча за собой лопату, я начал пробираться вперед — хотелось посмотреть, где заканчиваются эти заросли.

Пару раз я потихоньку окликал Кит и, удаляясь от нее, слышал ее голос. Я не хотел уходить за пределы слышимости — боялся ее потерять. Спустя какое-то время кустарник поредел и я обнаружил, что могу идти прямо, не сгибаясь, раздвигая ветви плечами, хотя пока еще ничего не видел вокруг, кроме луны. Считая, что нахожусь не очень далеко от Кит, я буквально вывалился из кустов на вересковую пустошь. Мне пришлось сразу же спрятаться, упав на землю за невысокими кустами, потому что в трехстах-четырехстах ярдах сбоку от меня находилась сторожевая вышка. А впереди, всего в пятидесяти-шестидесяти ярдах, я увидел ограждение — ту самую слабо светящуюся стену, которая была видна в ту лунную ночь, хотя сейчас мне казалось, что я различаю более бледные линии проводов. Я пополз по краю кустарника налево — подальше от сторожевой

вышки, держась, как я предполагал, примерно на одном и том же расстоянии от того места, где оставил Кит.

Вскоре я заметил, что кустарник понемногу отступает от ограды, и передо мной предстало большое открытое пространство — широкая, хотя и неухоженная просека. Возможно, она предназначалась как противопожарная полоса — и вела прямо к ограде. Окажись мы всего на сто ярдов левее — и можно было бы добраться до нашего нынешнего убежища без мучительной битвы с подлеском; также отметив с тоской в сердце, что полоса кустарника в том месте, где мы укрылись, очень узкая, я сел и задумался, что же нам делать. Не успел я устроиться в высокой траве, как услышал где-то за спиной лай собак.

Теперь они были ужасающе близко, и я слишком хорошо знал эту уверенную, сильную ноту в их лае. Я напряг слух и услышал еще один звук — хруст сухих веток под ногами людей. Звонкое, радостное «Ату!» донеслось прямо из кустарника и было подхвачено вдали на просеке. Не рискнув окликнуть Кит, я начал ползком пробираться в ее сторону. Затем остановился, подумал и вернулся на просеку, опять спрятавшись в засохшей траве. Собаки шли по моему следу — в этом я был

уверен, поскольку на девушек-птиц тут по ночам не охотились. Кит это тоже знала. Я предположил, что она, конечно же, попытается уползти в сторону от нашего следа; ищейки не погонятся за новой добычей, когда мой запах так силен: они пробегут мимо нее, мой запах выведет их на открытое место, где они устремятся за мной в обход кустов. Крепко ухватив лопату, я стал ждать.

Снова раздался лай, и теперь мне казалось, что они миновали то место, где я оставил Кит. Мои планы изменились: я приподнялся, думая, что теперь, отдышавшись, могу побежать вдоль просеки, уводя собак от девушки. Но прежде чем я распрямился, на просеке раздался громкий шум: звонкая трель графского рога, властная, возбуждающая и повелительная, топот конских копыт и — кошмарно близко и пронзительно — поток искаженного человеческого лепета и безумного визга, уже дважды слышанный мною в Хакельнберге.

Ганс фон Хакельнберг скакал по длинной просеке в сопровождении всех своих «кошек», визжащих и жаждущих крови. Они приближались на огромной скорости, и, к своему ужасу, я понял, что не могу ни стоять, ни бежать. Я видел темные силуэты всадников, мчащихся галопом

сквозь высокую траву и вереск, а перед ними дюжину — нет, десятка два или даже больше — человеческих силуэтов, скорее прыгающих, чем бегущих, двигающихся длинными летящими скачками. Я видел, как чернеют на фоне залитого луной неба взлетающие вверх головы «пантер»; на фоне травы их выгнутые спины казались не черными, а коричневато-серыми, и конечности их отблескивали в молочно-белом свете. Ищейки лаяли у меня за спиной, там, где я недавно прошел у ограды, но я больше не обращал на них внимания. Я не мог оторвать глаз от этих существ, скачущих ко мне, и думать о чем-либо ином, кроме стального блеска когтей на их темных руках, тоже не мог. А потом я увидел среди них человека, в лунном свете казавшегося гигантом, — и поперек груди у него мерцало серебристое кольцо. Он еще раз протрубил в рог, громко и дерзко заявляя о своем праве на вожделенное кровопролитие. Я вытер ладони о ворсистые бриджи, медленно распрямился у густого куста и на пробу замахнулся лопатой.

И тут за спиной у Ганса фон Хакельнберга вдруг раздался громкий крик; сам же граф сдержал свою лошадь и резко протрубил в рог. Визг и бормотание «кошек» тут же слились в единый

хриплый вопль. Но увидели они не меня.

Отделившийся от кустарника темный силуэт пересекал залитое луной открытое пространство в нескольких ярдах от своры. Человек обернулся и побежал вдоль просеки прямо к ограде.

И «кошки» понеслись в погоню над вересковой пустошью. Визжанье стихло, но, когда они пролетели мимо, я услышал громкий всхлип, напоминающий один общий вдох, как будто каждый свирепый рот втянул в себя глоток воздуха, уже напитанного запахом крови. Черная фигура все еще вела их за собой. Она бежала так, как бегут, спасая свою жизнь, но прямо к бледно лучащейся стене, испускающей свет ярче лунного. Слишком поздно, подумал я, она уже не свернет. Еще не зная, что мне делать, не думая ни о Гансе фон Хакельнберге, ни о его «кошках», ни о его псах, я закричал и побежал за ней следом.

Фон Хакельнберг тоже понял, чего добивается Кит. Он поскакал за сворой, громовым голосом посылая проклятья, затем начал трубить в свой рог, отзывая «кошек» короткими резкими трелями. За графом неслась его свита, к звукам рога добавились громкие протяжные свистки.

Но «кошки» сосредоточились на своей жертве; они быстро догоняли ее, и я знал, что ничто их

не остановит. Я видел, как Кит бросилась на светящийся барьер, будто это была твердая стена, на которую можно взобраться, и выкрикнул ее имя, холодея от ужаса: та, кто своей нормальностью словно доказала и мое собственное здравомыслие, сейчас обезумела от страха. Но уже в следующий миг я понял, что это не так. Даже когда прыгнула на ограду, она выкрикивала мое имя. Я слышал ее, слышал, несмотря на крики, свистки и дуденье рога, я слышал, как она зовет меня, и в голосе ее звучало не безумие, а ужасная преданность: «Алан! Алан! Беги! Беги через ограду!»

А под нею, черными силуэтами на фоне слабого белесого свеченья, вся свора сбилась в кучу — переплетенные тела, контуры вздернутых рук. И сейчас я снова услышал их крики — короткие, отчаянные вопли и мучительные стоны. Тени всадников мельтешили между кустарником и оградой, свистки раздавались непрерывно, и столь же непрерывно трубил рог фон Хакельнберга, сигнал за сигналом.

Я продолжал двигаться в их сторону, пробираясь сквозь редкий кустарник по краю подлеска, и все время не сводил глаз с черной фигуры, замершей над судорожно дергающейся массой;

Кит лежала совершенно неподвижно, раскинув руки, как будто их поддерживал верхний ряд проволоки; голова ее упала, и ноги повисли. Она висела там, мертвая, как символ жертвенности и спасения. И когда я остановился по колено в траве и вереске, растущем у самой ограды, я увидел, что тело Кит объято слабым свечением, будто каждую ворсинку бархатной шкуры, облегавшей ее тело, тронула изморозь.

Мой мозг и мое сердце были так потрясены этим страшным ударом, что я забыл об опасности, которую она старалась увести от меня. Кажется, я, спотыкаясь, пошел к ней, уже не прячась, выкрикивая ее имя, когда вдруг ее голос, столь же реальный, как эхо, снова прозвучал у меня в ушах: «Алан! Беги!» — и тут я понял, почему она выбрала смерть, и вспомнил, как она рассказывала о похожем случае. Свечение ограды быстро угасло, прекратили надрываться свистки. И прежде чем луч прожектора ударил со сторожевой вышки, я увидел холодный блеск проволоки под луной, а за ней — вереск и березы, и черный массив соснового леса. Луч на секунду задержался на ограде, потом отыскал группу людей у проволоки и остановился на ней.

И тут мне стало совершенно ясно, что́ я должен

делать. Лесничие подъехали вплотную к ограде. Я слышал хлопанье их тяжелых кнутов, вой обезумевших от боли «кошек», их визг и стоны. Клубок из тел, рук и ног откатился от ограды и распался на дюжину «кошек», те крутились под копытами лошадей, ворчали, фыркали, визжали, пытались терзать своих раненых товарок, пока егеря с руганью разнимали их и кнутами отгоняли к опушке. И я побежал, уверенный, что все рядом ослеплены лучом прожектора, что псари придерживают своих ищеек, думая, будто их работа на сегодня закончена, и что часовые на вышке сосредоточены на том, что осталось от своры. Я пересек два ярда голой земли у забора, приподнял проволоку, проскользнул под ней и побежал, пригибаясь к земле, сквозь вересковые кустики туда, где лежало тело Кит.

Но прежде, чем я добежал, Ганс фон Хакельнберг и двое лесничих спешились. Они шли между черневшими тут и там на земле телами (одни лежали неподвижно, другие корчились в муках), и короткими сильными ударами своих кривых сабель двое парней успокаивали тех «кошек», что все еще были живы. А Ганс фон Хакельнберг шагал прямо к повисшему на ограде телу. Он сдернул его с проволоки своими лапищами и

вскинул над головой. Я был для него невидим, потому что стоял вне прожекторного луча, но теперь я шагнул вперед, и он увидел меня в полутени — между нами было с дюжину футов и хлипкая ограда.

Парни тоже увидели меня и вытянули клинки, как будто собираясь напасть, но фон Хакельнберг остановил их коротким криком. Он стоял, держа в руках обмякшее тело Кит в саване из пепельного бархата, мерцавшего в луче прожектора, затем медленно повернулся и взглянул на остатки скулившей своры, которую с трудом сдерживали конные егеря. Потом опомнился и снова посмотрел на меня. В ярком свете лицо его обернулось карикатурой гнева и жестокости, еще в большей степени лишенное всего человеческого, нежели создания его собственной злой фантазии, но я его больше не боялся. Мое внимание переключилось с его свирепой силы на жалкое мертвое тело у него в руках, и тут я впервые понял, что такая потеря вырывает с корнем из души все муки и страдания и превращает сердце в пустыню, куда никогда уже не вернутся страх и боль. Его гневный крик оставил меня равнодушным, и я понял смысл его слов уже после того, как он отвернулся.

— Ступай! — заревел он. — Сегодня ночью ты свободен. Ганс фон Хакельнберг милует тебя сегодня, чтобы вновь охотиться на тебя, когда взойдет другая луна!

Я не знал и не хотел знать, по каким законам его безумной садистской логики мне была дарована жизнь. Лесничие отступили и вложили сабли в ножны. Я должен был перелезть через ограду и встретить смерть от стальных когтей своры, но прожектор погас, проволока полыхнула по всей длине белым сиянием, и я увидел фон Хакельнберга с его страшной ношей сквозь этот странный экран — бесцветного, не отбрасывающего тени, лишенного материальности, столь же удаленного от меня, насколько я был удален от белой, холодной и спокойной луны. Его черный призрачный силуэт зашагал к призрачным «кошкам», и, снова вскинув мерцающее тело Кит, он швырнул его в гущу своры.

Не знаю, сколько я пролежал в вереске, уставившись на тонкую светящуюся стену. Должно быть, я смотрел на нее, не в силах ни думать, ни двигаться, еще долго после того, как за ней замерло последнее движение. Я ничего не слышал и ничего не видел. Моя память не запечатлела того, что произошло позднее в эту ночь или

много-много ночей спустя. Но тело до сих пор смутно помнит, как я встал и содрал с себя наряд из гардеробной фон Хакельнберга и как потом в трансе изможденияя брел по лесу, брел и брел до тех пор, пока лунный свет и тени не закачались у меня перед глазами, я ослеп, и земля улетела у меня из-под ног.



VIII

Кошка, тихо спавшая на коврике перед камином весь последний час рассказа Алана, проснулась, когда он замолчал, зевнула и вспрыгнула на подлокотник его кресла. Он поднялся, подпихнул в почти угасший огонь последнее недогоревшее бревно и передернулся от холода.

— Немецкая полиция почти не сомневалась, что я спятил, — сказал он, — когда они нашли меня, совершенно голого, бредущего вдоль железнодорожного полотна. Это было в маленьком местечке Крамерсдорф, кажется не очень далеко от Даммерштадта — той самой станции, к которой я первоначально направлялся. Меня продержали месяц в госпитале, а потом или решили, что я здоров, или им было все равно, но меня опять посадили в клетку — хотя и в другой лагерь. Это было в сентябре сорок третьего. И там я оставался до прихода русских в мае сорок пятого.

— Но где ты все-таки был, как тебе кажется, а?.. — начал я. — Ну то есть разве немецкая полиция не выясняла, что ты делал после побега из лагеря и до того, как тебя подобрали у железной дороги?

— Если они и узнали что-нибудь, мне ничего не сообщили.

Он долго молчал, а потом вздохнул:

— Ну да ладно, вот и все, что со мной произошло, пока я был не в себе. Как я уже сказал, если еще год пройдет спокойно и это состояние не вернется, я сделаю Элизабет предложение и, надеюсь, сумею забыть, что когда-то сошел с ума. Ты продержался и не уснул, а теперь ложись спать и забудь все, что услышал. Ни с кем больше я этим делиться не буду.

— Нет, — сказал я. — Ты должен рассказать об этом Элизабет. Она должна это узнать.

Он вышел, ничего не возразив, и я услышал, как он отодвигает щеколду у входной двери.

— Не знаю, — пробормотал он себе под нос. — Не знаю. — Он неожиданно выругался вполголоса. — Куда опять Сажа подевалась? С этими чертовыми кошками одни хлопоты.



Кальмахан[18]



Мистер Мейпл, господин пятидесяти лет, был упитан и розовощек; наметившаяся седина терялась в прозрачном белокуром венчике редких волос, а круглая плешь, как и щеки, сияла румян-

[18] Примечания: 18
Перевод Е. Романовой.

цем. На розовом лбу выделялись белесые брови, а под ними светлые, как у свиньи, ресницы, — словом, он вполне мог сойти за альбиноса, если бы не ярко-голубые глаза. Круглолицый, с маленьким ртом, двойным подбородком, свисающими брылями и жирной шеей, мистер Мейпл имел наружность весельчака, однако веселиться не привык. Говорил он сварливо, то и дело всплескивая руками от досады, и почти всегда недовольно хмурился.

Одним августовским утром мистер Мейпл, кончив завтракать, поднялся из-за стола и смахнул с жилета хлебные крошки. На часах было без пяти восемь. Мистеру Мейплу предстояло десять минут пройти пешком до автобусной остановки на Ибери-роуд, затем еще пятнадцать минут ехать на автобусе до Ибери, пять минут идти до вокзала, подождать две-три минуты на перроне и наконец сесть на поезд до Гулля, отбывающий ровно в 8:32, — таков был его неизменный утренний маршрут, который он составил еще шесть лет тому назад, когда купил участок в Уэст-Кларт-би и выстроил на нем усадьбу под названием Оквью. Порой, выходя в понедельник утром из дому или возвращаясь промозглыми зимними вечерами со службы, мистер Мейпл сокрушался,

что не купил землю подороже и поближе к Гуллю, однако с началом немецких бомбардировок эти мысли его покинули. Напротив, он уверился, что не иначе как Божье провидение заставило его тогда остановить выбор на Уэст-Клартби. Теперь, предаваясь философским изысканиям, каковые нередко приводят к отрадному осознанию взаимосвязанности всего сущего, он убеждался, что расчетливость и благоразумие, проявленные человеком в одной области, положительно отражаются на всем его существовании. Шесть лет тому назад мистер Мейпл тщательно взвесил целесообразность покупки земли в Уэст-Клартби, счел вложение выгодным — и вот, полюбуйтесь, теперь эти места объявлены Безопасной Зоной!

Немецкая авиация совершила уже два налета на Гулль. Дома многих знакомых мистера Мейпла, расположенные в ближних предместьях, в большей или меньшей степени пострадали от взрывов, а иные были разрушены полностью. Мистер Мейпл не знал, сколько еще простоит маслобойный завод компании «Дриллс и сыновья», где он работал директором. Его несказанно раздражало, что случай играет в этой войне столь важную роль.

Тем августовским утром он поцеловал на про-

щанье жену, сварливо пожелал доброго утра детям — Рут и Мартину и отправился на автобусную остановку.

Миссис Мейпл, вторая жена мистера Мейпла, была на пятнадцать лет его моложе. Черные с проседью волосы, разделенные посередине прямым пробором, она гладко зачесывала назад и закалывала четырьмя бакелитовыми гребнями. Сидя очень прямо за обеденным столом, она глянула поверх детских голов в окно — на лужайку, кусты, чахлые молодые дубки и невысокий, но все же закрывавший весь обзор лесистый холм, в подножье которого упирался их сад. Дети доели, и Рут от имени обоих попросила разрешения выйти из-за стола. Она была дочерью мистера Мейпла от первого брака; мать ее, вздорная особа, оборвала свою недолгую замужнюю жизнь, приняв смертельную дозу снотворного. Рут недавно исполнилось четырнадцать; Мартин, на несколько месяцев ее младше, приходился нынешней миссис Мейпл племянником. Нынешняя миссис Мейпл вышла замуж за мистера Мейпла с твердым намерением не пополнять это семейство и с биологической точки зрения сделала все возможное, чтобы от своего намерения не отступить. Однако по независящим от нее обстоятельствам

ей все же пришлось, пусть и временно, принять в лоно семьи другого ребенка. Отец Мартина, ее брат, был капитаном торгового судна. По распоряжению властей каждая семья, проживающая в сельской местности, должна была принять у себя дитя из числа эвакуированных. Миссис Мейпл, дабы не получить какого-нибудь сорванца из гулльских трущоб, посовещавшись с супругом, решила выбрать из двух зол меньшее и написала снохе, что готова приютить в Уэст-Клартби своего племянника.

Выждав для порядка несколько минут, дабы дети в очередной раз убедились, что их желания и интересы никого здесь не волнуют, миссис Мейпл позволила им выйти. Они встали и тихо направились к дверям.

— Имейте в виду, — сказала миссис Мейпл, — что выходить за пределы нашего сада вам запрещено. Не хочу потом выслушивать жалобы миссис Лидбиттер.

Рут замерла на пороге.

— Не припомню, чтобы она когда-нибудь на нас жаловалась, — произнесла девочка с легким вызовом в голосе.

Миссис Мейпл, даже не поглядев на детей, отчеканила:

— Молчать! Делайте, как вам велено. Мне лучше знать, что о вас думает миссис Лидбиттер.

Рут и Мартин медленно прошли по коридору, затем без слов миновали переднюю и через кухню выбрались на гравийную дорожку, пересекавшую заднюю лужайку, куда выходили окна столовой. Дети шагали, смиренно опустив головы; Рут сцепила ладони за спиной, а Мартин прятал руки в карманы: оба чувствовали на себе взыскательный взор стоявшей у окна миссис Мейпл. Друг на дружку они даже не глядели, покуда не оказались за изгородью из лавров и роз в дальнем конце лужайки, за которой прятался огород.

Утро было безоблачное. По небу с пугающим высоким ревом пронеслось три истребителя, но дети лишь проводили их безразличными взглядами за горизонт. С куда большим интересом они всматривались в густой и слегка запущенный сад, раскинувшийся на пологом спуске за молодой порослью боярышника, дуба и ясеня, которую садовник мистера Мейпла хотел выкорчевать, но не успел, потому что был призван в армию. Сад Мейплов имел форму вытянутого треугольника, основанием своим упиравшегося в дорогу, соединявшую Ибери с Уэст-Клартби, а

удлиненным тупым концом — в подножие холма. Эта узкая оконечность сада имела сейчас почти такой же первозданный вид, какой остальные владения имели шесть лет тому назад, когда их столь предусмотрительно выкупил мистер Мейпл. Вторжения садовника, нарезавшего со здешних кустов и деревьев опоры для фасоли и гороха, ничуть не вредили этим кущам: за лето они успевали выпустить новые зеленые побеги и зарасти бурьяном в человеческий рост. Вдоль дальней границы сада протекал заболоченный ручеек.

Со стороны Уэст-Клартби, то есть слева от того места, где стояли дети, обозревая раскинувшийся внизу сад, находились куда более обширные и дикие владения Лидбиттеров. Некогда два этих участка образовывали одно большое пастбище. Мистер Мейпл выкупил участок поменьше и поровнее; Лидбиттерам достались совсем уж непригодные для садоводства земли, если не считать длинного куска в пол акра вдоль дороги, где мистер Лидбиттер поставил кирпичный домик с островерхой крышей и разбил маленький сад, который возделывал без большого успеха и с еще меньшим энтузиазмом. Остальные угодья Лидбиттеров — от самого дома и до ручейка у

подножия холма — сплошь заросли терном, молодыми лиственными деревцами, шиповником, крапивой, высоким купырем, болиголовом и борщевиком. Генри Лидбиттер был учителем труда и рисования в гимназии; он женился на молодой, привлекательной и спокойной барышне, которая этим летом все свое время уделяла пухлому голубоглазому младенцу. Лидбиттер купил участок на собственные деньги, а на строительство дома взял ссуду в жилищно-строительном кооперативе — из тех оптимистичных соображений, что успеет полностью расплатиться с долгами к тому времени, когда наступит время оставить дом своему голубоглазому первенцу и небольшому числу его братьев и сестер, которые, возможно, еще придут в этот мир уменьшающихся пайков и возрастающих рисков. Иными словами, хотя формально владения Лидбиттера были обширнее, все же положение его было более шатким, чем у мистера Мейпла, которому Оквью принадлежал безраздельно — от подпола до колпака на печной трубе.

Лидбиттер с искренним восхищением, но без зависти наблюдал за работами по благоустройству, проводимыми мистером Мейплом: выравниванием и планированием, перекопкой, посадкой

деревьев, укладкой газона и всеми прочими мероприятиями, позволившими Оквью и спереди, и сзади обрести столь благообразный вид. У мистера Мейпла даже был личный садовник (по крайней мере, до войны). Однако Лидбиттер не завидовал соседу. Нет, выходя летними вечерами на задний двор и окидывая взором свои владения, он прекрасно понимал, как их следует обустроить. Здесь уже было все необходимое: свободное пространство, ритм, характер, заданные естественным расположением деревьев. Все это вместе создавало картину, которая радовала взгляд Лидбиттера несказанно больше, чем опрятная, но совершенно лишенная самобытности усадьба соседа. Пока сам он безмятежно дымил трубкой, взгляд его работал куда усерднее нанятого мистером Мейпла садовника: выкорчевывал терн, оставляя крепкие дубы и изящные ясени, скашивал крапивные заросли, устранял самые дремучие дебри из шиповника, ровнял бугры и кочки, а образовавшимися излишками грунта заваливал болота. Вот здесь будет яблоневый сад, а там — розарий на фоне сакур; отсюда и до самого ручья, который предстоит очистить от ила и лишнего тростника, непременно сохранив старую плакучую иву и два-три скопления берез,

раскинется широкая ровная лужайка. Следуя за извивами ручья, взгляд Лидбиттера подбирался к изюминке владений — заброшенной каменоломне, вырубленной прямо в склоне холма. Воды ручья стекали туда и образовывали глубокую запруду с каменными стенками и травянистыми бережками, вдобавок скрытую густой дубравой от любопытных глаз. Стоит лишь немного укрепить стенки ручья в том месте, где он впадает в каменоломню, и получится превосходная личная купальня, куда можно с разбега запрыгивать летними утрами, лихо промчавшись босиком по росистой травке.

От сих приятных «трудов» Лидбиттера неизменно отвлекала какая-нибудь просьба жены — скажем, проверить, нет ли случайно на грядке приличного кочанчика капусты к обеду, — и он с неохотой признавал, что на воплощение проекта потребуется много времени, денег и труда, а покамест их семья не располагает ни тем, ни другим, ни третьим. Лидбиттер не видел смысла посвящать уйму времени и сил поверхностным усовершенствованиям, ведь потом так или иначе придется все переделывать сообразно великому замыслу. Если уж браться за дело, то браться всерьез, рассуждал он. Приличных кочанчиков

на грядке обычно не оказывалось.

В то прекрасное утро блуждающий взгляд Рут остановился именно на владениях Лидбиттеров. Все облагороженные территории Оквью были обнесены аккуратной живой изгородью, но в дальнем конце еще сохранился старый проволочный забор, почти незаметный теперь среди буйных зарослей терновника, которому, как известно, границы не указ.

— Пойдем пока в теплицу, — предложила Рут, — там решим, что делать дальше.

Она повела Мартина за собой по огороду, резко свернула на поросшую травой тропинку меж увитых фасолью пергол и, нырнув под свод из переплетенных ветвей яблонь, высаженных с двух сторон от входа, очутилась в небольшой теплице. Задней стенкой та упиралась в изгородь из боярышника, отделявшую сад мистера Мейпла от пашни с противоположной от Лидбиттеров стороны.

Рут уселась на выступающий кирпичный цоколь фундамента и подняла взгляд на Мартина. Одеты они были почти одинаково: Рут в зеленом свитере и серой фланелевой юбке, Мартин в зеленом свитере и серых фланелевых шортах. Нескладная, с худыми коленками и костлявыми

руками, Рут очень напоминала с виду мальчишку, при этом она была худее и тоньше Мартина. Короткие каштановые волосы она расчесывала на косой пробор и закрепляла сбоку бакелитовой заколкой. У нее были серо-зеленые глаза, большие, внимательные и задумчивые.

— Что будем делать? — спросил Мартин. — Пойдем к ручью?

Рут мотнула головой:

— Я кое-что придумала.

Мартин без особого интереса поковырялся в пустых цветочных горшках, затем исследовал ближайшую грядку с ревенем и, осмотревшись по сторонам, отломил себе тонкий розовый стебелек. Зачистил его карманным ножиком и, сосредоточенно жуя, сказал:

— Уж не знаю, чем можно заняться в этом дурацком саду!

— Есть одна мысль, — сказала Рут. — Давай играть в дальние странствия.

— Опять? — переспросил Мартин с явным недовольством в голосе.

— Мы уже целую неделю в них не играли, — заметила Рут.

— Потому что это скучно! — заявил Мартин и тут же спохватился: — То есть в *этом* саду скучно,

а чтоб было весело, надо найти место поинтересней. К Силкстоуну пробраться, может. Но нам-то велено играть здесь.

— Ну, если тебе обязательно надо ей обо всем докладывать… — Рут пожала плечами.

— Мне?! — негодующе воскликнул Мартин. — Вот еще! Ничего я ей не скажу! Ладно, в странствия так в странствия. Куда отправишься?

Рут сощурила глаза и поглядела через сад на участок Лидбиттеров.

— На восток!

Мартин перебросил лист ревеня с длинными нитями розовой кожицы через изгородь на соседское поле. Рут встала, и они торжественно пожали друг другу руки.

— Когда встретимся? — спросил Мартин.

— Спустя несколько месяцев, брат, не меньше, — ответила Рут. — Когда каждый из нас завершит свое странствие, давай вернемся на этот постоялый двор и поведаем друг другу обо всех приключениях, что встретятся нам на пути. — Затем она все же сочла нужным внести в сценарий некоторую ясность: — Когда часы на церкви пробьют девять?

Мартин кивнул.

Рут вышла на узкую тропинку между пергол

с фасолью.

— В добрый путь, брат! — воскликнула она на прощанье. — Ступай с миром!

— И ты, брат! — отозвался Мартин.

Он повернул за теплицу и тотчас потерял Рут из виду: ее полностью скрыла пышная летняя листва. Мартин пробрался в заросший проход между теплицей и изгородью, подыскал там себе подходящую палку и выдвинулся в путь по длинному туннелю, образованному разросшейся живой изгородью с одной стороны и яблонями и высоким бурьяном — с другой. Изгородь принадлежала фермеру Силкстоуну, и стричь ее тоже должен был он, однако с началом войны многие стали пренебрегать подобными обязанностями. В конце концов, изгородь затеняла участок Мейплов, а не его пашню. Такая наглость со стороны соседа злила мистера Мейпла, однако поделать он ничего не мог: обрезкой раньше занимался садовник, которого недавно перевели под Мерса-Матрух, а самому мистеру Мейплу хватало ума и воображения не браться за столь рискованное дело. Хорошо зная земельный кодекс, он мог бы через суд обязать Силкстоуна постричь изгородь, но по нынешним тяжелым временам ссориться с фермерами было себе до-

роже.

Мартин, умело и ловко увертываясь от колючек, скрытно и незаметно, как ласка, двигался вдоль сада. Он пробрался через «джунгли» в дальнем конце и выскочил к ручью, не теряя надежды спугнуть водяную крысу, но в зарослях тростника было тихо, разве что шлепнулись в воду на берегу несколько лягушек. Одну он благополучно поймал, едва ли не по щиколотку утонув правой ногой в грязи, и поднял за заднюю лапку в воздух, откуда несчастное создание немигающим взглядом смотрело на Мартина, растопырив жалкие пальчики на передних лапах. На что-то же они должны быть годны, думал Мартин, очень уж многообещающая у них форма. Он кинул лягушку в ручей, и та, единожды сведя мощные лапы, мгновенно скрылась из виду. Перед мысленным взором Мартина уже наметились несколько размытые очертания лягушачьей упряжки, влекущей по водной глади изящный самодельный кораблик. Идея была не нова, однако провести эксперименты, необходимые для устранения разнообразных технических проблем, все не удавалось, поскольку игры в воде и у воды категорически не приветствовались.

Перемахнув через ручей, мальчик вспугнул

черного дрозда, несшего дозор в кустах, и тот моментально оповестил всех обитателей тихой лесной опушки о приближении врага. Мартин попрыгал с одного берега ручья на другой и обратно, прикидывая, куда отправиться дальше, а затем, увидев, что вымазал в грязи оба башмака, прекратил эти упражнения и медленно направился к узкой оконечности сада.

Там, у подножия четырехфутовой насыпи, стоял последний столбик проволочного забора. Мартин помедлил, затем в очередной раз заверил себя, что из дома его не видно, нырнул под проволоку, вскарабкался по насыпи и пролез сквозь дыру в корнях изгороди. Перед ним простирался пологий склон холма и небольшой — ярдов в пятьдесят — открытый участок: замшелые камни, жесткая трава и папоротники. Дальше шел пояс высокого бурьяна, а еще дальше виднелась опушка дубового леса, которым порос весь холм. У подножья лес просматривался насквозь, однако чем выше, тем гуще росли деревья.

Мартин осторожно двинулся вверх по склону. Нет, он не боялся, что его увидят, ведь деревья и изгородь в конце сада надежно скрывали его от строгого взора тети, даже если та сейчас смотрела в окно столовой. Причина его осторожности

заключалась в самой игре, ведь главная задача странника — увидеть и услышать как можно больше. Его усилия вскоре были вознаграждены: из бурьяна на тропинку выскочил молодой кролик. Завидев Мартина, он прыгнул обратно в траву. Мартин швырнул в него палкой, но промахнулся на несколько футов. Пару минут он еще пытался идти по следу кролика, а потом угодил в крапивные кущи и ретировался. Порыскал немного в бурьяне, держа палку наготове, но ничего интересного не нашел. Ну и ладно, встреча с кроликом уже стоила того, чтобы навлечь на себя тетушкин гнев. Если раньше на уме у Мартина были катапульты и луки со стрелами, теперь там завелась смутная идея о силках.

Среди бурьяна ему попались высокие заросли иван-чая. Мартин подошел к ним, сорвал несколько коричневых стручков, уже лопнувших и полных мягкого белого пуха. Он немного покатал комочек из этого пуха между пальцев. Поначалу он катал его просто так, без всякого умысла, но потом заметил, что из пуха получается толстая неровная нить. Тогда он стал припоминать другие растения: быть может, и хлопок растет похожим образом? Но эта нить гораздо мягче хлопка — по крайней мере, мягче

хлопковой нити. Мартин сорвал еще несколько стручков, сунул их в карман и двинулся к опушке дубравы. Там наверняка водятся кролики, рассуждал он, а еще белки, горностаи, а то и лисы. В лесу кого хочешь можно повстречать! С проворством краснокожего Мартин скользил меж деревьев, принимая все меры, чтобы не хрустеть сухими ветками, которых было не видно под вайями папоротников, но, сколько он ни осторожничал, никаких звериных шорохов он так и не услышал. Лишь один раз из кустов донесся едва различимый, быстро удаляющийся топоток, и Мартин решил, что с таким звуком вполне может удирать кролик.

Он нашел большой плоский валун и уселся на него обдумать дальнейший маршрут странствия. Мартин любил приносить с прогулок трофеи — доказательства своих приключений. Рут читала те же книжки, что и он, поэтому легко устанавливала источники любых его заимствований. Но сегодня он отправился в лес, нарушив тетушкин запрет, а это еще какое приключение! Почему бы не насобирать немного лесных сокровищ? Мартин спрыгнул с валуна и набрал полную пригоршню зеленых желудей с ближайшего дуба, чтобы предъявить их сестре в качестве

свидетельства своей храбрости. Тут до него дошло, что желуди растут и на дубах возле дома, поэтому он нарвал полный карман изящных папоротниковых завитков. Вскоре издали донесся бой церковных часов, и, подобрав с земли палку, Мартин поспешил назад.

Когда он пробирался через бурьян и заросли иван-чая, в траве мелькнуло что-то белое. Мартин постучал по неизвестному предмету палкой и с восторгом обнаружил, что это гладкий, отбеленный солнцем и дождем кроличий череп. Потрогал резцы: те шатались. Он осторожно извлек их из челюсти. Изогнутые корни зубов сияли на свету, точно миниатюрные слоновьи бивни. Сегодняшнее странствие постепенно обрастало у Мартина в голове захватывающими подробностями.

Перепрыгнув ручей и продравшись через джунгли в конце сада, он гордо зашагал по центральной дорожке через огород. Он вернулся первым и в ожидании Рут решил поискать в сухой гороховой ботве последние сморщенные стручки. Впрочем, уже очень скоро он приметил сестру, которая тоже возвращалась по центральной дорожке.

— Мир тебе, брат, — сказала она, приблизив-

шись.

— И тебе мир! — отозвался Мартин.

Они подошли к теплице и уселись на кирпичный цоколь.

— Как славно вернуться после долгих странствий на этот постоялый двор! — начала Рут. — Твой светлый лик — отрада очей моих, брат. Что повидал ты в своих странствиях? Поведай же мне скорей о приключениях, что выпали на твою долю.

И Мартин начал рассказ:

— Когда наши пути разошлись, брат, я первым делом заглянул к оружейнику и разжился там крепким копьем. Затем Тайной тропой двинулся к Джунглям, что растут по эту сторону реки Тихой, задумав стать лагерем на ее берегу и охотиться на мышепотамов. Добычу я намеревался освежевать, шкуры припрятать, чтобы забрать на обратном пути, а мясо закоптить и взять с собой в качестве провианта. Путь мне предстоял неблизкий, ведь я решил на сей раз перейти реку вброд и найти дорогу к Лесу на горе Дальней, о которой ты наверняка слыхала.

— О да, о ней ходит много легенд, — кивнула Рут.

— Итак, — продолжал Мартин, — долго я бро-

дил по берегам Тихой, но не встретил ни единого мышепотама, да и вообще никого не встретил. Сколько лет я промышляю охотой в тех краях и сколько всего повидал на своем веку, но не припомню, чтоб в джунглях было так мало дичи. Даже рыба не ловилась! Я вынужден был питаться травами, ягодами да кореньями, чтобы не помереть с голоду. Все это время я гадал, куда же подевалось зверье? Но в один прекрасный день я повстречал на болотах прыгля и изловил его.

— Кого-кого?

— Прыгля, — со знанием дела повторил Мартин. — Ты, верно, слыхал от странников, спускающихся по Тихой, байки о прыглях. Это такие дикари с зеленовато-коричневой кожей, что обитают на суше и в воде и умеют прыгать на огромные расстояния. В общем, я изловил одного и заставил рассказать мне, куда подевались все здешние звери и рыба. Выяснилось, что недавно по реке прошел большой охотничий отряд прыглей, и они истребили все живое на ее берегах. Моего пленника укусила змея, и остальные, решив, что он не жилец, бросили его умирать. Однако он знал травку, которая помогает от змеиных укусов, и у него с собой как раз было немного этой травки, так что он исцелился и поспешил за

остальными прыглями. Я обещал пощадить его, если он расскажет, что это за травка, и он рассказал. Поделиться со мной этой травкой он не мог, ибо к тому времени уже истратил все запасы, но зато он подробно описал мне ее приметы. Тогда я еще больше захотел попасть в чудесный Лес. Конечно, я сдержал свое обещание и отпустил прыгля, а потом перешел реку вброд и после долгого и утомительного странствия приблизился к скалам у подножия Дальней горы.

Когда я наконец перебрался через те скалы и пересек широкую саванну, то очутился в зарослях смертоносных жгун-деревьев, одно прикосновение к которым сулит верную смерть. На опушке тех зарослей я заметил в траве следы ралефитов. Взяв самый свежий след, я вскоре наткнулся на крупного самца ралефита, который медленно и тихо брел сквозь джунгли. Я пошел за ним и на самом краю зарослей жгун-деревьев одним броском копья сразил его насмерть. Я освежевал его тушу, взял бивни, а мясо накоптил в дорогу, ведь мне еще предстояло добраться до Леса. В джунглях мне попались высокие деревья с розовыми цветами. Я влез на одно из них и обнаружил на ветвях длинные стручки, полные белого пуха в сто раз мягче ваты. Бьюсь об заклад, что этот пух

можно спрясть, как хлопок, и получить ткань гораздо нежнее и тоньше хлопка. Я взял с собой немного пуха. Хочу теперь смастерить прялку и станок, наделать образцов и озолотиться. Конечно, сперва придется отправить к Дальней караван и привезти оттуда побольше тюков этого пуха.

Итак, я пересек джунгли и оказался в Лесу, где деревья так высоки, что не видно их верхушек, а внизу, под деревьями, растет та самая целебная травка от змеиных укусов. Я разбил в Лесу лагерь и опять охотился на ралефитов, но больше мне не посчастливилось убить ни одного зверя. В тех местах их водилось много, однако они обладали удивительным даром: мгновенно и бесследно исчезать. Поначалу я никак не мог взять в толк, как же они это делают, но однажды увидел: стоило ралефиту заметить, что я к нему подкрадываюсь, как он садился на задние лапы, откусывал завиток змеиной травки и тут же начинал стремительно уменьшаться. Съежившись до размеров кролика, он прыгал в кусты и, конечно, совершенно скрывался из виду. Так я понял, что у этой травки много разных свойств, поэтому насобирал ее побольше и принес тебе. Еще я принес найденные в Лесу плоды, но не

знаю, годятся ли они в пищу. Таково было мое странствие, брат, — подытожил Мартин.

Он стал показывать Рут свои трофеи.

— Вот, погляди. — Он протянул ей раскрытую ладонь, на которой лежали завитки папоротника и кроличьи зубы. — Это бивни ралефита, только уменьшенные, потому что я хранил их в одном мешке со змеиной травкой. Видно, сок ее попал на бивни, и они съежились. Возможно, все, на что попадает сок этой травки, уменьшается в размерах приблизительно в двадцать раз, при этом сохраняя форму.

Рут внимательно изучила трофеи Мартина.

— Ты странствовал не напрасно, брат мой, — сказала она. — Сколько ценных товаров и сокровищ ты принес! Я и прежде слыхал немало легенд и преданий о чудесах Леса у горы Дальней и в следующий раз охотно поеду с тобой, помогу тебе снарядить караван, и мы привезем домой много тюков той странной древесной шерсти, из которой можно ткать материю мягче шелка, и чудодейственной змеиной травки, что обладает множеством удивительных свойств. Да, я сказал, что поеду с тобой, но… боюсь, я солгал. В пути со мною приключилось такое, из-за чего я вынужден вновь отправиться на восток. Я дал клятву,

которую не могу нарушить.

— Так поведай же мне о своем странствии, брат, — сказал Мартин.

Рут прислонилась к стене теплицы, подтянула к себе коленки и обхватила их руками.

— Я побывал в далеком и доселе неизвестном нам краю, брат мой, — начала она свой рассказ. — Увы, в отличие от тебя, я не привез с собою ни чудесных плодов, ни мягких шелков, ни целебных трав. Из своих странствий я привез лишь воспоминание о прекрасном лике и одно-единственное слово.

Когда я покинул сей постоялый двор, путь мой сперва лежал через возделанные поля и светлые леса нашего родного края. Я поехал большой дорогой и, нигде не задерживаясь, вскоре достиг пограничья. Как тебе хорошо известно, брат, тот край вдоль границ заселенной части нашей страны таит множество опасностей. Потому я путешествовал незаметно, стараясь пробираться на юг малыми дорогами вдоль границы, покуда не покинул злачные пажити, плодородные поля и богатые селения нашей родины и не очутился на краю диких южных джунглей: смею предположить, тех самых джунглей, которых ты достиг Тайной тропой. Я ступил в них и целый день

шел в южном направлении, после чего еще день двигался на восток, покуда не пересек границу. По другую ее сторону джунгли тянутся еще очень долго, и я пробирался через них много дней, прежде чем оказался в тихом и славном краю зеленых лугов и тенистых рощиц, где жили добрые люди. На те несколько монет, что были у меня с собой, я купил у них съестного и продолжил свой путь. Каждый вечер, останавливаясь на ночлег, я расспрашивал местных о землях, ждавших меня впереди. Поначалу мне рассказывали о городах и селениях, до которых я должен был рано или поздно добраться, и давали советы, как это лучше сделать. Но наконец я попал в такую деревню, жители которой сказали: дальше никого нет. Земли восточнее и южнее нам незнакомы.

Однако, когда тем вечером я сидел в харчевне, несколько местных прознали, куда я держу путь, и пришли со мной поболтать. Они поведали мне о том, что узнали когда-то от своих бабушек и дедушек. В далекие времена через их деревню порой проходили путники из неизвестной страны, от которых селяне — а теперь и я — узнали о могучей реке на юго-востоке, о диких племенах, что кочуют по ее берегам, и о великих городах, обнесенных высокими крепостными стенами,

где стерегут свои несметные сокровища жестокие чужеземцы. Местные предупреждали меня, что путь мой будет полон опасностей, но я все же решил его продолжить, ибо мне, бедному страннику, незачем бояться воинов и грабителей.

Итак, я потратил остаток денег на провизию — галеты, изюм и сушеный инжир, сложил все это в заплечную торбу, взял в руки палку и пустился в путь.

Дорога моя заняла много недель, но я не стану подробно описывать все приключения, что со мною происходили. В конце концов я достиг берегов великой реки. Сейчас, брат мой, когда я припомнил, что она текла с запада на восток через Южный край, мне пришло в голову, что это может быть та самая река, которую в наших местах зовут Тихой! Мы с тобой не раз гадали, где у нашей Тихой исток и в какое море она впадает. Когда я закончу свой сказ, думаю, ты увидишь, брат, что я приблизился к разгадке одной из этих тайн.

В тех местах река Тихая гораздо шире, чем у нас. Русло ее петляет то по прериям, то по трясинам, пробираться через которые ой как непросто.

В конце одного такого тяжелого дня скитаний по болотистому краю я вышел на берег большого

озера. Вот уже несколько дней кряду дули лютые ветры. Хотя все это время я укрывался в лесах или густых зарослях болотного тростника, буря над моей головой так ярилась и ревела, что у меня кровь стыла в жилах. Когда я наконец вышел на открытый берег и зашагал по ровному песку, я увидел вокруг себя последствия той бури. Вдали еще бушевали свирепые мутно-серые волны, увенчанные гребнями белой пены, а по песку были разбросаны ветви деревьев, одетые листвой и усыпанные плодами. Видел я и мертвых птиц, застигнутых бурей; иные несчастные с переломанными крыльями еще трепыхались в предсмертных муках на песке.

Пройдя по берегу некоторое расстояние и присматривая себе местечко для ночлега, я вдруг наткнулся на человека: он забился под насыпь между песчаной прибрежной полосой и лесом. Он был средних лет, в добротном, даже роскошном платье, хотя и попорченном непогодой. Когда я приблизился к нему, он как раз выжимал воду из своей одежды, горестно стеная и проклиная судьбу. Я уже очень давно не встречал людей, однако моя радость не шла ни в какое сравнение с его безудержным ликованием. Завидев в этом богом забытом месте живого человека, он заво-

пил так, словно я был посланцем небес, тут же стал слезно выпрашивать у меня еду и умолять разжечь костер, чтобы он мог наконец просохнуть и согреться.

Костер я благополучно разжег, ибо у меня имелись при себе спички, а вокруг было много сухого валежника и выброшенных озером коряг. Я поделился с незнакомцем галетами и изюмом, а после еды попросил его поведать мне свою историю.

Он оказался купцом из Аквавильдира — возможно, ты слыхал о таком городе в стране наших соседей. По давно заведенному обычаю купец ежегодно спускался по реке на своем собственном корабле и вел торговлю с чужеземными городами на восточном берегу озера. Жестокие и воинственные жители тамошних городов скопили огромные богатства, совершая набеги на соседей. Сами они почти ничего не производят и готовы щедро платить золотом за товары из Аквавильдира, но, будучи людьми подозрительными и негостеприимными, они не пускают к себе кого попало. Разрешение на торговлю выдается лишь немногим, а остальных чужаков, обнаруженных на своих территориях, они либо убивают, либо продают на невольничьих рынках. Хотя путь сюда из Аквавильдира долог и труден, все же иметь

разрешение на торговлю в стране занджи, как называются те воинственные племена, весьма выгодно, ибо кукурузу, сухофрукты, масла, бобовые, шерсть и шкуры животных можно продать им в десять раз дороже, чем в Аквавильдире, а за такие ценные товары, как специи, шелка, фарфор, стекло и в особенности мечи и оружие, занджи готовы платить в двадцать и даже в тридцать раз больше.

В этом году Ран-Бартесто (так звали моего нового знакомца) по заведенному порядку набил трюм товарами, набрал команду из четырех-пяти товарищей и десятка слуг и отправился к землям занджи. Все шло хорошо, покуда они не оказались в водах большого озера — это самая коварная и опасная часть пути. Там они попали в ужасную бурю. Ветер сорвал мачту, свирепые волны обломали весла, вода захлестнула корабль, и тот пошел ко дну. Ран-Бартесто и его товарищи оказались в воде, и каждый в одиночку боролся за свою жизнь, как мог. Ему посчастливилось ухватиться за проплывавшую мимо доску, а что стало с остальными, он не знал. Всю ночь его носили волны, а к утру, когда буря стихла, он очутился на берегу.

«И вот я перед вами, — завершил он свой рас-

сказ. — Некогда владелец груженного ценными товарами судна, а теперь — жертва кораблекрушения, несчастный скиталец, вынужденный просить хлеба у незнакомца и обреченный на верную гибель — либо мучительную и долгую от голода, либо быструю, от копья местного воина, который сразит меня прежде, чем я успею предъявить спасительное разрешение…»

Я сказал ему, что путешествую не ради наживы, но ради знаний. Поскольку мне все-таки нужно пройти через земли занджи, я буду весьма признателен ему за компанию, и однажды, быть может, я смогу сполна отблагодарить его за доброту.

Купец задумался.

«Нетрудно догадаться, — произнес он, — какая участь ждет вас на этой земле, если занджи найдут вас одного. Да и мне вряд ли будет от вас много пользы, если они поймают нас вдвоем. С другой стороны, вы, несомненно, спасли мне жизнь, и, хотя судно мое теперь покоится на дне озера, я все еще располагаю вещью, которая позволит сохранить вам жизнь и свободу в краю занджи».

С этими словами он расстегнул ворот рубахи и продемонстрировал мне шнурок, а на нем — диск из слоновой кости с загадочным символом.

«Вот оно, мое разрешение — или паспорт, если хотите, — благодаря которому ни один занджи меня не тронет. Идемте вместе в их главный город, он недалеко. Там нам должны на время предоставить пищу и кров, пока мы с вами не придумаем, как добраться домой».

Его предложение показалось мне как нельзя более заманчивым. Решив так и поступить, мы затушили уголья нашего костра и легли спать, а на рассвете следующего дня отправились к городу занджи.

Как и говорил мой спутник, диск из слоновой кости позволил нам миновать дозорных занджи, которые очень скоро нас остановили. Не буду пускаться в долгие описание их облика, брат, ибо у меня есть план в следующий раз взять тебя с собой, если такова будет твоя воля. Скажу лишь, что внешность у них весьма отталкивающая, кожа темного черно-коричневого цвета, а лица и тела изуродованы шрамами. Они красят волосы и бороды в рыжий, любят тяжелые золотые украшения и всюду носят с собой копья с широкими штыками на конце, а также острые изогнутые мечи и щиты, обитые черно-белой бычьей шкурой. Поскольку своего скота они не держат, такие шкуры у них в большой цене, и купцы из Аква-

вильдира непременно привозят их на продажу.

Вечером того же дня мы приблизились к городу занджи. Он расположен на острове, окруженном болотами, и с озера суда подходят к нему по узкой протоке, которую занджи постоянно очищают от тростника и камыша. Со стороны болот подойти можно только по дощатым мосткам, узким, извилистым и охраняемым копьеносцами. Весь город обнесен частоколом невероятной высоты и прочности, а по обе стороны от единственных ворот стоят могучие башни. Воинов у ворот было видимо-невидимо, но Ран-Бартесто показал им диск из слоновой кости, и мы спокойно прошли в центр города, действительно очень богатого и многолюдного. Дома там строят из дерева, но они высокие, просторные и украшены искусной резьбой. Многие жилища имеют внутренние дворики с фонтанами и прохладными садами. Широкие улицы обсажены цветущими благоуханными деревьями и по большей части либо покрыты мягкой травой, либо замощены гладкими деревянными брусками. На улицах нет ни тяглового скота, ни каких-либо транспортных средств. Знать разъезжает в паланкинах, которые носят рабы. Все вещи таскают носильщики.

Поскольку путешественникам в город путь

заказан, там нет ни постоялых дворов, ни караван-сараев. Те немногие торговцы, которым разрешено посещать город, имеют обыкновение ночевать на борту своих судов за пределами городской стены. Ран-Бартесто, однако, направился к дому одного из главных городских вельмож и поведал ему о кораблекрушении. Меня он назвал своим партнером. Проявив предусмотрительность, он не стал признаваться, что остался ни с чем, и сказал, будто следом за ним идет еще одно торговое судно из Аквавильдира и половина груза на этом судне якобы принадлежит ему. Ран-Бартесто дал понять, что судно везет множество ценных подарков для вельможи, и после долгих разговоров тот согласился ненадолго выделить нам комнату, а также обеспечить нас пропитанием.

Ран-Бартесто в самом деле полагал, что рано или поздно в город прибудет какой-нибудь аквавильдирский корабль, и надеялся на этом корабле вернуться на родину. Тем временем он стал ходить по городу, посещать рынки и беседовать с богачами и торговцами, чтобы понять, как ему наилучшим образом поправить свое положение и что привезти в следующем году, дабы возместить понесенные убытки.

Гуляя по городу в обществе Ран-Бартесто, я повидал немало местных и понял, что один ни за что не вышел бы из этой страны живым. Открыто наводить справки о соседях было нельзя, ибо занджи считали все окрестные селения своей собственностью. Чужаков туда не пускали, грабить и разорять их разрешалось только занджи. Ни Ран-Бартесто, ни другие купцы никогда не бывали за пределами главного города, и никто не знает, по каким землям течет река Тихая после того, как покидает большое озеро. Тем не менее, осторожно расспросив рабов в том доме, где мы поселились, я узнал названия нескольких соседних племен. Например, найадино — миролюбивый и просвещенный народ, которых богатые занджи нанимают в свои дома писцами и краснодеревщиками. Еще неподалеку жили шонтуки, трудолюбивые и кряжистые крестьяне, и тап-таги, большие весельчаки и любители потанцевать. Кроме того, я узнал о неких барбарунах, те еще безобразнее и свирепее занджи, ходят на четвереньках и вооружены длинными клыками. Живут они в пещерах на высоких утесах у берегов Тихой. Занджи никогда не бывали на их землях.

Как-то раз я проснулся рано утром от барабанного боя, трубного рева и криков несметной

толпы. Когда я спросил, что происходит, мне ответили, что армия занджи вернулась из очередного военного похода — вернулась с победой, ценными трофеями и множеством пленных. В тот же день Ран-Бартесто предложил отправиться на невольничий рынок, где сегодня наверняка будут продавать новых рабов и соберутся все торговцы и богатые вельможи.

Итак, вскоре после полудня мы с ним отправились на рынок, который находится на одной из главных площадей города. Рынок представляет собой мощеную площадку, обнесенную высокой стеной. По всем четырем сторонам стоят клети с рабами. До начала торгов покупатели прохаживаются вдоль клетей и присматривают себе невольников. Посередине располагается дощатое возвышение, на котором стоит торговец. К нему по очереди подводят рабов, выставленных на продажу.

Мы с Ран-Бартесто прибыли незадолго до начала торгов, и мой спутник первые несколько минут выискивал в толпе знакомых торговцев и осматривал пленных. Их охраняли вооруженные копьями занджи, которые по просьбе вельмож или торговцев выводили рабов из клетей, чтобы будущие хозяева могли хорошенько их осмот-

реть. Толпа на площади все росла. Я устал, отошел в угол рынка, прислонился спиной к одной из клетей и принялся наблюдать за покупателями со стороны. Я не заметил, есть ли кто-то в клетке за моей спиной, но вскоре услыхал тихий голос.

Повернув голову, я увидел за отполированными деревянными прутьями согбенную фигуру, целиком покрытую длинным черным плащом. Тогда я глянул украдкой по сторонам и заметил, что копьеносцев поблизости нет и что внимание всех присутствующих приковано к начинающимся торгам.

Тогда я осмелился заговорить, ибо голос, доносившийся из-за решетки, показался мне ласковым и печальным. Тут из-под черного одеяния появилась маленькая ручка, которая на миг приподняла уголок покрывала, явив моему взору лицо, почти наполовину скрытое густыми локонами каштановых волос. Все дни моего долгого обратного пути на родину я раздумывал, как описать тебе этот лик, дорогой брат, и в конце концов отчаялся подобрать верные слова. Хотя незнакомка сидела, склонив голову, и лицо ее отчасти скрывалось за сияющей дымкой волос, все же оно было так прекрасно, что я на мгновенье ослеп. Рынок, клети, толчея — все кругом

померкло, я и думать забыл обо всех тяготах моего долгого странствия и обо всех опасностях, что подстерегали меня в землях занджи. Один лишь этот дивный лик стоял пред моими глазами. Я даже утратил дар речи. И тут, словно решив, что сердце мое уже покорено навек и что можно наконец пощадить мои глаза, она вновь накинула на лицо покрывало, и я смог выдавить из себя несколько слов:

«Кто вы и как сюда попали?»

Она заговорила вновь, так тихо, что мне пришлось прижаться щекой и ухом к решетке, чтобы разобрать ее слова:

«Я родом из Кальмаханского царства».

«Где это?» — спросил я.

«Очень далеко, — ответствовала она. — Это край, где кончается Река. О, юноша, — продолжала она, — я обратилась к тебе, потому что кожа у тебя того же цвета, что у меня, а я в таком отчаянии, что готова молить о помощи любого, кто не похож на этих лютых занджи! Выкупи меня сейчас, пока торговец еще не выставил меня всем на обозрение, и помоги вернуться домой! Семья моя богата и отплатит тебе сторицей, клянусь! И если тебе позволят средства, выкупи, пожалуйста, моих спутников, что сидят в соседних клетях, ше-

стерых юношей и пятерых девушек, — за каждого тебе дадут в сто раз больше, чем ты заплатишь торговцу».

«Увы! — воскликнул я. — Будь на то моя воля, я охотно выкупил бы и тебя, и твоих спутников и помог бы всем вам вернуться на родину, не прося ничего взамен, ибо давно уже сердце мое стремится в те края, где кончается великая река, и не будет мне отныне покоя, покуда не приду я в Кальмахан! Хотя отец мой богат, сам я беден. Я пришел сюда издалека с одним лишь посохом в руках, а все деньги давно потратил на пропитание. Путешествую я не ради наживы, но ради знаний. И все же ответь мне, как ты сюда попала? — повторил я свой вопрос. — Если я узнаю твою историю, то, возможно, смогу придумать какой-нибудь хитрый план для твоего освобождения, ибо я готов сделать все, что в моих силах, чтобы вызволить тебя из лап этих жестоких занджи!»

«Мой отец, — отвечала незнакомка, — гражданин Кальмахана. Это прекрасный, мирный, богатый край, и жизнь там полна всевозможных радостей. Он лежит за могучими каменными вратами, сквозь которые великая река впадает в широкое безмятежное море и тем завершает свой

путь. Вокруг этого моря и раскинулись веселые зеленые просторы Кальмахана, на его брегах стоят наши светозарные города. Трудно перечислить все чудеса, что есть в моей стране, и невозможно передать словами, как она прекрасна; но если сердце твое когда-нибудь сжималось от тоски по родным краям, которые ты покинул по собственной воле, то ты способен хотя бы отчасти понять мое горе. Дорогой юноша, там остались мои мать и отец, братья и сестры, и все они льют слезы по мне и по нашей прежней счастливой жизни.

Я сама навлекла на нас эту беду. В один прекрасный день мы с одиннадцатью моими сверстниками сели на корабль и отправились на долгую морскую прогулку. Мы пировали, пели, плясали, купались и загорали на белом песке, переплывая с одного острова на другой. Старших с нами не было, если не считать капитана нашего корабля. Он был единственный из нас, кто смыслил в мореплавании; он стоял у румпеля и говорил нам, что делать, а мы выполняли его указания. Веселый и добрый человек, он любил музыку и вино. Помню, как он услаждал наш слух игрой на лютне и такой песней:

Напевом легким воздух полн,

Луна целует кубок.
Для Кальмахана я рожден
И в Кальмахане буду!

В ту ночь мы веселились. Корабль бойко скользил по темным синим водам, а мы разложили на полуюте подушки и одеяла и вынесли фляги с вином; сладкие песни флейт, гитар и лютен оглашали воздух, и голоса наши чисто звенели в серебристой тьме. Мы играли, пели и пировали всю ночь, и в конце концов вино так ударило в голову нашему бедному капитану, что тот выронил из рук лютню, упал на подушки и захрапел. К румпелю встали наши юноши. Тут мы запоздало поняли, отчего наш парусник так резво бежал по волнам. Мы подошли слишком близко к каменным вратам, что отделяют наш залив от внешнего моря и весь Кальмахан — от внешнего мира. Мы угодили в то место, где под сводами огромной арки течение реки образует водоворот. Тщетно будили мы нашего капитана, тщетно пытались грести длинными тонкими веслами. Вместо розовой зари, пламенеющей над родными бирюзовыми водами, мы увидели в створе каменных ворот унылые зеленоватые проблески чужого рассвета над Морем Теней, куда вскоре

вынесло наш бедный маленький парусник.

Быть может, ваше небо и ваше солнце кажутся вам яркими, но здешний свет в сравнении с кальмаханским тускл и холоден. С бледными от ужаса лицами взирали мы на проплывающие мимо громады серых утесов и заглядывали в сумрачные морские глубины, где колыхались черные тени. Подул ледяной ветер; мы тряслись от холода в своих тонких шелковых платьях и жались друг к дружке у единственной мачты нашего парусника. Мы знали, что впереди нас ждет нечто ужасное, но пока не представляли, что именно.

Злой рок настиг нас прямо в черных водах. Кошмарные серо-зеленые люди шагнули из немотной тьмы на борт нашего парусника и схватили нас. То были совершенно нагие пучеглазые дикари с хладной серо-зеленой кожей, влажной и липкой, с цепкими пальцами и огромными ртами от уха до уха.

Мы сопротивлялись, но тщетно. Хладные были больше и сильнее нас и, кроме того, превосходили нас числом. Так много их карабкалось на палубу нашего парусника, что он закачался из стороны в сторону под их весом; еще больше хладных вытянули из воды свои длинные цепкие

руки, ухватились за борт, накренив парусник, и в конце концов перевернули его, а нас всех сбросили в черные воды. Потом нас изловили, связали и потащили на берег, наш милый парусник пошел ко дну, а вместе с ним и наш бедный пьяный капитан.

Хладные отвезли нас в самое сердце своих болот и держали там в плену неизвестно сколько дней. Голодные, озябшие и мокрые насквозь, мы лежали на мокром полу тростниковой хижины и слышали только собственные стенания и вздохи да кваканье хладных вокруг. Время от времени они вытаскивали нас на улицу и ощупывали своими ледяными пальцами, отчего мы пришли к выводу, что они собираются нас съесть. У них нет ни ножей, ни каких-либо иных орудий, и они не знали, что с нами делать, как нас убить, поэтому просто ждали, пока мы умрем сами и плоть наша размягчится, чтобы голыми руками разорвать ее на куски. Они содрали с нас всю одежду и жестоко выкручивали нам руки и ноги, но мы все не умирали, хотя и очень ослабли.

А потом нас вдруг вызволили из этого холодного плена, но, увы, мы попали в лапы еще более жестокого народа. Эти свирепые создания с песьими мордами и длинными белыми клыками

бегали на четырех конечностях, при этом всеми четырьмя орудовали, как руками. Они заметались по болоту, перебили столько хладных, сколько сумели изловить, тут же разорвали на части и сожрали. Нашу хижину они раскидали, а нас самих вытащили на улицу. Мы думали, что нас они тоже убьют и сожрут, как хладных, но вместо этого они связали нас по рукам веревками, свитыми из травы, и погнали прочь с болота, рыча и осыпая ударами. Много дней гнали они нас по дремучим лесам, а потом, когда мы уже с трудом ковыляли на разбитых и стертых в кровь ногах, впереди показались высокие скалы над широкой рекой. По ним нас то несли, то волокли, и в конце концов мы очутились в пещере на высокой скале.

У этих дикарей, которые тоже не носят другой одежды, кроме собственной густой короткой шерсти, все же имелись кое-какие орудия труда. Они умеют разводить огонь, у них есть ножи, деревянные блюда, миски и медные чашки для питья. Мы пытались заговорить с ними, но они только насмешливо ревели и щелкали зубами. Нам показалось, что они держали совет, пытаясь решить, как с нами обойтись. После нас вывели из пещеры и по одному спустили на веревке на

уступ высоко-высоко над рекой, откуда никак нельзя выбраться. Уступ стал нашей тюрьмой; никакой крыши над головой у нас не было. Раз в день нам спускали корзину с пищей и медную бутыль воды. Что ж, здесь нас по крайней мере кормили, пусть пища была почти несъедобна: склизкие куски сырого мяса, которое мы глотали, крепко зажмурившись, и неизвестные нам сырые коренья и травы. Мы могли бы положить конец своим мучениям, кинувшись с уступа в реку, но всегда среди нас находился человек, который подбадривал остальных, и мы принимали решение стойко сносить тяготы неволи. Тогда мы вспоминали слова наших кальмаханских учителей и убеждались, что никакое зло не властно над нами, покуда мы помним эти заклинания, наделяющие нас силой. Порой двое из парней даже пели нам песни Кальмахана, и мы, прослезившись, утешались.

Счет времени мы давно потеряли, но, думаю, прошло много недель. Однажды дикари спустились к нам по веревкам, схватили нас и опять потащили наверх, в свою пещеру. Тогда мы решили, что нас просто приберегали для какого-нибудь праздника, а теперь точно убьют и сожрут, но нет, нас выволокли из пещеры и дол-

гой, тяжелой дорогой среди скал повели в густой лес. Там, к нашей превеликой радости, мы увидели таких же людей, как мы, только с темной кожей, в странных одеждах и украшениях, но все же очень похожих на нас и телом и чертами. Мы радостно заголосили, а они прокричали в ответ, что не причинят нам зла. Потом несколько из них приблизились и стали переругиваться с дикарями, грозно рыча на свой лад. Тут мы заметили, что они привезли с собой много медных чашек, ножей и деревянных блюд, как те, что мы видели в пещере, и сразу поняли, что нас хотят выменять на эти вещи.

Так нас продали в рабство лесным людям и повели в становище, представлявшее собой несколько убогих соломенных лачуг под высокими деревьями. Всех нас держали в одной хижине, под постоянной охраной, но не могу сказать, чтобы с нами плохо обращались. Те лесные люди были по-своему веселы и даже пытались развеселить нас, стуча в барабаны и потешно танцуя на открытой площадке перед нашей хижиной. Дни они проводили в праздности и подолгу болтали с нами сквозь плетеные стены. Речь их была так странна и непохожа на нашу, что мы с трудом их понимали, но после звериного рыка хладных и

четвероногих любая разумная речь ласкала слух. Впрочем, мы так и не смогли выяснить у тап-тагов, как они себя называли, что они собираются с нами делать.

И вот настал день, когда тап-таги вывели нас из хижины и кое-как разъяснили, что ведут нас к своему королю. Они не связывали нас по рукам и ногам, однако окружили такой плотной стеной, что нельзя было и шага в сторону ступить. Путь до становища их короля занял один день. Когда мы прибыли на место, то увидели, что все племя собралось на некий большой праздник. Однако тап-таги танцуют по любому поводу: и на свадьбах, и на похоронах, и в дни радости, и в дни скорби. В тот день, как мы позже выяснили, они скорбели, и вот почему. Много лет тому назад в их земли вторглись ужасные чернокожие воители — да, эти самые занджи, — и с тех пор тап-таги вынуждены ежегодно выплачивать им живую дань, собирая рабов со всех своих селений. При всякой возможности тап-таги стараются похищать или покупать молодых людей и девушек у соседних племен, чтобы потом выдать их занджи вместо собственных сыновей и дочерей. Вот зачем они выкупили нас у четвероногих: чтобы отдать назавтра командиру войска занджи, которое вот-

вот должно было явиться за ежегодной данью.

Умолять их о пощаде было бесполезно. Что мы, нищие рабы, могли предложить им взамен? Может, они и жалели нас, но куда больше им было жаль своих детей, а ведь их они тоже должны были отдать, ибо в год занджи забирали по пятьдесят мальчиков и пятьдесят девочек. С нами тап-таги обращались как с собственными детьми, и в тот вечер они устроили для всех нас прощальный пир. Нагрели нам воды для купания, дали гребни и благовонные масла для волос, а мне и еще нескольким девушкам — вот эти покрывала, которыми мы укрылись с головы до ног.

На следующий день прибыло войско занджи; под завывания и скорбные пляски тап-тагов чернокожие копьеносцы согнали нас и остальных юношей и девушек в одно место и пристегнули железными ошейниками к длинной цепи. Затем с обеих сторон от нас выстроились воины, и мы отправились в путь. Мы шли по лесам, полям и безрадостным топям, и ни разу нас не спускали с цепи — вплоть до сегодняшнего утра, когда мы прибыли в этот город. Теперь же, впервые за многие месяцы страданий, что мы сносили вместе, одной большой семьей, нас хотят продать по одиночке разным людям и, быть может, раз-

лучить навеки!

Дорогой юноша, — молвила она, завершая свой рассказ, — я поведала тебе нашу историю. То, как внимательно ты ее выслушал и как ласково говорил со мною, доказывает, что ты в самом деле не торгаш и не сребролюбец, а пилигрим, ищущий знаний. Я верю, что помощь твоя будет бескорыстна, и не стану сулить тебе несметных богатств в награду за наше спасение. Однако я могу пообещать то, чего так жаждет твое сердце. Вызволи нас из плена, помоги найти корабль и вернуться в Кальмахан, и тогда мы возьмем тебя с собой, ты сможешь учиться у наших виднейших ученых, прочтешь множество книг о великих тайнах Вселенной и научишься творить подлинные чудеса!»

Пока я слушал рассказ незнакомки, сердце мое и сжималось от сочувствия к ее беде, и в то же время билось неистово от двух желаний: еще хотя бы раз увидеть ее прекрасный лик и во что бы то ни стало попасть в Кальмахан! Не успела она договорить, как в моей голове начал зреть план. Увидев, что я приумолк и задумался, она решила, что я не желаю ей помогать, и заплакала горше прежнего:

«Если ты не хочешь или не можешь выкупить

меня или одну из моих подруг, ибо все мы хороши собою и потому стоим немало, выкупи хотя бы одного юношу! Быть может, он не сумеет нам помочь, но хотя бы доберется до Кальмахана и поведает нашим отцам и матерям, что с нами случилось. А если путь домой окажется чересчур опасен и тяжел, все же свобода сладка: возьми его к себе на родину. Наши юноши — прекрасные мастера и умеют обращаться с деревом и металлом. Они научат твой народ изготовлять такие диковинки, какие тебе и не снились. Занджи о том не знают и не попросят много за наших юношей, ведь те тонко сложены и не годятся для тяжелой работы. Освободи одного из них, и он научит тебя грамоте Кальмахана!»

Я осмотрелся. Торги были в самом разгаре, но из-за большого числа пленных они продолжались бы еще долго. Я заметил, что Ран-Бартесто выбрался из толпы и озирается по сторонам, разыскивая меня.

«Слушайте, — обратился я к незнакомке. — Хоть сам я и бедный странник, отец мой — богатый человек. Он знает счет деньгам, и все же, думаю, я смогу выпросить у него в долг некую сумму — якобы с тем, чтобы вложить ее в выгодное предприятие. У меня есть брат — умелый море-

ход, искатель приключений и охотник. Он умеет находить дорогу в самом дремучем лесу и не боится ни зверей, ни дикарей. Я мог бы вернуться домой и упросить брата снарядить корабль. Тогда мы вернемся сюда, вызволим вас и всех ваших друзей и вместе отправимся в Кальмахан!»

Она вздохнула:

«Ах, если бы! Увы, сейчас нас может спасти лишь звонкая монета, что ляжет на стол этому торговцу».

«Я здесь не один, — сказал я. — Со мной человек, который ради денег пойдет на что угодно».

Тут ко мне подошел Ран-Бартесто, я отвел его в сторонку и в нескольких словах обрисовал ему свой план.

«Я не только обязуюсь найти вам корабль для возвращения в Аквавильдир, но и помогу провернуть выгодное дело, которое принесет вам прибыль в стократном размере! Нужно лишь раздобыть немного денег…»

Ран-Бартесто внимательно меня выслушал и, потирая подбородок, сказал:

«Конечно, вы ничем не можете подкрепить свои обещания, однако купец, вынося суждение о человеке, подчас вынужден всецело полагаться на чутье, и мое чутье подсказывает, что

вам можно доверять. Я не сомневаюсь, что вы исполните все обещанное, и готов заключить с вами соглашение, которое мы оба сейчас же скрепим подписями. Деньги я раздобуду, насчет этого можете не беспокоиться. Минуту назад мне доложили, что в город прибыло судно с ценным грузом, принадлежащее одному моему аквавильдирскому знакомому. Этот купец охотно ссудит мне деньги, и тогда мы выкупим ваших невольников и увезем в Аквавильдир, где они дождутся, пока вы снарядите новый корабль. Затем, если судьба будет нам благоволить, мы отправимся в эту вашу чудесную страну на другом конце реки и получим за них в сто раз больше, чем заплатим сейчас. О! — воскликнул Ран-Бартесто. — Скорей бы благополучно завершить это путешествие! Тогда я наконец смогу отдохнуть от странствий и на склоне лет пожить в кругу семьи, в родном Аквавильдире, в доме с красивым садом на берегу реки…»

Его согласие и новости о прибытии другого торгового корабля вызвали в моей душе великую радость. Я попросил его не терять более ни минуты и поскорей выкупить двенадцать невольников у торговца, пока тот не показал их остальным покупателям. Тогда Ран-Бартесто отправился к

королевскому казначею, который ведает в городе всей торговлей — в том числе и людьми, — и после долгих переговоров двенадцать юношей и девушек перешли в собственность Ран-Бартесто. Затем, опасаясь какого-нибудь коварства со стороны вероломных занджи, мы поспешно увели невольников в черных покрывалах на борт аквавильдирского корабля. Там при свидетеле — том самом купце — мы подписали соглашение, и Ран-Бартесто дал купцу расписку, что обязуется выплатить ему долг чистым золотом, как только получит вознаграждение за пленных. В свою очередь купец обязался предоставить двенадцати юношам и девушкам одежду, пищу и каюту на борту своего судна.

Они удалились в эту каюту, и больше я их не видел вплоть до своего отъезда из города занджи, хотя порой слышал их тихое пение.

Тут следует пояснить, что суда допущенных в город занджи купцов обычно проводят в порту месяц-другой. Я решил не терять столько времени и отправиться домой в одиночку, поскольку сердце мое горело от желания поскорей приступить к исполнению задуманного. Дождавшись наступления ночи и препоручив Ран-Бартесто заботу о кальмаханцах, я выпросил у кока немного

съестного в дорогу, закинул за спину свою торбу, вновь взял в руки посох и спустился в лодку, на которой один из матросов обещал отвезти меня вверх по реке туда, где дороги уже не охраняют дозорные занджи.

Перед тем как мы отчалили, кто-то тихо окликнул меня по имени. В тусклом лунном свете видно было лишь серебристо-серые очертания корабля на фоне иссиня-черного неба. Я поднял взгляд и увидел перегнувшуюся через борт тень; бледная рука отвела уголок этой тени в сторону и явила мне овальный лик, на котором так ярко блеснули, поймав лунный луч, прекрасные глаза, что их свет на миг разогнал тьму между нами.

«До встречи, друг мой», — прошептала она.

«До встречи! — ответил я. — Прошу, окажи мне на прощанье одну милость: назови свое имя!»

«Я не могу назвать своего имени, — молвила она, — но я скажу одно слово. Оно поможет тебе меня найти, если ты произнесешь его так, как это сделаю я».

Затем, подавшись чуть ближе, она не то выдохнула, не то пропела чарующим голосом одно-единственное слово, странное и мелодичное, которое с тех пор звенит в моем сердце. И тотчас тень вновь затянула бледный овал лица,

и сияющие лунным светом очи исчезли, а темная фигура скрылась в синем сумраке. Матрос взялся за весла, и я сел, повернувшись спиной к городу занджи.

Вот так, брат мой, преодолев долгий путь, полный опасностей и приключений, рассказами о коих я не буду тебя утомлять, я вернулся на этот постоялый двор, как мы с тобой и договаривались. Таково было мое странствие.

Глаза Мартина восхищенно вспыхнули.

— Вот это да! — воскликнул он. — Ей-богу, это лучшая из твоих историй! И как ты только все это выдумываешь?..

Рут вытянула перед собой ноги и посмотрела на сад.

— Не *все* здесь выдумано, — произнесла она и, пройдя по центральной дорожке, замерла, прислушиваясь к тишине в доме.

Рут знала, что ее могут в любой момент позвать и попросить о помощи по дому, однако полная тишина свидетельствовала о том, что резиновый «часик после завтрака», который миссис Мейпл любила проводить за чтением детективных романов, еще не закончился. Рут вернулась к Мартину.

— Как тебе мой план? — спросила она.

— План? — заморгал Мартин. — Ты, что ли, задумала добраться до конца ручья? До заброшенной каменоломни? — Он с сомнением поглядел на нее.

— Ты же можешь смастерить нам кораблик?

Мартин задумался:

— Кораблик!.. Ну да, я мог бы смастерить кораблик, будь у меня инструменты. Я раньше уже мастерил корабли, у меня дома есть два или три, жаль, с собой не захватил. Только тетя нам все равно не велит запускать кораблики, ты же знаешь. Что толку строить корабль, если нельзя его запустить? А вообще-то, было бы здорово… — Он увидел открывающиеся возможности и с энтузиазмом ухватился за идею. — Мы стали бы играть, как будто мы взаправдашние купцы! Как будто мы спустили корабль на воду в нашей стране, а потом снарядили караван в Лес и набрали там много-много древесной шерсти и бивней ралефитов, и поплыли со всем этим добром в Аквавильдир, посадили на борт тех юношей и девушек и уговорили того купца снова поехать с нами в город занджи, а потом продали там все наши товары и поплыли дальше по реке, и сражались с барбарунами и хладными… Слышишь, а ведь это я тебя надоумил своим рассказом про

прыглей, да? Ну, была ни была, давай строить корабль! Отлично поиграем!

— Да, — важно проговорила Рут, — давай строить. Только пусть это будет наш с тобой секрет. Сколько тебе понадобится времени?

— Ну даже не знаю. Смотря какие инструменты и материалы удастся раздобыть. Может, на этой неделе управлюсь.

— Обещаешь?

Мартин наморщил нос.

— Незачем обещать. Сказал — значит, сделаю.

— Нет, пообещай! — упорствовала Рут.

— Вот что: если назовешь мне то заветное слово, которое сказала тебе кальмаханка, так и быть, пообещаю смастерить кораблик.

Рут вздернула подбородок и, поглядев на небо, медленно покачала головой:

— Никто не должен его знать.

— Да ладно тебе, — упрямо добивался своего Мартин. — Так будет честно, раз уж я мастерю корабль. И вообще, ты сама сказала, я должен поехать с тобой, потому что я мореплаватель и охотник. Вдруг нас разлучат? Тогда мы сможем отыскать друг друга по этому слову. Такой у нас будет пароль. Валяй, говори! Так же интереснее!

Рут помедлила. Она притянула к себе ябло-

невую ветвь и принялась сгибать и разгибать пальцами один листок.

— Я очень хочу сказать, — медленно проговорила она, — но не могу. Я поклялась, что произнесу это слово только в случае самой крайней необходимости.

Рут вдруг обратила на него умоляющий взгляд.

— Ох, просто смастери корабль, Мартин, и отправимся в Аквавильдир! Может, там она сама скажет тебе заветное слово!

Мартин засмеялся:

— Ну ладно, ладно. Кораблик я и так смастерил бы, подумаешь, тетя не велит! И кстати…

Тут его прервал донесшийся из дома пронзительный тетушкин зов, и Рут, вздрогнув, нырнула под яблоневые ветви. Мартин услышал ее испуганное «уже иду!» и быстрые шаги по дорожке к дому.

Идея о кораблике росла в голове у Мартина быстрее, чем бобовый стебель в сказке про Джека, и за несколько дней успела вытеснить все остальные мысли — даже о самой игре, для которой оный кораблик предназначался. Он стал самоцелью. Не желая тратить время на поиски подходящих материалов, Мартин сразу отправился в угольный сарай, где в углу были свалены

обрезки досок и толстые деревянные бруски, оставшиеся от списанных железнодорожных вагонов. Ржавым топориком, лежавшим рядом, Мартин расколол один из таких брусков и получил неотесанную деревяшку подходящего размера и формы.

В углу гаража, он знал, стоит ящик с инструментами, гвоздями, шайбами и прочими столярными мелочами. Сам-то дядя, пожалуй, никогда в жизни не держал в руках плотницких инструментов, да и вообще в Оквью изготовление чего-либо своими руками приравнивалось к наведению беспорядка и категорически не приветствовалось. Мартин, однако, решил обойти запрет. Дождавшись удобного случая, он незаметно проскочил в гараж через незапертый черный ход, лихорадочно перерыл ящик в поисках подходящего инструмента, извлек оттуда старую ржавую стамеску и молоток и отнес их вместе с деревяшкой в сад, за теплицу, где почти наверняка никто не потревожил бы его за работой. На всякий случай Мартин все же придумал себе оправдание. Если тетя застанет его врасплох и спросит, что он мастерит, он соврет, что это фюзеляж бомбардировщика.

Мартин с нетерпением взялся за дело, однако

орудия его были грубы, как у древних африканских племен, и позы ему подчас приходилось принимать соответствующие. Он вставал коленями на голую землю, припирал кусок волокнистой древесины к стене теплицы и пытался обстругивать ее тупой стамеской. Конечно, он знал, что для таких целей следует использовать верстак и тиски. Дома, в Гулле, у него был прекрасный набор инструментов, однако его матушку едва не хватил удар, когда он заикнулся, что хочет взять их с собой в Уэст-Клартби. Пришлось отказаться от этой затеи. Никчемность имеющегося инструмента выводила Мартина из себя, но, поскольку он ясно представлял себе цель и имел какой-никакой опыт в плотницком деле, упорство и трудолюбие все же позволили ему совладать и с материалом, и с инструментами.

Получилось не бог весть что, он и сам это видел: эдакое выдолбленное из деревяшки примитивное каноэ с квадратной кормой и треугольным носом. И все же кораблик держался на воде, и Рут его похвалила. У себя в комнате она тайком сшила для него маленький косой парус.

Им несказанно повезло: в день спуска кораблика на воду миссис Мейпл уехала на весь день в Ибери. Едва дождавшись, когда тетушка

скроется за поворотом дороги, под звон ее многочисленных «нельзя», все еще стоявший в ушах, дети бегом припустили к ручью.

Исследование берегов реки Тихой на собственном участке заняло у них бóльшую часть дня. На полной достоверности настоял Мартин: Рут готова была просто взять кораблик в руки, обогнуть заросли терновника и перелезть через проволочный забор на участок Лидбиттеров. Идея об открытии нового торгового пути из Леса у горы Дальней полностью захватила воображение Мартина. Он настаивал на том, чтобы нанести на карту каждый фут водного пути и тщательно промерить его глубину, чтобы соорудить пирс в том месте, где караван должен был спуститься с горы, и углубить фарватер, а также укрепить берега в заболоченных местах и выстроить пару фортов для устрашения прыглей. Еще он придумал, что они с Рут должны понарошку уменьшиться, дабы соответствовать размеру кораблика, и все препятствия преодолевать с помощью средств, доступных существам такого роста. Зато именно Рут догадалась, что тут им как нельзя кстати пригодится змеиная травка: они съедят ее, уменьшатся и сядут на борт своего корабля.

— Ну да, ну да, — сказал Мартин, увлеченно

толкая кораблик по мелководью. — Правильно. Только я ведь совсем забыл: прыгль говорил мне, что волшебными свойствами обладает один завиток из мильона, и с виду его нипочем не отличить от обычных. Только пробовать. Я и сам тогда случайно нашел волшебный, положив его рядом с бивнем ралефита.

Взяв за основу маршруты двух ранее придуманных странствий, дети на ходу усложняли и дорабатывали историю освоения берегов реки Тихой. Она становилась все затейливей, обрастала новыми подробностями и ответвлениями, однако при всей своей запутанности по-прежнему была лишь прологом к основным событиям, и Рут ни на минуту не забывала о заветной развязке. Мартин набросал план строительства укрепленного порта, за частоколом которого их кораблю будут не страшны набеги воинственных прыглей.

— Как тебе такая идея? — спросил он.

— Нравится, но поскорей бы уже в Кальмахан, — ответила Рут.

От мыслей о целости и сухости башмаков Мартин был так же далек, как Кальмахан в их воображении — от горы Дальней. Отважно торя себя путь к Границе по зеленому туннелю над ручьем, Мартин порвал свитер, встретил пры-

глей и тут же устрашающим криком обратил их в бегство, после чего задумался, не оснастить ли корабль пушками.

В разгаре дня, преодолев границу и спустившись по неразведанному открытому участку водного пути, они заметили впереди город, и Рут ликующе закричала:

— Аквавильдир!

В самой нижней части земель Лидбиттеров, в ярде или двух от берега ручья стоял в зарослях терновника старый каменный сарайчик. Давным-давно — в те времена, когда в Уэст-Клартби еще добывали камень, — его, вероятно, построили для хранения инструментов, используемых на каменоломне. У сарая не было двери, единственное окошко давно лишилось стекла, зато черепица почти вся уцелела. У входа была ровная площадка, поросшая зеленой травкой, а берег ручья в том месте образовывал небольшую бухту, где, несомненно, множество раз швартовал свой злополучный корабль Ран-Бартесто.

Увы, в тот день они не повстречали купца, отдыхавшего в своем саду на берегу реки Тихой, ибо далекий зов из Оквью вынудил их обоих спешно вернуться домой. Впопыхах они пренебрегли правилами игры и спрятали свой кораблик в дверях

каменного сарая. Затем они пробрались сквозь заросли терновника и боярышника, скользнули под проволочный забор и вернулись в свой сад, придумывая на ходу правдоподобнейшие объяснения всем приметам, по которым тетушка могла бы установить, чем они сегодня занимались.

Быть может, в душе дети и понимали, что не смогут долго играть с корабликом. Однако они так увлеклись игрой, что совершенно не подумали о мерах предосторожности, какие непременно приняли бы, взбреди им в голову нарушить закон в ходе иной игры-однодневки. Когда на следующий день после обеда они поспешили к Аквавильдиру, все помыслы их были лишь о его многолюдных набережных, прекрасных каменных домах, улицах, купеческих и постоялых дворах, тенистых садиках, а также о воссоединении с кальмаханцами и исполнении данной клятвы. Оквью будто и не существовало на свете.

Их планы разрушил друг. Миссис Лидбиттер, прогуливаясь перед чаем по запущенной части своего сада, увидела у ручья детей и решила понаблюдать за их игрой. Она восхитилась корабликом и с интересом прослушала рассказы о великих географических открытиях и исследовании берегов реки Тихой, всерьез задумалась

о перспективах торговли древесной шерстью и с восторгом узнала о древнейшей и богатейшей аквавильдирской цивилизации.

Позже она ненароком, как это обычно бывает у взрослых, поделилась своими впечатлениями с миссис Мейпл, которую заметила возле живой изгороди. Детская фантазия поистине безгранична, сказала она.

Вечером, уже в присутствии мистера Мейпла, который совершенно не понимал, что стряслось, и тем сильнее досадовал, что его покой нарушен, миссис Мейпл потребовала у детей объяснений. Те стали оправдываться, вынужденно подменяя вымышленные события фактами и используя для этих целей скучный взрослый язык, что способен обратить в картон даже башни Илиона. В конце прогремел неизбежный приговор: кораблик следует сдать.

Мартин поначалу упрямился. Так и быть, он больше не пойдет в сад Лидбиттеров, но причем тут кораблик? С ним ведь можно играть и на суше, на лужайке перед домом, например. В конце концов, он сам его смастерил! Мартин не понимал, почему должен отдать кораблик тете, если он может просто пообещать никогда не носить его в сад Лидбиттеров. И почему, если уж на то

пошло, нельзя играть в саду соседей, ведь те не имеют ничего против? Непонятно!

Мистер Мейпл, который в ходе этого монолога бросал на Мартина все более гневные взгляды, излишне энергично складывая и расправляя газету, наконец не выдержал. Он швырнул газету на ковер, порывисто расставил скрещенные ноги и ударился голой пяткой об острый край бронзовой каминной решетки.

— Закрой рот! — в гневе заверещал он. — Делай, как велела тетя!

Мартину закрыть рот оказалось не так-то просто. Хорошо, кораблик он принесет, но почему нельзя играть с ним возле дома? Он вполне устойчивый, можно и по травке его возить. В Гулле у них вообще нет никакой воды в саду, но это не мешает ему играть с самодельными корабликами.

Мистер Мейпл с размаху хлопнул рукой по подлокотнику кресла и заговорил с грозной сдержанностью в голосе:

— Я сказал, неси сюда!

Мартин принес.

— Вот, держите! Так почему мне нельзя играть с ним здесь… — опять взялся он за свое, протягивая дяде кораблик.

Терпение мистера Мейпла лопнуло. Он вско-

чил с кресла и заорал, трясясь от ярости и гневно потрясая корабликом:

— Кто разрешил тебе взять этот брусок? Ты пользовался моими инструментами? Кто дал тебе разрешение?! Где они? Где ты их бросил? Неси сюда немедленно! Я тебе покажу, как брать без спросу мои вещи!

Мартин и Рут отшатнулись, напуганные и ошарашенные этой неожиданной и несправедливой вспышкой гнева по сущему, казалось бы, пустяку — подумаешь, они разочек взяли инструменты мистера Мейпла! Мистер Мейпл тем временем вылетел в кухню, достал из-под раковины тесак и, едва не отхватив себе палец и оставив внушительный скол на разделочной доске, рассек кораблик вдоль от носа до кормы. Затем он распахнул дверцу «Идеального бойлера» и сунул обломки в пылающие угли.

Миссис Мейпл, слегка встревоженная разгоревшимся с ее подачи скандалом, не без удивления наблюдала за действиями мужа. Затем она поджала губы, развела руками и как ни в чем ни бывало уткнулась в свою книжицу в мягкой зеленой обложке. Дети наблюдали за дядиным припадком с почтительного расстояния. Мартин резко обернулся на странный звук, который

издала Рут. Она стояла с белым, как мел, лицом, неподвижно уставившись перед собой. Вдруг она всхлипнула и бросилась прочь из дома. Мартин поспешил за ней, но перед этим метнул во взбешенного дядю, выходившего из кухни, полный достоинства взгляд и демонстративно повернулся к нему спиной.

Рут нашлась не сразу. Мартину пришлось побегать по саду, тихо окликая ее по имени. Наконец он обнаружил ее в траве под кустом возле живой изгороди Лидбиттеров. Заслышав шаги Мартина, она отняла ладони от лица, и он увидел на ее щеках слезы. От его напускной невозмутимости не осталось и следа.

Он присел к ней и положил голову ей на плечо.

— Рути, Рути, не плачь, пожалуйста! — взмолился он. — Не плачь из-за такой ерунды! Придумаем что-нибудь другое…

Рут поплакала еще немного, потом нашла платок и утерла слезы. Встав на колени, она прислонилась лбом к столбику и заговорила тонким, раздавленным голосом:

— У нас могло получиться такое славное плавание! Какая жестокость… А ведь он мой отец!

— Ну знаешь, — великодушно рассудил Мар-

тин, — она мне тетя, и, бьюсь об заклад, он ничего такого не сделал бы, если б она его не раззадорила! Да и я зря так упрямился, довел его…

Рут по-прежнему стояла, прислонившись лбом к столбику, и долго разглядывала спутанные стебли жесткой травы под ногами. Наконец она медленно повернулась к Мартину и очень странно на него поглядела. На ее лице читалась отчаянная, испуганная, но непоколебимая решимость.

— Ты чего? — спросил Мартин.

— Можешь смастерить еще один кораблик? — произнесла она таким голосом, словно предлагала ему ограбить деревенскую церковь.

Мартин коротко, сдавленно хохотнул:

— Ну даешь! Да он теперь наверняка спрячет от меня свои дурацкие инструменты. Чем прикажешь работать? — Он сунул руки в карманы и вдруг упрямо вздернул подбородок. — Хотя… Пожалуй, ножом я не хуже обстругаю деревяшку, чем его инструментами, а если уж я что решил, меня никто не остановит, тем более он!

— Инструменты есть и у мистера Лидбиттера, — многозначительно произнесла Рут.

Мартин сконфузился:

— Ну да, знаю… Только вот… Рут, нас ведь опять

поймают, ей-богу! Ничем хорошим это не закончится.

Рут медленно и очень решительно покачала головой.

— Назад пути нет, — сказала она. — Я не хотела тебе говорить, но, понимаешь, я его произнесла! Когда бежала сюда. Поэтому теперь ты просто обязан смастерить новый кораблик.

— Что произнесла? — изумился Мартин.

— Слово! — обреченно воскликнула Рут. — Заветное слово!

Лидбиттер в ту пору строил бомбоубежище. Работников было не нанять, поэтому он все делал сам. Будучи уполномоченным по гражданской обороне, он прочел немало книг на эту тему и убежище строил как полагается, нужной глубины и с каменной кладкой наверху, с койками и надежной деревянной крепью под землей. Проект убежища родился у него еще до начала войны, тогда же он закупил брус и железную сетку для коек, но до сих пор все время что-то мешало ему приняться за работу. Принявшись, он стал копать быстро, как крот, а поскольку человек он был крупный, с хорошо развитой мускулатурой, за один подход он успевал вынуть из ямы изрядное количество грунта. Убежище он расположил ря-

дом с забором между двумя участками, и мистер Мейпл имел возможность наблюдать за ходом работ. Он стоял среди своих роз и вел с Лидбиттером беседы, которые тот по доброте душевной считал дружескими и несерьезными.

Однажды вечером, когда мистер Мейпл наконец удалился к себе и не мог его услышать, мистер Лидбиттер вылез из ямы и в сердцах вонзил лопату в земляную кучу.

— Безопасная Зона! — с горькой иронией воскликнул он, обращаясь к жене, вышедшей посмотреть на его работу. — Тоже мне, Безопасная Зона! — Он закурил и обреченно отшвырнул спичку. — Нет здесь Безопасных Зон и быть не может! — Он вскинул руку и обвел ею летний небосвод. — Взгляни на это! Только взгляни! Что ты видишь? Что? Разве ты видишь там какую-нибудь разметку, разве можно доподлинно установить, где именно пролетит немецкий бомбардировщик?! Допустим, им нужен Гулль, но они бомбили уже и Биггин, и Мортон, и по тому берегу Хамбера прошлись! Допустим, есть лишь один шанс на миллион, что вражеская бомба угодит в ту или иную точку, но разве от этого легче тому, кто окажется в этой самой точке? Зачем рисковать? Мейпл так рассуждает, будто речь

идет о коммерческих рисках, которые можно заранее предугадать. Но от чего, в сущности, зависит человеческая жизнь? От какого-нибудь юного немца, недавно окончившего школу, которому перед вылетом дали сто пятьдесят инструкций, а он половину из них забыл еще по пути сюда и несется в этой чертовой бандуре по ночному небу со скоростью триста миль в час, оглушенный буханьем зениток, не представляя даже, где он находится, с одной мыслью в голове: поскорей бы, черт подери, избавиться от этой взрывчатки, пока она не взорвалась прямо под ним! Внизу Англия, вражеские земли, и начхать ему на наши Безопасные Зоны! — Лидбиттер горестно выругался, потом поплевал себе на ладони и хохотнул. — Пусть старик Мейпл напишет Гитлеру и скажет ему, что у нас тут Безопасная Зона! А я пока вырою нам хорошее убежище, и когда в следующий раз фашисты будут бомбить Гулль, вы с Фрэнки прекрасно в нем отсидитесь.

Госпожа Лидбиттер перевела взгляд на Оквью.

— Бомбоубежища дорого обходятся, — снисходительно произнесла она. — Один шанс на миллион — это слишком мало, на такое старик Мейпл никогда не раскошелится. И возможно, будет прав. Я с самого начала думала, что куда

разумнее пустить доски и сетку на курятник. Сейчас их нигде не купишь.

— Надо уметь расставлять приоритеты! — ответил Лидбиттер. — Зачем тебе куры, если сюда упадет бомба? Сетки у меня достаточно. Закончу бомбоубежище — примусь за курятник.

— Хм! Так я тебе и поверила! — воскликнула его жена. — Когда ты закончишь бомбоубежище, начнется учебный год, и у тебя ни на что не останется времени. Чую, курятник мне придется строить самой. Или лучше попрошу юного Мартина Торгуда.

Лидбиттер уже готовился прыгать обратно в яму, но тут замер.

— Между прочим, у него получится! — сказал он. — Видала, какой он кораблик мастерит?

— Нет, — ответила миссис Лидбиттер. — Но он сегодня утром заходил, опять просил твою маленькую дрель. Я ему дала. А вообще, зря мы его поощряем. Соседи у нас престранные. Делают вид, что обожают ребятишек, но это неправда. Тетка Мартина живьем съест, если узнает.

Лидбиттер опять с размаху вогнал лопату в земляную кучу и, заикаясь от ярости, воскликнул:

— П-п-просто ума не приложу! Ей-богу, в голове не укладывается! Почему, почему они не дают

ребенку заниматься тем, к чему у него явный талант? Господь всемогущий! Я трачу все свое время — ладно, не все, половину, — пытаясь научить детей хоть что-то делать руками и бешусь, как черт, что они такие неумехи, а потом прихожу домой и вижу рукастого паренька, которому треклятый жирдяй Мейпл запрещает пользоваться инструментами! Ну разве это не преступление?! Ты прогуляйся, посмотри, что он там мастерит. Никогда не видел, чтобы ребенок в его возрасте такое умел! Когда закончит, отнесу кораблик в школу, покажу своим криворучкам — будут знать!

Лидбиттер остался верен своим принципам, и они с женой сговорились помочь детям сохранить их игру в тайне. В каменном сарайчике нашелся старый верстак. Лидбиттер прикрутил к нему тиски и, понаблюдав несколько минут за работой Мартина, охотно отдал в его пользование все свои инструменты. Он вскинул брови, когда Мартин показал ему чертежи будущего корабля, дивясь изобретательности и проработке деталей. На сей раз Мартин решил подойти к строительству основательно. Новое судно будет не примитивным каноэ, выдолбленным из бруска, а самым настоящим кораблем. Все нужные

материалы он нашел в дровнике Лидбиттеров, где валялись дубовые чурбаки и ветви ясеня и грецкого ореха. Мартин повертел их, осмотрел со всех сторон и отобрал те куски, что имели нужный размер, форму и природный изгиб, затем аккуратно распилил их и с помощью бумажных лекал вытесал киль, шпангоуты и все изогнутые части. Лидбиттер время от времени давал ему советы и подсказывал полезные приемчики, о которых Мартин не знал, но в целом мальчик работал сам, а Лидбиттер изредка заглядывал понаблюдать и восхититься его старательностью.

Рут тоже в основном наблюдала. Бóльшую часть свободного от помощи миссис Мейпл времени она проводила, устроившись с книгой в любимом уголке сада — под кустами на границе двух участков, откуда хорошо просматривался весь Оквью, и в случае необходимости она могла предупредить Мартина о приближении взрослых. Однако и она частенько захаживала в сарай посмотреть, как продвигается работа над кораблем. Лидбиттер однажды увидел очередной рисунок будущего судна, выполненный на коричневой бумаге: вид спереди и сбоку. Увиденное его немного озадачило. Он думал, что Мартин, будучи сыном капитана, попробует смастерить

нечто вроде парохода или, раз уж строить приходится из дерева, копию современной яхты или небольшой парусной шлюпки. Однако изображенное на рисунке судно Мартин мог видеть разве что в книжке. Оно было узкое и длинное, с высоко поднятым носом, кормовым веслом вместо румпеля и высоким ютом, обнесенным резной балюстрадой; впереди имелась небольшая палуба, но в средней части корабля настила не было, только банки и отверстия под весла. На единственном рее, подвешенном к мачте, был закреплен маленький квадратный парус. Корабль напоминал драккар викингов или древнюю средиземноморскую галеру.

— Как тебе пришла идея построить такой корабль? — поинтересовался Лидбиттер.

Мартин, не отрываясь от работы, мотнул головой в сторону Рут:

— Она такой попросила.

Лидбиттер поглядел на девочку, и та залилась краской.

— Да, это мой рисунок.

Что больше всего поражало Лидбиттера, так это скорость работы Мартина. Вечерами, когда дети убегали в Оквью, он порой заглядывал в сарайчик посмотреть, как идут дела, и убедить-

ся, что его инструменты не остались валяться под дождем. Кораблик рос не по дням, а по часам. Мартин выбрал самый трудоемкий способ строительства. Его судно состояло из множества деталей, которые скреплялись между собой крошечными дубовыми нагелями. Каждый нагель он кропотливо выстругивал ножиком и отшлифовывал напильником. Борта корабля он сделал из трехслойной фанеры, нарезав ее на узкие полоски, а затем аккуратно отделив два внешних слоя от внутреннего. Мартин намеревался приколотить обшивку внакрой маленькими гвоздиками, которые еще предстояло «выковать» из медной проволоки, отбив ее как следует молотком до нужной твердости. Отверстие под гвоздь в каждой доске требовалось предварительно высверлить тончайшим ювелирным сверлом, а затем легким постукиванием загнать гвоздик сквозь доску в дубовый шпангоут, тем самым надежно закрепив ее на месте.

Лидбиттер был несказанно рад встретить такого дельного и обстоятельного юношу, способного тщательно планировать все этапы работы и не пренебрегать мелочами лишь на том основании, что они требуют слишком много времени или слишком трудоемки. Однако в силу возраста он

лучше Мартина понимал, сколько дней может потребоваться на такую работу, и уже начинал сомневаться, что корабль когда-нибудь будет достроен — по крайней мере, в том виде, в каком он задумывался. Он пытался привлечь к работе Рут — отбивать медную проволоку для гвоздей или вытесывать дубовые нагели, — но та не имела опыта в обращении с инструментами и не могла выдерживать нужные размеры, поэтому Мартин забраковал ее изделия. Сам он трудился неустанно и методично. Как-то раз Лидбиттер, наблюдая за тем, как Мартин приколачивает доски обшивки, увидел жестянку с уже готовыми гвоздями и стал гадать, сколько же часов ушло у Мартина на их изготовление. Он потряс содержимое жестянки и заметил, что мастер даже нашел время поэкспериментировать: некоторые гвоздики имели аккуратные круглые шляпки и выглядели просто безупречно. Решив разобраться, как можно сделать такие гвозди из обычной проволоки, он взял молоточек, плоскогубцы и попытался самостоятельно выковать один гвоздь на маленьком железном бруске, который Мартин приспособил вместо наковальни. Хотя обращаться с инструментами Лидбиттер умел, все же его крупные руки не годились для столь мелкой и

тонкой работы. Он потратил добрых полчаса (пока не спохватился, что пора возвращаться к собственной работе над бомбоубежищем), но изготовил за это время один-единственный примитивный, грубый гвоздь в четыре раза крупнее требуемого. Он вышел из сарая, озадаченно качая головой и почесывая в затылке.

Сам процесс строительства настолько увлек его как мастера и как человека, хранившего яркие воспоминания о собственном детстве, когда создание модели корабля вполне могло быть самоцелью, что он даже не стал интересоваться стоявшей за всем этим историей — затейливой игрой, ради которой кораблик и строился. Дети при нем почти не разговаривали. Он лишь видел, что и само судно, и процесс его создания окутаны замысловатой паутиной вымысла, в котором каждый ребенок играет свою роль. Очевидно, столь трудоемкое и сложное дело было частью этой игры, и дети постоянно делали вид, что строят самый настоящий корабль. Еще Лидбиттер понял, что, хотя всю работу выполняет Мартин, судно в равной степени принадлежит и Рут. Именно она придумала его и нарисовала, с любовью выносив свой замысел, а теперь с восторгом наблюдала за близившейся к завершению рабо-

той, расторопно подавая Мартину инструменты и ласково поглаживая длинный изящный корпус маленького судна.

Еще до конца месяца на корпус нанесли первый слой краски, и состоялся пробный спуск корабля на воду. Однако бóльшая часть самой тонкой и кропотливой работы — внутренней оснастки — была еще впереди.

Как-то раз мистер и миссис Лидбиттер возвращались вечером домой из каменного сарайчика.

— На эту работу у них уйдет много месяцев, — произнес он, растерянно качая головой.

Миссис Лидбиттер, которая только что обнаружила мужа не в бомбоубежище, куда зашла первым делом, а в сарае, многозначительно покосилась на груды выкопанной земли.

— Готова поспорить, что Мартин свой корабль закончит раньше, чем ты — бомбоубежище, — сказала она.

Несколько ночей спустя немецкая авиация совершила очередной налет на Гулль. Утром Лидбиттер встал и решительно направился к яме, вознамерившись сегодня же закончить убежище, чего бы это ни стоило. Он немного постоял рядом, дыша утренней свежестью и наслаждаясь странной тишью, воцарившейся в воздухе, который,

казалось, теперь безраздельно принадлежал птицам. Ужасы минувшей ночи понемногу таяли, исчезая с поверхности реального мира, как исчезает пар дыхания с холодного оконного стекла. Тут, вспомнив, что ночью шел ливень, Лидбиттер решил заглянуть в каменный сарайчик. Вечером, после ухода Мартина, он уже заглядывал туда и видел, что все инструменты аккуратно сложены в закрытый ящик под верстаком, но сам кораблик — вернее, всевозможные его части, — а также различные жестянки и банки с краской так и остались на верстаке, под текущей крышей.

Насколько он мог судить, от дождя ничего не пострадало. Участок кровли над верстаком, похоже, остался цел, чего нельзя было сказать о черепице в дальнем углу: там зияла дыра, в которую на глазах вошедшего Лидбиттера вылетел спугнутый воробей. Должно быть, он подъедал оставленные Рут крошки печенья. Недавно на верстак вылилось немного белой краски, и воробей — или даже несколько воробьев, — видимо, испачкали в ней лапки. Теперь вся столешница была исчерчена множеством белесых следов, и особенно много их было вокруг кораблика, зажатого между двумя колодками, над которыми Рут вчера жевала печенье. Лидбиттер вышел из

сарая, но в ярде или двух от двери замер, сраженный любопытной мыслью. Он вернулся в сарай и еще раз осмотрел корабль, вспоминая минувший вечер и растерянно почесывая затылок.

— Очередной пример того, — пробормотал он вполголоса, — как несовершенно человеческое восприятие…

Он готов был поклясться, что минувшим вечером, когда он в последний раз осматривал кораблик, на верстаке рядом лежала аккуратная кучка деталей будущей ютовой надстройки и рубки, готовых к установке — процессу весьма сложному и небыстрому. Однако теперь никаких деталей рядом с корабликом не оказалось, и причина была очевидна: ютовая надстройка уже была готова, все детали заняли свои места. Лидбиттер не сомневался, что видел их вчера разобранными, так неужели Мартин после отхода ко сну тайком прокрался сюда и работал всю ночь? Нет, это решительно невозможно. Стало быть, Лидбиттера подводит память, и кучку разрозненных деталей на верстаке он видел не вчера, а позавчера. Иначе и быть не может, ведь сборка и подгонка всех частей ютовой надстройки заняла бы у Мартина целый день, не меньше. Лидбиттер несколько растерялся, обнаружив в

своей памяти, которую он считал натренированной и весьма цепкой, такой громадный провал.

— Очередной пример… — повторил он, задумчиво помассировав поясницу, и вновь взялся за лопату.

Гулль серьезно пострадал от последней бомбежки; со всех концов страны летели новости о массированных налетах. Лидбиттер чувствовал, что время не на его стороне, и работал как вол. Весь день он не видел Мартина и добрался до каменного сарая лишь к следующему полудню. Вся носовая часть судна уже была готова, и Мартин занимался установкой мачты и рея. Лидбиттер пропустил ту часть строительства, на которую ему было любопытно взглянуть: как Мартин закрепит множество миниатюрных деталей оснастки в самых узких и тесных частях носа и кормы, ведь там негде развернуться даже маленьким рукам. Да, все эти детали уже заняли свои места, и крошечные дверцы вели теперь из средней части корабля в баковую и ютовую надстройки. На вопрос Лидбиттера о том, как ему удалось это провернуть, Мартин, все внимание которого было сосредоточено на решении новой задачи, ответил лишь растерянным «да просто… взял и сделал».

Лидбиттер приподнял люк ютовой надстройки и увидел маленький трап, ведший в кормовую каюту, — с поручнями и резным столбиком в конце, увенчанным аккуратным шариком. Как все реалистично, какое внимание к деталям! И сколько же нужно было труда, чтобы засунуть туда эту лестничку, да еще резную. Должно быть, Мартину пришлось наклонить судно и долго примериваться, чтобы свет сквозь крошечный люк попал в нужное место…

Он усмехнулся, вновь приступая к своим нехитрым трудам над сугубо утилитарной постройкой. Когда Мартин вырастет и захочет построить бомбоубежище, подумалось Лидбиттеру, он, наверное, украсит все балки и опоры резьбой, а стойки коек снабдит набалдашниками. «Боже! — мысленно воскликнул Лидбиттер, — как странно устроен мир, если искусство, которое человек оттачивает на протяжении сотен веков технического прогресса, самым естественным образом дается червю!»

Брошенное невзначай замечание миссис Лидбиттер положило начало соперничеству между ее мужем и Мартином. Мартину тоже приходилось работать на износ, ведь лето было на исходе. Взрослые еще не решили, вернется он

в Гулль, в школу, или останется в Уэст-Клартби. Кроме того, Мартин, в отличие от Лидбиттера, не мог работать когда вздумается. Ему далеко не всегда удавалось скрыться от недреманного ока тетушки. Иногда он безвозвратно терял все утро, иногда целый рабочий день. И все же он твердо решил выиграть — и, пожалуй, выиграл бы, полагал Лидбиттер, особенно если согласился бы пренебречь какими-нибудь незначительными этапами строительства или отделки.

Когда Лидбиттер наконец хлопнул лопатой по холмику, под которым пряталось бомбоубежище, и гордо объявил, что все готово, Мартин еще выпиливал крошечные тали из высушенной древесины падуба. Кораблик в тот вечер стоял в бухте, пришвартованный к маленьким, неизвестно когда возведенным мосткам. Корпус, выкрашенный белой и темно-коричневой краской, сиял лаком, и зеркальная гладь воды отражала изящное судно во всех мельчайших подробностях — от высоко поднятого носа до резного релинга на юте. Он был почти готов, этот славный корабль, стоящий в бухте Аквавильдира. Дети сидели и смотрели на него внимательными сияющими глазами. Мартин на минуту оторвался от своих трудов; Лидбиттер позвал жену полюбо-

ваться его творением.

Дети настояли на том, чтобы оставить кораблик на ночь в бухте. Дождь ему не страшен, сказал Мартин. Этому кораблю вообще ничего не страшно, полагал он. Прежде чем уйти пить чай, Мартин сложил в трюм свежевыпиленные тали и прочие мелочи, включая снасти. Парус и рей уже были закреплены на мачте. Рут в тот день занималась другой частью игры. Она сбегала в лес, и теперь на дощатом настиле маленького причала покоились несколько дюжин крошечных тюков белого пуха, носилки из спичечного коробка с аккуратными веревочными ручками, а также множество матерчатых мешочков с пшеницей, которую она насобирала на недавно сжатом поле Силкстоуна.

— А в ящиках что? — спросил Лидбиттер. Рут помотала головой: то была тайна.

— Надо построить склад, не то ваш груз промокнет.

— А, сегодня дождя не будет! — отмахнулся Мартин.

Несколько часов спустя Лидбиттер, заступая на смену дежурного наблюдателя местной службы оповещения о воздушных налетах, окинул взглядом ясное небо и не увидел на нем ни единого

облачка, которое могло бы загореться от пылающего солнечного шара, что висел на западе над краем сжатого, ощетинившегося золотистой стерней поля.

— Да, дождя не будет, — пробормотал он. — А вот для бомбежки погода в самый раз.

Сирены завыли над Уэст-Клартби незадолго до полуночи. Лидбиттеру пришлось просидеть на телефоне часа два, затем дали отбой, однако ему было велено оставаться на посту и ждать новой воздушной тревоги. Он успел прыгнуть на велосипед, доехать до дома, упрятать жену с ребенком в бомбоубежище и под рев сирены на здании церкви вернуться в деревню. Сидя на посту, они прислушивались к пульсирующему гулу вражеских бомбардировщиков над Гуллем. Оттуда доносился почти непрерывный стрекот зенитных пушек, а вскоре загремели передвижные зенитные орудия и в Уэст-Клартби. Земля задрожала от глухого утробного уханья падающих с неба бомб, куда более пугающего, чем злые хлопки зениток. Воздух пульсировал от приближающихся самолетов.

— Господи! — закричал Фред Силкстоун, дежуривший вместе с Лидбиттером. — Сегодня и нам достанется!

Позже Лидбиттер с трудом мог вспомнить, сколько именно взрывов прогремело вокруг за те считанные минуты, когда деревня Уэст-Клартби, казалось, приняла на себя весь удар Люфтваффе. Атаки было две, крупная и поменьше, с перерывом в несколько минут. Фред Силкстоун считал, что враг метил в прожекторную батарею, стоявшую в западной части деревни. У Лидбиттера была другая теория, в основе которой, несомненно, лежало его непоколебимое убеждение, что любая бомбардировка — дело случая. Он не отказался от этой теории даже после того, как на следующий день выслушал множество подробных разборов и рассказов очевидцев. Один неисправный немецкий бомбардировщик аварийно сбросил боеприпас над полем, в результате чего загорелся амбар Робертса. Два других самолета, либо потерявших ориентировку, либо пытавшихся уйти от плотного зенитного огня, сочли полыхающий амбар достойной мишенью. Над Уэст-Клартби было сброшено две серии бомб, и по чистой случайности — ведь деревня раскинулась широко — все бомбы, кроме одной, упали в поле.

Вот она-то и коснулась Лидбиттера напрямую. Впервые он услышал о ней по телефону — от жены. Точнее, услышал только одно слово: «Ок-

вью».

Когда он примчался на место, пожарные и спасательная команда уже работали вовсю. Бомба упала со стороны Оквью, вдали от дома Лидбиттеров. Им выбило все окна, но в остальном дом, похоже, нисколько не пострадал. Жена и ребенок были целы и невредимы. С облегчением выругав жену за то, что та выбежала из укрытия, чтобы ему позвонить, он поспешил в Оквью, выискивая взглядом белый шлем старшего уполномоченного по гражданской обороне.

Две стены Оквью устояли. Все остальное превратилось в груду камней и невероятно мелких щепок. Старший уполномоченный сверил список проживающих в доме со списком Лидбиттера и сокрушенно покачал головой.

— Надежды нет, — сказал он.

Меньше чем за час до рассвета спасателям удалось извлечь из-под обломков единственную уцелевшую — миссис Мейпл. Бомба упала в поле с той стороны дома, где находились спальни детей. Они наверняка, *наверняка* не спали и где-то укрылись, мысленно твердил Лидбиттер, вместе со спасателями разгребая завалы. Как только извлекли миссис Мейпл, он, сам не свой от тревоги за детей, склонился над ее скорчившимся на

носилках телом и яростно зашептал:

— Дети! Где дети?!

В ответ раздался едва различимый сдавленный шепот, и из всех слов, повторить которые миссис Мейпл была не в состоянии, Лидбиттеру удалось разобрать лишь два: «Не знаю».

Он распрямился и едва не упал в обморок от усталости и тревоги. Затем, повинуясь фантастическому порыву, что может завладеть человеком во сне или в подпитии, он зашагал прочь по темному саду, продрался сквозь изгородь между участками и побрел, спотыкаясь, не разбирая пути, к каменному сараю.

Там он первым делом осветил фонариком маленькую бухту, поверхность которой тускло сияла во тьме. Ручей безмолвно струился сквозь поникшие стебли трав. По темной водной глади, медленно чертя круг за кругом, скользил сухой листок. В пятне света от фонарика вырисовывались мостки, а вот корабля не было. Пропали и тюки, и ящики, и носилки — весь аккуратно сложенный на мостках груз.

Лидбиттер вошел в сарай и посветил фонарем на верстак. Внизу стоял закрытый ящик с инструментами, но на самом верстаке ничего не было. Лидбиттер вспомнил, как днем ранее Мартин

прошелся по нему старой кистью, смахивая на пол опилки и мелкие щепки. Ни следа не осталось от его многодневных упорных трудов, кроме нескольких щепок да светлой полоски опилок на полу, где древесная пыль просыпались в щель между двумя досками столешницы.

Лидбиттер положил фонарь на верстак, для надежности пристроив его в эту щель, чтобы не упал, и, моргая, уставился на желтую полосу опилок. Сам не замечая, что делает, чувствуя лишь странное стеснение в горле, он провел ногтем по ярко освещенным опилкам.

В луче света от фонарика можно было рассмотреть каждую соринку. Вдруг его палец наткнулся на некий мелкий предмет, непохожий на стружку или частицу древесной пыли. Вещица представляла собой гладкую, отполированную деревянную палочку не более половины дюйма в длину, увенчанную металлическим набалдашником. Лидбиттер, изумленно прищурившись, разглядел, что формой набалдашник напоминает головку молотка. Гадая, почему эти соединившиеся неизвестным образом кусочки дерева и металла настолько завладели его вниманием, что заставили позабыть даже о горе и навалившейся усталости, Лидбиттер с трудом подцепил

предмет ногтями правой руки, а левой взял с верстака фонарь. Ошалело воскликнул: «Да ведь это молоток!» — и тут же по неосторожности выронил диковинную вещицу. Потом он еще долго искал ее среди пыли и стружек на полу, но найти так и не смог.



Дом у дороги[19]



— Мистер Бенистон, а вы знаете какие-нибудь истории о привидениях? — спросила миссис Сэнгри, подняв взгляд от камина, в котором ворошила кочергой угли.

Она подцепила полено, и высоко взметнувшее-

[19] Примечания: 19
Перевод Д. Кальницкой.

ся от сквозняка пламя осветило стулья, сдвинутые тесным полукругом вокруг очага.

— Может, они вам не нравятся? — продолжала она. — Мы же вас так и не спросили.

В семействе Сэнгри в канун Рождества всегда рассказывали истории о привидениях. Пока дети были маленькими, эти истории оставались таким же важным атрибутом праздника, как новогодняя елка или запеченные на огне каштаны. Вот и на это Рождество их тоже рассказывали, пусть чуточку застенчиво или, быть может, даже чуточку натужно, но все равно радуясь старинному обычаю, который в силу своего волшебства возвращал всех в старые добрые времена. Обстановка как нельзя более располагала: в большой комнате погасили лампы, так что за спинами сгустились тени, стулья сдвинули поближе, и теплый красный отсвет пламени сроднил присутствующих, отгородив их от холодных чужаков из тьмы, которые рыскали совсем рядом за пределами светового круга, по очереди вызываемые к жизни рассказчиками.

В тот вечер из гостей был лишь мистер Бенистон. Его и правда не спросили, нравятся ли ему истории о привидениях, но если бы кто-нибудь заинтересовался его мнением, то мигом узнал

бы ответ на свой вопрос, как только старая тетя Марта первой начала рассказ: мистер Бенистон придвинулся, насколько позволяли составленные стулья; подавшись вперед, обратил бледную круглую физиономию к старушке и от первого до последнего слова слушал ее, по-детски широко распахнув глаза и приоткрыв рот. С таким же жадным любопытством внимал он и остальным. По всей видимости, мистер Бенистон вообще интересовался такого рода историями гораздо больше всех присутствующих; уж конечно, больше Тимоти Сэнгри и его сестры Стеллы, которые, когда пришел их черед, вопреки требованиям истинных поклонников жанра — тети Марты и брата Томаса, гораздо меньше внимания уделили атмосфере, напряжению и драматическим эффектам.

Но вот все члены семьи закончили свои рассказы, до полуночи оставался еще час, и мистер Бенистон сидел с весьма растерянным видом. Он виновато поерзал, будто испытывая неловкость и сожаление. Как человек начитанный, мистер Бенистон очень смутился, что у него наготове нет нужной истории. Он казался пристыженным, и его тем более огорчало, что он не может сделать то, чего бы ему так хотелось.

— Нравятся, очень даже, — едва ли не жалобно ответил он. — Такие рассказы я очень люблю читать, вот только всегда забываю сюжет, кроме, разумеется, классических, но их вы все знаете…

— Не важно, пусть будет история из книги, — сказала миссис Сэнгри.

— Ставлю десять к одному, что мы ее не читали.

— А расскажите про Индию, — предложил Тимоти.

Мистера Бенистона пригласил именно он, и из-за его предложения гостю как будто стало еще более неловко. Судя по всему, мистер Бенистон корил себя за невежливость; пока он думал над ответом, остальные, уже успевшие заметить его едва ли не жалкое стремление всем услужить и угодить, отчетливо видели, как отчаянно он роется в памяти, перебирая годы, проведенные в Индийской гражданской службе, в поисках подходящей жуткой истории.

Мистер Бенистон озадаченно нахмурился, глядя в огонь.

— Про Индию? Нет! Она совершенно не подходит для историй о привидениях, — сказал он. — Чересчур много жестокости: в смысле, в такой вот истории, по-моему, и должна присут-

ствовать жестокость, но в Индии все слишком дикое, экзотическое, слишком чуждое. Взять хоть их демонов, богов, гулей и прочих созданий с невероятной анатомией — они слишком злобные, чтобы по-настоящему напугать. Привидение — да, прозвучит парадоксально, но привидение должно принадлежать нашему миру, вам так не кажется? Место, где оно обитает, и преступление, которое заставило его восстать из могилы, должны быть связаны с нашей историей и традициями. Волосы встают дыбом, когда что-то знакомое поворачивается необычайной стороной, а не когда является что-то совсем уж вопиющее. Допустим, кто-нибудь из вас сейчас вышел бы в сад и заметил в лунном свете (не сразу, но сперва несколько раз повторив себе, что такого не может быть)… заметил бы, что тис возле ворот, так хорошо вам знакомый, отбрасывает странную тень — такой испуг гораздо лучше подходит для истории о привидениях, чем если бы посреди дорожки вдруг возник иссиня-черный демон двадцати футов росту с четырнадцатью руками и ногами и бросился бы на вас…

Все засмеялись. Доводы мистера Бенистона были такими простыми и искренними.

— Нет, — возразил он, чуть переполошившись

из-за всеобщего веселья и испугавшись, что его могут счесть слишком напыщенным. — Я просто хотел показать разницу. В Индии я слыхал такие истории, да, и сам видел кое-что, поражающее той самой чуждостью и чрезмерной жестокостью, но единственная подходящая история, какая со мной случалась, произошла в Англии.

— Ага! — с торжеством воскликнул Томас. — Так и знал, что у вас что-то припрятано в рукаве. Выкладывайте!

— Нет-нет! — торопливо возразил мистер Бенистон. — Вовсе нет! Вернее… — добавил он немного смущенно. — Конечно, я расскажу, с удовольствием, но это не совсем история о привидениях. Я просто привел пример, чтобы продемонстрировать этот феномен — когда знакомое поворачивается чуточку иной стороной, а в данном конкретном случае знакомое вдруг возникло не в том месте и не в то время.

— Расскажите, — настойчиво потребовал Томас.

— Хорошо, — согласился мистер Бенистон и, глядя только на тетю Марту и как будто обращаясь только к ней, начал рассказ:

Тому минуло уже несколько лет. На самом деле больше, чем кажется. Произошло это за несколь-

ко лет до войны. Я тогда поздно вернулся домой из Индии. Подавал заявку на летний отпуск, а потом заболел, одно, другое — и в итоге надо было либо ехать в ноябре, либо совсем отложить до следующего года, вот я и поплыл в Англию в середине ноября — неудачное время, как ни посмотри: уехал из индийского лета в английскую зиму. Но уж Англия мне милей, что зимой, что летом, и в глубине души я очень надеялся, что зима будет морозная, со снегом, наледью, яркими звездами и холодом, о котором так мечтается посреди Индии, когда есть только солнце, пот и жгучая жара.

Желание мое сбылось. Зима выдалась суровой (вы, наверное, ее помните) и рано вступила в свои права. У меня не было четкого плана, но еще в Индии, обдумывая отпуск, я часто представлял себе неторопливое путешествие по юго-западным графствам, не так хорошо мне знакомым. Разумеется, я воображал, как буду странствовать там летом — бродить по тенистым тропинкам, подниматься на освещенные солнцем холмы, ночевать на маленьких фермах и в трактирах… Ну и вот, проведя неделю в Лондоне, я спросил себя: какая разница — зимой или летом. Было холодно, зато сухо, и я решил, что и правда хо-

чу взглянуть для контраста на суровый голый сельский пейзаж. После красочного Востока хотелось освежить взгляд неброскими бурыми и серыми английскими пашнями и лесами. Я довольно быстро определился и, нанеся визиты своим единственным двум родственникам, взял в аренду небольшой автомобиль и отправился в Солсбери.

Выехав оттуда, я принялся безо всякого плана колесить по юго-западу, а ночами обычно останавливался в городках, поскольку выяснилось, что найти место в маленьком деревенском трактире не так-то просто, как я думал. Условия для такого путешествия складывались не самые подходящие. Установившаяся в самом начале сухая ясная погода, и побудившая меня сбежать из Лондона, сменилась снегом и слякотью, а потом в автомобиле, который я взял напрокат в самой дешевой конторе, какую только смог отыскать, начало барахлить то одно, то другое. Я не очень хорошо умею обращаться с машинами и определять в случае поломки, за что же дернуть, так что, полагаю, почти во всех моих бедах были повинны мои собственные небрежность и невежество. Однако же, несмотря на все это, я и не думал прерывать странствия — напротив, чувствовал, что

это занятие меня полностью устраивает.

Имелся у меня и другой мотив. Я подыскивал себе домик. Возможно, я действовал не очень целеустремленно, но все-таки глядел по сторонам, задавал вопросы и ездил смотреть все варианты, казавшиеся хоть сколько-нибудь подходящими. Понимаете ли, на службе в Индии я не чувствовал себя счастливым и всегда собирался, когда смогу, уйти в отставку, вернуться на родину и заняться чем-нибудь таким — вот как сейчас занимаюсь; хотя и не очень ясно себе представлял чем. Мне хотелось купить дом в маленьком городке или деревне, который приглянется, а поскольку как раз тогда я получил небольшое наследство от отца, то подумал: если найду что-нибудь подходящее, сразу куплю, и у меня будет место, где я смогу потом пожить и решить, чем же мне заняться.

Вот и представьте, как я в полном одиночестве разъезжал в автомобильчике на очень скромной скорости по зимним дорогам; довольно часто пробирался сквозь густой туман или морось по узким вьющимся проселкам, измазанным грязью, которую натащили с полей фермерские телеги; разыскивал, временами безуспешно, деревеньки; сворачивал не туда, так что путь нередко заканчивался прямо под колесами и

приходилось кое-как разворачиваться посреди слякотного заброшенного гумна или на покрытом влажным дерном склоне. Могу похвастаться тем, что ни разу всерьез не заблудился: в Англии полно дорожных указателей; к тому же, даже если к вечеру я обнаруживал, что подъезжаю к городу X, тогда как еще за обедом планировал добраться до города Y, я не очень расстраивался. Но все-таки в тех краях зимой бывает очень безлюдно. Поля стоят пустые, чего никогда не случается на Востоке. Иногда я бросал автомобиль, пешком отправлялся в долгую прогулку по лесам и холмам и мог за пять-шесть часов не встретить ни единой живой души. Безлюдье английской глубинки, так сказать, совершенно иного свойства: можно прошагать по полям и лесам шесть-семь или даже дюжину миль и не увидеть никого, но при этом чувствуется присутствие человека. Из-за живых изгородей, проволочных оград (боюсь, их чересчур много) создается ощущение, что это возделываемая земля, земля, которую берегут.

Так оно и есть. И все же полагаю, кто-нибудь из вас наверняка оказывался зимой ближе к вечеру в одиночестве на широко раскинувшихся холмах, когда изгороди скрыты туманом, а перед глазами лишь высокие пожелтевшие травы; во

впадине внизу — темное пятно рощи, неуловимое в меркнущем свете, словно черно-синий туман; величавый мрачный силуэт сосны пронзает белый туманный круг неба над головой; ни коров, ни домов, никаких признаков человека. И вот тогда, думается мне, вы, возможно, чувствовали, что в Англии до сих пор встречается безлюдье иного рода — не та приятная сельская глушь, очарование которой мы нынче ищем в своих путешествиях, но бескрайняя унылая глухомань, безлюдье, уходящее вглубь на много веков, которое впервые нарушили не фермы, не проволочные изгороди, не автомобили, но те поросшие травой курганы, та римская дорога, бегущая прямо по гребням холмов.

Вот в такой вечер и случилось то, про что я хочу вам рассказать.

Я сколько-то дней провел в Уорминстере и там узнал, что в окрестностях на продажу выставлено два дома: один всего в нескольких милях, второй довольно далеко к северо-востоку — там, куда я еще не ездил. Судя по карте, в тамошних холмистых краях почти не было шоссе, но я решил, что мне вполне хватит имеющихся дорожек и дорог, чтобы добраться до места, осмотреть второй дом, про который мне сказали, будто он расположен

в уединенной лощине, потом свернуть на восток и к ночи доехать до Марлборо. Помню, как заинтересовался, заметив на карте прямую, хоть и тоненькую линию римской дороги, которая пересекала всю округу и проходила довольно близко к тому месту, где располагался второй дом. Боюсь, вы решите, что я без должного уважения отношусь к Британскому картографическому управлению; не знаю, в чем тут дело: может, я просто не умею правильно читать карту — я из тех, кто обычно не удосуживается просмотреть легенду; а может, причина кроется в том, что я столько колесил по индийскому бездорожью, вооружившись негодными картами; как бы то ни было, обычно мне кажется, что наши картографы рассчитывают на слишком требовательных автомобилистов. Я, в общем-то, думаю, что машина проедет по любой дороге, обозначенной двойной чертой. И говорю себе: в конце-то концов, мне не принципиально мчаться на хорошей скорости по ровному асфальту. Сгодится и пятнадцать миль в час по проселку. Так что, хоть римская дорога и была обозначена как грунтовая, я не видел ни малейшей причины, почему бы мне по крайней мере не попробовать ею воспользоваться.

К тому времени, когда я добрался до Уорминсте-

ра, дождь со снегом, которые шли в самом начале моего путешествия, закончились. Три или четыре дня назад выпал снег, потом подморозило, и тот день, когда я отправился в путь, оказался самым холодным с начала отпуска. На шоссе, где асфальт оставался чистым из-за автомобильных колес, было еще не так худо, но дороги поменьше покрывала жесткая снежная или ледяная корка, и у моей машины было очень плохое сцепление с дорогой. Я и так обычно не спешил, а тут еще больше замедлился: когда я нашел и осмотрел первый дом (он мне не понравился), то понял, что слишком провозился и вряд ли успею осмотреть второй и добраться до темноты в Марлборо. Вероятно, мне недостает мудрости, чтобы с улыбкой принимать поражение, нанесенное стихией. Я решил, что, если урву у ночи кусочек, особенно если прямая римская дорога окажется пригодной для автомобиля, мне, возможно, и удастся взглянуть в сумерках на ту «уединенную лощину».

И вот я поехал так быстро, насколько хватало духу, но было скользко и приходилось то и дело останавливаться на перекрестках, чтобы свериться с картой, так что, когда, по поим соображениям, до домика оставалось еще десять-двенадцать миль, я понял, что уже темнеет.

Но я нашел свою римскую дорогу. Проехал какую-то деревеньку, и спустя мили две после нее, там, где был резкий поворот направо, прямо передо мной между буковой рощей и редкой изгородью убегал вперед ясно видимый древний тракт; по-римски непоколебимый, он взбирался на холм, который обычная дорога огибала по более отлогому склону. Обе они, и асфальтированная, и римская дороги, были покрыты ледяной коркой, и под этой обманчивой личиной римская выглядела надежнее — она была не только прямой, но и более широкой и, разумеется, вела в нужном мне направлении.

Свернув на нее, я понял, что мороз, сделавший асфальтовые дороги опасными, здесь, наоборот, сыграл мне на руку: земля смерзлась и стала твердой, как бетон, а поскольку до меня тут никто не проезжал, шины автомобиля, разбивая хрустящий сухой наст, уверенно ловили сцепление с грунтом.

Я потихоньку заезжал на пологий холм. Шедшая справа неухоженная изгородь постепенно выродилась в отдельные терновые кусты, располагавшиеся совсем уж далеко друг от друга, потом исчезли и они, и вдоль моего пути уже тянулся только изгиб заснеженного склона. Потерять

дорогу я не боялся: хоть на ней и не было следов других автомобилей, но слева ее окаймляла узкая полоска сосен, шириной всего в несколько ярдов, — сплошная черная лента убегала вдаль, покуда хватало глаз. Эти сосны указывали мне путь, служили четким ориентиром в неверном свете, который к тому времени уже начал вытворять разные фокусы со зрением; они подчеркивали прямую, словно стрела, дорогу.

По пути я не мог не гадать, куда нацеливался римский инженер, который ее строил: по всей вероятности, на какой-нибудь высокий холм далеко впереди или на вершину, теперь скрытую от глаз в глубине мутно-серого зимнего вечера.

А потом? Возможно, дорога вела к лагерю: я вспомнил, что один такой был обозначен на карте за тем перекрестком, до которого я надеялся доехать. После лагеря римская дорога продолжалась, и, хотя в конце концов след ее потеряли даже картографы из Управления, римские инженеры, несомненно, тянули ее все дальше, пока не добрались, скажем, до большого военного тракта, соединяющего Солсбери и Сайренсестер. В таком случае римская дорога должна была проходить

мимо кромлеха Эйвбери[20], через самый центр цивилизации нагорья, даже более древней, чем та, ради покорения которой ее и строили. На моей карте весь холм, по которому я ехал, испещряли отметки: древние курганы, земляные валы и кельтские поля. Теперь тут были лишь обширные овечьи пастбища да одинокая полоска сосен, заставлявшая тихонько петь пролетающие мимо ветра, а ведь когда-то этот край был многолюдным, когда-то он был священным, ибо тут возводили на века чертоги героев и монолиты в честь богов. И все это прорезала прямая, разящая, как римский меч, древняя дорога, которая теперь и сама стала древностью, чьим памятником служило собственное одиночество. В этом властном одиночестве она до сих пор триумфально господствовала над землями, о завоевании которых все давно позабыли, — царственный скипетр, лежащий поверх владений врагов римского народа.

По моим расчетам, оставалось проехать еще четыре мили, а там римскую дорогу должна была пересечь другая, которая, как я надеялся, выведет меня прямо на, как это изображалось на карте, «второстепенную доступную для автомобилей

[20] Примечания: 20

Эйвбери — культовый объект, относящийся к поздней эпохе неолита и раннему бронзовому веку.

дорогу», а та, в свою очередь, вела ко второму дому; но вот я отмерил по спидометру уже четыре мили, четыре с половиной, а никакого перекрестка не было и в помине. Еще около мили — одна только римская дорога и ничего больше. Вероятнее всего, из-за отсутствия изгородей я просто пропустил ответвление — какой-нибудь засыпанный снегом проселок.

Я остановил машину и огляделся. Если я прозевал перекресток, возвращаться искать его не имело смысла: до второго дома я добрался бы уже затемно, даже если предположить, что после холма идет простой и ровный участок пути. Впервые за время своих одиноких зимних скитаний я почувствовал, что не хочу задерживаться в этих безлюдных краях, меня все сильнее охватывало желание добраться до деревни или по крайней мере до дороги, на которой есть следы других машин. Резко похолодало: температура и так весь день не поднималась выше нуля, а теперь с наступлением вечера я чувствовал, как мороз намертво вцепляется в землю. Туман, уже некоторое время сгущавшийся вокруг, тоже нес с собой холод; когда я вышел из машины похлопать онемевшими руками и потопать, мороз накинулся на меня и ловко забрался под толстое

пальто; сквозь туман я различал черные купы сосен, окутанные мертвенно-бледной голубоватой дымкой, напоминающей сливовый цвет. Дул ветер: я слышал его печальную песню в сосновых кронах и ощущал его ледяные копья, долетавшие меж стволов с той стороны холма.

Через десять минут должно было окончательно стемнеть: заката не было видно — только сгущающийся ледяной туман и ровное серое небо. Оставался единственный вариант — проехать еще пять миль по римскому тракту до перекрестка с небольшой автомобильной дорогой на Марлборо.

Я сел в машину и включил фары. На мгновение они загорелись, но потом погасли. Я несколько раз дернул переключатель, но тщетно. И вот я сидел в автомобиле, охваченный беспомощностью, перерастающей в нечто вроде паники, тупо дергал туда-сюда пластмассовый рычажок и вслух капризно возмущался, почему же ничего не работает.

Разумеется, у меня и раньше случались мелкие неполадки с фарами; неделю назад вечером те почему-то вдруг погасли, а спустя мгновение снова зажглись безо всякого моего участия. Я, конечно же, собирался показать их мастеру в Уорминсте-

ре, но пока был там, ни разу никуда не ездил в темноте и, боюсь, просто упустил это из виду. А вот теперь мне грозили серьезные последствия. Доехать до Марлборо по заледеневшим дорогам без фар не представлялось возможным; я не испытывал иллюзий касательно своей способности исправить поломку (да и в машине не было инструментов); что же до помощи — встретить другой автомобиль шансов почти не было, в тех краях с тем же успехом можно было рассчитывать на встречу с колесницей древних бриттов или римской когортой.

Просто ради проформы я открыл капот и подергал таинственные проводки, вившиеся вокруг двигателя, — что-то такое пришло мне в голову насчет предохранителей, но в темноте их не найдешь, а фонарика у меня с собой не было.

Стоя возле так внезапно и безнадежно ослепшей машины и осознавая свою полную беспомощность, я оглядывал дорогу и взвешивал все за и против: можно было пойти пешком либо назад к деревне, либо вперед к следующей большой дороге; и когда я снова посмотрел вперед, то заметил свет. Неподвижный тускло-желтый свет теплился среди сосен где-то в четверти мили от меня.

Мне даже в голову не приходило, что возле римской дороги можно наткнуться на дом. Казалось бы, этот высокий безлесый холм вдали от рек и ручейков — последнее место во всей Англии, где решился бы поселиться современный человек. Я подумал, что это, возможно, пастушья хижина, хотя непонятно, откуда там посреди ночи взяться пастуху, когда окота еще ждать и ждать. Как бы то ни было, передо мной были признаки человеческого жилья, и я без дальнейших рассуждений забрался в машину и медленно и осторожно поехал на свет. Вдруг попадется сведущий в механике фермерский паренек, который сможет починить фары; в самом худшем случае, решил я, не откажут же мне в ночлеге, увидев, в какой я угодил переплет.

Это оказалась не пастушья хижина, но, насколько я сумел разглядеть, дом с деревянным каркасом, глинобитными стенами и соломенной крышей; стрехи располагались низко, едва ли не на высоте моего роста. Возле дома длинная лента сосен, к которой я уже так привык, что она казалась мне бесконечной, прерывалась, уступая место буковой рощице. Я мрачно посмотрел на переплетенные ветви буков на фоне сумрачного неба, раздуваемые ветром, словно чьи-то

волосы; буки склонялись над домом, как будто защищая его. На некотором расстоянии от них снова начиналась полоска сосен: теперь я видел ее, убегающую вдаль, — черная колонна на фоне темно-пепельного тумана.

Свет лился из маленького оконца, но при моем приближении переместился, исчез и снова появился в приоткрытой двери; я даже не успел постучать — обитатели дома, заслышав шум двигателя и хлопнувшую дверцу машины, сами вышли посмотреть, кто к ним явился.

Дверь открыла женщина, она всматривалась в меня, и в свете свечи, которую она прикрывала ладонью от сквозняка, я разглядел густые светлые волосы, уложенные в неаккуратную прическу. Молодая, крупная и неряшливая девица, я счел бы ее красавицей, будь она почище и поопрятнее и будь в ее взгляде поменьше хмурой подозрительности и опаски — она словно готова была захлопнуть дверь прямо у меня перед носом, сделай я еще хоть шаг.

Я объяснил, в каком затруднительном положении оказался, и спросил, не сможет ли кто-нибудь из обитателей дома мне помочь.

Пока я говорил, девица молча смотрела, вернее, таращилась на меня, и я чувствовал, что моим

словам не под силу поколебать ее твердокаменную враждебность. Вероятно, это бессердечно, но, оказавшись в безлюдном месте в морозную ночь, человек легко может истолковать невозможность помочь как нежелание помочь. В ответ на свои объяснения я услышал только мрачное:

— Здесь никого нет.

И вот я снова заговорил, пытаясь выглядеть как можно убедительней, губы у меня онемели, руки и ноги тряслись от холода: не приютит ли она меня на ночь? Я на все согласен: диван, стул на кухне, пусть даже сарай и охапка соломы.

— Мы не принимаем постояльцев, — ответила девица, наотрез отказываясь вникать в мою плачевную ситуацию.

Я растерялся. Нынче в английской глубинке редко встретишь застигнутого ночью путника: теперь есть железные дороги и автомобили, так что в обычных обстоятельствах все путники благополучно устраиваются на ночлег в городе, и о традиции привечать странников позабыли. Знаю, вы читали об опытных путешественниках, которые в любой ситуации добиваются своего, во время заминки благоразумно вытащив бумажник, но почему-то мне в голову никогда не приходило так поступать в Англии.

По правде говоря, я все-таки раздумывал, как бы половчее намекнуть ей, что она не прогадает, пустив меня переночевать, когда из дома донесся еще один голос — старческий, властный и резкий. Слов я не разобрал, как не разобрал и ответ девицы, когда она выкрикнула что-то через плечо, но через мгновение громко застучала по каменным плитам палка и к порогу подковыляла старуха, она грубо приподняла локоть девицы, так что свеча оказалась у нее над головой, просунулась в дверной проем и внимательно оглядела меня и автомобиль.

Старуха что-то строго прошептала девице, сердито стукнула палкой о порог и повернулась ко мне:

— Можешь поставить там в сторонке под навесом, а потом заходи! — Ее голос был таким пронзительным и громким, что получился чуть ли не вскрик.

Это приглашение, если бы я не разобрал слова, прозвучало бы как проклятие, но я был не в том положении, чтобы придираться к манерам. Осмотрев угол дома, я обнаружил открытые ворота; когда я завел машину, кто-то распахнул ставень, и в луче лившегося из окна тусклого света я разглядел крытый соломой навес, под

который и загнал автомобиль; укрыв капот ковриком, забрал сумку, снова обогнул угол дома и вошел.

Что удивило меня больше всего после грязной, неряшливой, я бы даже сказал — диковатой внешности девицы и старухи, так это скудная обстановка. Кухня была достаточно большой, но совершенно не походила на кухню английского деревенского дома. В ней не было плиты, но в открытом очаге что-то варилось в почерневшем котелке, цепью подвешенном к вбитому в дымоход крюку, а прямо на углях стоял большой чайник. В остальном же кухня была унылой и неуютной, как какая-нибудь захолустная деревенская пивнушка: голые стены, голый каменный пол, из мебели только несколько старых деревянных лавок, грубо сколоченный стол да деревянное кресло, в которое тут же уселась старуха: кресло стояло достаточно близко к очагу, так что она помешивала варево в котле, не вставая.

Странный это был дом, безо всяких вещичек, утвари, украшений и безделушек, которые обычно есть даже у беднейших английских трудяг; что касается освещения, там не было и заваляющей керосиновой лампы — только две свечи в плошках.

И парочка тоже была весьма занятная — мать и дочь, как мне показалось. Решив неотложную проблему с ночлегом, я задался вопросом, кто же они такие, мои хозяйки. И почему живут одни, в такой нужде и в таком безлюдном месте? Чем зарабатывают на хлеб? Снова и снова у меня в голове мелькали нелепые (ибо передо мной были только две женщины, притом одна — немощная старуха) истории из прошлого века о напастях, приключавшихся с путниками в далеких трактирах. Просто, понимаете ли, такая скудно обставленная кухня могла встретиться в каком угодно столетии, а мое собственное положение застигнутого ночью странника приличествовало не современности, а далекому прошлому. Да и редко в наши дни в Англии встретишь таких замарашек. Пожелтевшие седые космы старухи, вероятно, уже несколько месяцев не мыли и не расчесывали; она куталась в толстую серую шерстяную шаль, как будто переделанную из армейского одеяла, подол длинной юбки, сшитой из видавшей виды ткани, когда-то, вероятно, голубой, обтрепался и изгваздался. Я уже говорил, во внешности женщин было что-то дикое — что-то, что вызывало тревогу, а не просто вполне объяснимое отвращение к грязному расхристан-

ному виду. В лице старухи угадывались злоба и одновременна какая-то лисья повадка, и это меня беспокоило. Она явно соображала лучше девицы, но мне показалось, что ее смекалка и хитрость были практического свойства. Уж точно не из человеколюбия, подумалось мне, она закрыла глаза на возражения дочери и пустила меня на ночлег. Я видел, как ее цепкий оценивающий взгляд изучает мою одежду, как старуха прислушивается к моему выговору, как, определив меня в «джентльмены», высчитывает, какую выгоду можно извлечь из моего случайного появления. В силу нажитого опыта она действовала умнее дочери. Старуха заговорила со мной, ухмыляясь и кивая, она то хныкала, то резко и вздорно повышала голос, как тогда на пороге.

Мерзкая старая карга — иначе и не скажешь, и все же дочь казалась едва ли не более зловещей. Теперь при свете двух свечей и пламени очага я видел, что она моложе, чем мне сперва показалось, — не старше двадцати. Но мне не померещилось, она и вправду была красавицей. Миловидная девушка, пусть неряшливая и распущенная; она так стояла, так двигалась и держала себя, будто знала о своей привлекательности. И тем не менее не предпринимала ни малейшей по-

пытки соответствовать хоть каким-то обычным для женщин образчикам. Светлые волосы (они были бы еще светлее, если бы их помыли) двумя толстыми косами закручивались вокруг ушей. Одна коса крепилась очень небрежно и неряшливо свисала над плечом. Девица сбросила старую накидку, в которой выходила мне навстречу, и я удивился чересчур легкому наряду — в такую-то холодную ночь, хоть, стоит признать, пылающие в очаге поленья достаточно согревали кухню. Красная рубашка с короткими рукавами и без пуговиц скреплялась на груди одной лишь большой светлой металлической брошью. Юбка была почти такой же длинной, как у старухи, но в лучшем состоянии, ее как будто сшили из той же, но гораздо лучше сохранившейся голубой ткани. Девица не носила ни чулок, ни ботинок, но шаркала по кухне в домашних туфлях потертой кожи, что были ей явно велики. Ее одеяние было весьма бедным и более чем грязным, но на нем выделялось одно поразительное украшение: прямо поверх юбки бедра девицы обнимал необычайный пояс из металлических пластин, скрепленных тонкими цепочками. Разумеется, мне хватило духу изучить его только мельком, когда она поворачивалась ко мне спиной, —

очень уж я боялся выказать свой интерес к ее персоне, но я понял, что этот пояс весьма необычен и изготовлен с удивительным мастерством. Первой моей мыслью, явно нелепой, было: его умыкнули из музея, ведь такой в современном магазине точно не купишь. Пластины, вероятнее всего, сделанные из позолоченной бронзы, были украшены выпуклыми завитками, и в центре каждого красовался камень, то ли сердолик, то ли гранат. Старинная работа, и возможно, имеющая немалую антикварную ценность — рассмотреть бы только поближе; но из боязни вероятных последствий я, конечно же, не решился попросить, чтобы мне показали этот пояс.

Видимо, когда я его заметил, у меня и зародилась гипотеза о том, кто эти двое. Я был убежден, что на самом деле они не местные. Во-первых, говорили они иначе. Когда они беседовали между собой, я их не понимал, но выговор был явно нездешний. Поначалу я принял их за валлиек, потому что их интонации местами напоминали кельтский язык, который я много лет назад слышал и в Уэльсе, и в северной Шотландии. Но необычный пояс, одежда простой расцветки, очень яркой под слоем грязи, да еще диковатые взгляды старой карги — все наводило на другую

мысль: не цыганки ли это? Может, наткнулись на пустой дом и решили устроиться тут на зиму? Эта гипотеза объясняла все: и почему внутри так пусто, и почему девица не хотела меня пускать: наверное, их мужчины где-то неподалеку, а таким, как она, хорошо известно, что в отсутствие мужчин рискованно пускать к себе чужака. Чем больше я об этом думал, тем больше уверялся, что угадал верно, все подтверждало мои подозрения. Я понял, что прислушиваюсь к доносившимся снаружи звукам, гадая, не возвращаются ли цыгане, и с нешуточно тревогой заметил, что девица делает то же самое. Она не подходила к окну или двери, но выглядела в точности как беспокойная настороженная собака в час, когда хозяин обычно возвращается домой.

Как уже говорил, я избегал проявлять интерес к девице и обращался только к старухе, а девица в ответ смотрела на меня с презрительным безразличием. Я рассказал ее матери, куда направлялся, как пропустил перекресток и дорогу, которая должна была привести меня прямо к дому, который я разыскивал. Старуха с ухмылкой отвечала, что я ничего не пропустил, нужная дорога проходит прямо тут, через двор, где я оставил свой экипаж. Когда я спросил, смогу ли там проехать,

старуха сразу и без раздумий ответила «да», и я понял, что она очень смутно представляет себе, где может и где не может проехать машина, но решил тем не менее утром при свете попробовать.

На ужин я не рассчитывал, но меня покормили. Девица ненадолго вышла из кухни, потом вернулась и принялась, отвечая матери на своей цыганско-воровской латыни, накрывать на стол: к грубо вылепленным коричневым глиняным тарелкам не полагалось ни вилок, ни ножей — только оловянные ложки, которые, вероятно, стоили гораздо больше стальных, какие обычно встречаются на деревенской кухне. Старуха разлила черпаком похлебку из почерневшего котелка, а ее дочь разломила надвое домашний каравай и положила половину рядом с тарелкой. Я ел с большим аппетитом, рагу оказалось удивительно вкусным. Основным ингредиентом была зайчатина (чего-то такого я и ожидал).

Я попросил воды, и старуха, усмехнувшись, велела девице принести кое-чего получше. Та с угрюмым видом поднялась, достала из стенного шкафа глиняный кувшин и налила из него в керамический сосуд объемом чуть не в кварту щедрую порцию вина, которое ее мать разбавила горячей водой из чайника.

Попробовав напиток, пряный, согревающий и на удивление вкусный для домашнего вина, я в равной степени испытал и благодарность, и изумление. И похвалил вино.

Старуха с ухмылкой посмотрела на девицу, в ее глазах и голосе, хотя обращалась она ко мне, ясно читалась усмешка.

— Пей. Тут вдосталь. Доброго вина хватит тому, кто вошел в эту дверь. Не одним лишь солдатам. На дороге попадается славный люд, не хуже солдат, говорю же ей. А то и получше. Пьют много, платят щедро. Говорю же ей, сперва денежки, а потом выпивка, но ей лишь бы старшой с коня слез — сразу бежит его поить; умишки не хватает, чтоб смекнуть: заместо платы ее спереди обслюнявят да сзади облапают…

Девица принялась сердито браниться на мать на этом их странном наречии. Старуха закашлялась, сплюнула в очаг и тоже закричала на девицу. Я прибегнул к единственному доступному мне средству положить конец визгу и брани — попросил еще вина, чтобы им обеим было чем заняться.

После упоминания о солдатах оставалось только догадываться, что в здешних краях, вероятно, часто проводят маневры; а поскольку этот дом

— единственное на мили вокруг людское жилье, можно было легко вообразить, как мучимые жаждой военные заглядывают на огонек выпить, а потом, распробовав крепкое старухино пойло, остаются выпить еще. И без ее скабрезных обмолвок было вполне очевидно, какого еще рода развлечения их тут ждали.

Вино, из чего бы его ни сделали, вероятно, было крепче, чем мне показалось поначалу, да и я долго ехал по трудной дороге: очень скоро, сомлев в тепле возле очага, я уже вовсю зевал и едва не падал с лавки. Говорил я все меньше и меньше и в конце концов встал, на что, казалось, ушли все силы, и попросил, чтобы мне показали, где можно прилечь.

Девица взяла свечу, и я последовал за ней из кухни в коридор с каменным полом. До нас долетал голос старухи, переходящий в издевательский визг, — вероятно, она по-прежнему измывалась над дочерью, но слова были мне непонятны; девица не подала виду, разве что шагала так стремительно, что это можно было счесть презрительным молчаливым ответом. Дом оказался больше, чем я думал; сзади примыкал флигель, не видный с дороги. В коридоре располагалось несколько дверей, и девица от-

крыла самую дальнюю. Как и в кухне, убранство показалось мне очень скудным: в комнате стояла только низкая кое-как сбитая деревянная кровать с соломенным тюфяком, поверх которого лежали жесткие серые одеяла. Однако меня приятно удивило вовсю горевшее в очаге пламя. Пол покрывал слой пыли — такой толстый, что за девицей, которая двинулась к очагу поворошить поленья, а потом к кровати — поправить одеяла, остался отчетливый след. Я повернулся ее поблагодарить, но она уже вышла, теперь комнату освещало только пламя.

Света мне вполне хватило, потому что ко сну я почти не готовился. Мне уже было здорово не по себе из-за недоброй подозрительности во взгляде старухи. Она показалась мне по-настоящему злобной. Да и взволнованное предвкушение девицы мне тоже не понравилось. Я был уверен, что кто-то должен наведаться сюда ночью — кто-то, кто для нее был гораздо важнее матери и ее поддевок, явно не принимаемых так уж близко к сердцу. Я решил, что разумнее будет приготовиться, дабы в случае чего быстро встать. К тому же одеяла сложно было назвать чистыми, да и старая кровать тут же наводила на мысли о клопах. Так что я просто снял ботинки, расстегнул

воротник, ослабил галстук, застегнул пальто на все пуговицы и укрыл ноги сложенным одеялом. Выяснилось, что окно не застеклено, поэтому я не стал отпирать деревянные ставни: в них было полно щелей, так что комната проветривалась, а на рассвете тут должно было быть достаточно светло.

Я сомневался, что сумею заснуть в таком настороженном состоянии, и никак не ожидал, что, едва вытянувшись на кровати, почувствую поистине собачью усталость. Меня сморила такая истома и голова налилась такой тяжестью, что в полудреме мне подумалось, будто старуха подсыпала что-то в вино; вероятно, мой разум уже спал: я воображал, как девица, а то и цыган, ее муж или любовник, проберется в комнату стащить мой бумажник, — но притом не испытывал сильного страха. Эти мысли вообще недолго крутились в моей голове. Их вытеснил образ дороги, по которой я туда приехал.

Римская дорога текла перед сомкнутыми ве́ками помимо моего желания, безлюдная и бесконечная, превращаясь вдали в точку на холмистом горизонте. Во сне весь пейзаж представлялся гораздо более четким, чем когда я бодрствовал. Пропал морозный бело-синий туман: отчетливо

были видны белоснежные изгибы не огороженных, укрытых снегом холмов, которые волна за волной расходились вдаль, куда ни глянь, только кое-где темнел росчерк буковой рощи — черный, но с неуловимым тускло-рыжим виноцветным оттенком из-за сливавшихся на расстоянии красноватых голых ветвей и цеплявшихся за них медно-коричневых сухих листьев. У такой рощи я и остановился, и здесь сон уже совершенно отделился от воспоминаний, из него исчезли сосны. Закрытыми глазами я видел, что рядом с дорогой нет никаких сосен; только обдуваемая ветрами буковая роща, под сенью которой примостился низкий дом с соломенной крышей, неприглядный и грязный, похожий на заброшенную таверну. Мимо него прямо сквозь беспредельные волны белых холмов, срезая покатые вершины, будто ножом, уходила вдаль прямая римская дорога, не белая, как нехоженные холмы вокруг, но серая, истоптанная бесчисленными ногами.

Не знаю, спал я тогда или нет, потянулся за зрительным образом звуковой или наоборот, но я видел истоптанную дорогу и в то же самое время слышал топот ног. Топали не по снегу — не приглушенно, но громко по кухонному полу. Тяжелые подбитые железом сапоги решительно

и самоуверенно стучали и гремели по каменным плитам, и в этом грохоте слышался призвук жестокой силы и грубого пренебрежения к миру и покою, но я не мог подняться с кровати. Меня сковал сон или же оцепенение. Я слышал, как с шумом опрокидывается деревянная лавка; слышал, как с размаху опускается на стол что-то тяжелое и металлическое; слышал, как гудят голоса. Грубые, властные, молодые мужские голоса выкрикивали что-то на чужом языке, хохотали, облегченно и радостно восклицали, так что разносилось эхо; и весь этот гвалт, гул и смех перекрывал голос старухи, которая кричала, бранилась, хохотала — всё сразу, ее голос становился пронзительней и пронзительней, пока не сорвался вовсе.

Кто-то торопливо входил в комнаты в коридоре и выходил из них; рядом с моей дверью началась потасовка; завопила девица; стукнуло, звякнуло — массивное тело, облаченное во что-то металлическое, врезалось в стену, грохнул об пол глиняный кувшин.

Не знаю, сколько продолжалось это буйство — несколько минут или час; так бывает со звуками во сне — услышав их, испытываешь страшную тревогу, но не можешь среагировать разумной

мыслью или действием.

Я знаю, что не совсем спал, поскольку помню, чем закончился этот бедлам: конец вышел драматичным и исполненным смысла, как редко бывает в снах. А еще он развеял всякие остатки заблуждений, за которые отчасти продолжал цепляться мой разум: будто буяны на кухне — вернувшиеся домой цыгане. Громко, пронзительно, с немилосердной неотвратимостью, перекрывая все прочие звуки, запела бронзовая труба, потом вторая, потом третья. Приказ, прозвеневший во всем доме и далеко в холмах, нельзя было ни с чем спутать, ему нельзя было не подчиниться.

Кажется, я сел на кровати, вздернутый этим звуком, словно рукой. Уже проснувшись, уловил последние отголоски того, что слышал, я бы сказал, не во сне, но в трансе. И наступила полная тишина: ни в доме, ни окрест не раздавалось ни звука, только шелестели буковые ветви. Огонь в очаге погас; я дрожал от холода, но был совершенно не в состоянии двинуться — просто сидел, прямой как палка, в темноте, и прислушивался, прислушивался в надежде различить какой-нибудь понятный, знакомый звук, который вернул бы меня, привязал к здесь и сейчас. И наконец такой звук раздался — петушиная трель. Птица,

судя по голосу, была жалкой, изголодавшейся и замерзшей, но именно этот крик я так жаждал услышать. Помню, какое меня охватило несказанное облегчение, как я обмяк, с какой благодарностью укрылся жесткими грязными одеялами и заснул.

Проснулся я утром, было еще темно. Я замерз и чувствовал себя до неприятного грязным, тело одеревенело. В тот момент я очень смутно сознавал, что в начале ночи кто-то затеял страшную потасовку, только позже ко мне с необычайной яркостью вернулись воспоминания обо всем услышанном.

Но что-то я слышал и теперь, и этот шум показался знакомым. Он-то, несомненно, меня и разбудил. В кухне снова бранились старая карга и ее дочь. Ссору было отлично слышно, я открыл ставни и выглянул в квадратное оконце, выходившее во двор, где стоял мой автомобиль; в сером утреннем свете стало ясно, что на самом деле это вовсе не двор, а просто дорога, проходящая сквозь буковую рощу; с другой стороны вдоль нее стояло несколько ветхих сараев.

Я слышал, как пронзительный старческий голос снова и снова угрожает, требует, стращает; слышал и ответы девицы — на этот раз уже она

издевалась, задирала старуху, потешалась и в насмешку предлагала (как мне показалось) что-то, старуха громко требовала это что-то ей отдать, и девица выдергивала приманку у нее из-под носа, радостно доводя каргу до исступления.

Я надел ботинки, взял сумку и собирался выйти из комнаты, но тут на кухне началась драка. Было слышно, как они сцепились, яростный и гневный вопль девицы заглушил проклятия старухи, потом грохнул о стену ставень и девица, видимо, вышвырнула что-то в окно — оттуда, где стояла моя машина, донеслось отчетливое звяканье. Как будто два или три мелких камешка ударили по металлу.

Быстро пройдя по коридору, я шагнул в кухню, где до сих пор горели свечи и пламя в очаге. Девица стояла возле открытого окна, прикрыв рукой голову, рубашка на ее спине была задрана. Старуха вцепилась в угол стола, ее грязная смуглая физиономия перекосилась от гнева, в воздетой для удара руке была зажата палка. Кажется, они меня не заметили. Бросив на них единственный взгляд, я проскочил через кухню и захлопнул за собой дверь, услышав напоследок яростные всхлипы девицы.

Я уже давно выучился полезному фокусу, ко-

торый позволял быстро завести автомобиль холодным утром, и через несколько секунд двигатель тарахтел вовсю. Но когда я, подкачав карбюратор, закрывал капот, то заметил что-то завалившееся в щель между его крышкой и передним крылом. Наверно, это была как раз та штуковина, которую девица вышвырнула из окна, чтобы досадить старухе. Я взял предмет в руки — он походил на большую монету.

Забравшись в салон, я зажег спичку. У меня в руке и в самом деле была монета, бронзовая, крупнее и тяжелее полукроны. В свете спички был хорошо виден четко выбитый на аверсе профиль: массивные, грубые черты, короткие, зачесанные вперед волосы, шея, складки ткани; пока спичка не погасла, я успел прочитать гордую латинскую надпись — идущие по кругу сокращения, перечисляющие императорские титулы:

IMPERATOR
CAESAR VESPASIANUS PONTIFEX MAXIMUS
TRIBUNICAE POTESTATIS PATER PATRIAE
CONSUL III[21]

[21] Примечания: 21

Император Цезарь Веспасиан, великий понтифик, наделен властью трибуна, отец отечества, трехкратный консул *(лат.)*.

Это был сестерций императора Веспасиана, но новенький, понимаете? Отчеканенный каких-нибудь несколько месяцев назад.

Все еще сжимая монету в руке, я чуть отъехал от дома по убегавшей вбок дороге. Остановился, оглянулся на распахнутое кухонное окно. Достал из кармана банкноту достоинством в один фунт, завернул в нее сестерций и закинул в кухню.

Подскакивая на скользких кочках, я ехал по дороге, к подножию холма, не особенно заботясь о сохранности машины. Единственное, что меня волновало, — а вдруг я не смогу проехать и придется возвращаться, снова проезжать мимо того дома, а вдруг я увижу в снегу на мертвой дороге следы.

Слава богу, мне удалось проехать. Я добрался до узенькой асфальтированной трассы, а потом и до какой-то деревушки. Оттуда проселками я в конце концов вырулил на шоссе, ведущее к Марлборо.

Первой после того, как мистер Бенистон закончил рассказ, заговорила тетя Марта.

— Не совсем согласна, что это история не о привидениях, — чуть укоризненно сказала она.

— Но я же не могу утверждать… — с горячностью возразил мистер Бенистон. — Понимаете,

взаправду я видел только… Да, были еще звуки, но я действительно не совсем уверен, что не дремал тогда, и возможно, есть вполне логичное объяснение тому, что я принял за зов трубы… Нет, лишь в одной странности я уверен, единственным настоящим доказательством была та римская монета. Да и она… Можно придумать разумное объяснение даже тому, откуда две цыганки, если это все-таки были цыганки, взяли сестерции Веспасиана и почему сцепились из-за них…

— Новехонькие сестерции? — сухо уточнил Томас.

— Ну… — Мистер Бенистон беспомощно дернул рукой.

— А вы ни разу больше туда не ездили, из любопытства? — спросила Стелла Сэнгри.

— Ездил. Хорошенько все обдумав, я решил вернуться, ну и спросить их прямо, откуда взялись монеты. Но когда я заехал в Солсбери забрать корреспонденцию, выяснилось: в конторе требуют, чтобы я возвратился в Лондон, а там на отпуск пришлось махнуть рукой; в тот раз я больше за город не ездил. Потом отбыл в Индию, началась война, навалилось одно-другое, так что вернуться я смог только через год… Ну вот я и разыскал ту римскую дорогу; но она была заасфальтирована,

а в буковой роще не обнаружилось никакого дома, только развалины ниссеновских бараков[22] да бетонные фундаменты; повсюду валялись щебенка и мусор, какие вечно оставляют после себя военные, висела колючая проволока да еще несколько табличек «Собственность министерства ВВС».



[22] Примечания: 22

Ниссеновские бараки — полукруглые строения из гофрированной стали, спроектированные британским инженером Питером Ниссеном и широко использовавшиеся в Первую и Вторую мировые войны.

Капра[23]



Однажды летом во время войны дела вынудили меня оставить место службы на Красном море и отправиться в Каир. Особенность Каира в военное время заключалась в том, что все, кого вы только знали на Ближнем Востоке, вечно оказывались там по делам одновременно с вами. Разместите посольство, офис государственного министра и ставку главнокомандующего на

[23] Примечания: 23
Перевод Н. Сечкиной.

небольшом пространстве вроде того, что находится между улицей Каср-аль-Айни и Нилом в районе Каср-аль-Дубара, и получите силовое поле, столь же мощное, как сама Судьба: желающих она ведет, нежелающих — тащит. Вне всяких сомнений, если превратности войны сделали из вас профессионального участника конференций, вы перестаете этому изумляться, однако я еще не так долго находился в зоне действия этой тяготеющей силы и потому не мог не испытать естественного удивления, когда в субъекте, что подошел ко мне на улице Ибрагима-паши — на нем были шорты защитного цвета, а мухобойкой в форме конского хвоста на ручке он размахивал, как настоящий каирец, — я узнал человека, которого в последний раз видел шесть лет назад зябко кутавшимся в жилет из овчины и уже отчаявшимся откопать свою колымагу из снежного сугроба на перевале между Хамаданом и Керманшахом.

И вот, столкнувшись с Норманом Кеннишем, персоной безусловно узнаваемой в шумной разношерстной толпе незнакомцев, летним вечером толкущейся на углу улиц Каср-аль-Нил и Ибрагима-паши, и от удивления даже позабыв о двух

продавцах мухобоек, одном драгомане[24] на вольных хлебах и трех форменных нищих, что преследовали меня от самого отеля «Континенталь», докучая льстивыми уговорами и дергая за рукав, я почувствовал, что отметить эту встречу должным образом возможно только за хорошим столом. Была, правда, небольшая загвоздка: этим вечером я должен был ужинать с престарелым дядей Бентамом в Маади. Я объяснил Норману, что как раз и направляюсь в клуб «Дерн» на встречу с дядюшкой.

— Едем вместе, — предложил Норман и кивнул в сторону площади. — У меня там машина.

Я подождал, пока он выедет с парковки и вольется в поток движения на Каср-аль-Нил в великолепном зелено-оранжевом сиянии вечерней зари, и только потом спросил, что же он, собственно, делает в Каире.

— А, так я теперь здесь работаю! — сообщил он тоном, предполагающим, что в этом есть определенный юмор. — Во всяком случае, — он словно бы спохватился, решив все же придерживаться правды, — у меня есть офис и телефон. Что я должен делать, пока непонятно.

---

[24] Примечания: 24
Драгоман — гид-переводчик в странах Востока.

Поездка по одной из самых оживленных улиц Каира в этот вечерний час не способствует разговорам. Высказывания звучат отрывисто и в основном состоят из крепких словечек. Меня всегда поражало, что грязный, бедный воздух Каира, изнуренный и безжалостно истерзанный палящими лучами ежедневного летнего солнца, выдерживает постоянный оглушительный шум, который сотрясает его, когда все население города, непомерно возросшее по причине войны, высыпает на улицы и толкается на тротуарах под непрекращающийся стон автомобильных гудков, плотным облаком повисший над головами от Замалека до Атабы. Сдержаннее всех ведут себя военные, британцы и солдаты доминионов, курсирующие туда-сюда, при этом война, кажется, лишь усилила невероятную способность коренных египтян издавать пронзительные звуки. Крики у них — что-то вроде естественной функции организма, такой же, как потоотделение. Можно и в самом деле подумать, что создавать шум — их главное национальное занятие: в одиночку или группой, посредством собственных голосовых связок или всевозможных механических инструментов, если египтянин не мертв и не спит, он порождает звуки, и чем меньше он, тем

зачастую они громче. Какой-нибудь мальчишка ростом в три фута, что шныряет в людской толчее где-то на уровне колен и, завидев иностранца, тычет ему в лицо газетным листком, может вопить свое: «Новости! Биржевые новости!» (или, как альтернатива военных дней: «Газеда! Свежая газеда!») — так звонко, что его голосок будет разноситься по всей Каср-аль-Нил, из конца в конец, перекрывая адский галдеж толпы. Шума добавляет и все, что движется на колесах, начиная от ветхого наемного экипажа, чей неугомонный возница без конца тянет свою извозчичью песню: «Эй, дорогу справа! Эй, дорогу слева!» — и заканчивая авто миллионера, длинным черным лимузином, который способен стереть вас с лица земли одним лишь гудком клаксона и оскорбительная роскошь которого сияет тем же глянцевым блеском, что и напомаженные черные волосы сидящих в нем левантийцев. А порой, когда автомобильные гудки словно бы набирают воздуха, чтобы затем снова присоединиться к хору, до вашего слуха доносится стрекот коршунов, реющих низко над землей в лучах великолепного заката, звук, похожий на скрип множества огромных грифельных карандашей, царапающих гладкую стеклянную поверхность неба. Гудение,

лязг, вопли, звон — весь этот грохот нарастает, пока не врезается в вас подобно физическому телу, чьи вибрации сотрясают пыльно-оранжевый купол неба на западе и заставляют дрожать сгущающуюся фиалковую синеву зенита над бледными пятнами электрических огней.

К счастью, в клубе «Дерн» даже в военное время было потише. Английский камин со скамьей и кожаные кресла побуждали приглушать голоса в их непосредственной близости, хотя в стены, окружающие это место, бился шум всего Востока.

Дядю Бентама я впервые встретил в Пирее; Норман знал его по Персидскому заливу. Всю жизнь, за исключением четырех лет Первой мировой, дядя Бентам занимался судовым агентированием, но ни в одной компании и ни на одном месте не задерживался надолго. Думаю, зарабатывал он не много; свое дело он знал хорошо, но, как мне казалось, не слишком им интересовался. Его интересовали книги и садоводство — хобби, которым вряд ли стоит особо увлекаться, если каждые два-три года переезжаешь из одного ближневосточного порта в другой. Тем не менее дядя Бентам не бросал своих увлечений и, несмотря на значительные неудобства, связанные с транспортировкой, упорно предпочитал карточным

играм книги. Теперь, в шестьдесят пять, он снял небольшой домик в Маади, намереваясь осесть там и до конца дней выращивать цветы. Все его контакты с Англией, очевидно, давно прекратились; насколько было известно, жены он никогда не имел.

Он ждал нас и, когда мы вошли в гостиную, поднялся с кресла. Дядя Бентам был высок ростом, прям и тощ как жердь. Тонкие серые костюмы, которые он носил все лето, были последовательными копиями, воспроизведенными индийскими портными, и восходили к оригиналу, пошитому в Карачи примерно в начале века. Глядя на эту чопорную прямую спину и расправленные плечи, можно было предполагать, что вид анфас окажется столь же суровым, однако лицо дяди Бентама совершенно не соответствовало фигуре. В его выражении сквозила какая-то невинная открытость, а в голубых глазах, не утративших яркости цвета, легко вспыхивали сочувствие и любовь ко всему человечеству, от генерала Уэйвелла[25] до десятилетнего чистильщика обуви, завернутого в полоску старой отцовской галабеи,

[25] Примечания: 25

Арчибальд Персиваль Уэйвелл (1883–1950) — британский фельдмаршал, главнокомандующий британскими силами в Индии и Бирме в ходе Второй мировой войны.

который с тупой назойливостью клянчил у дяди Бентама разрешения привести в порядок его безупречно начищенные туфли.

Появление Нормана Кенниша дядю не удивило; похоже, он знал, что тот находится в Каире, и предложил Норману отужинать с нами в Маади. Норман согласился, заметив лишь, что должен уехать пораньше, чтобы успеть на встречу.

Как только Старый Каир остался позади, я высунулся из окна Норманова «форда» и наконец глотнул воздуха, содержащего хоть сколько-нибудь кислорода. Когда же мы выехали на дорогу, ведущую к Маади, и блеск широкой реки справа от нас подсветил черные силуэты деревьев, повеяло влажной сладостью возделанных полей, где Нил и ночь общими усилиями творили чудо возрождения египетской пыли, той древней, вечной пыли, которую взбивали человеческие ноги, мотыжили человеческие руки и в которую превращались человеческие кости на протяжении стольких веков, сколько не насчитывает история ни одной другой страны.

Презрев комаров, ужинали мы на крыльце скромного домика дяди Бентама, скрытом от посторонних глаз бугенвиллеями и бегониями. Света небольшой настольной лампы хватало,

чтобы вытащить из супа случайного мотылька, но было маловато, чтобы затмить Вегу, подмигивавшую нам из-за ворсистой верхушки казуарины. Мы с Норманом много говорили о своих передвижениях за последние шесть лет, но дядя Бентам не давал беседе превратиться в обычные рабочие сплетни. Он не хуже нас знал бóльшую часть наших коллег и гораздо лучше — большинство мест, которые нам довелось посетить.

Вскоре после кофе Норман поднялся из-за стола. От бренди он сперва отказался; ему пора было возвращаться в Каир. Однако, рассказывая о своем прошлогоднем отпуске, проведенном в Индии, он невзначай упомянул Сринагар, где дядя Бентам, как выяснилось, побывал в тысяча девятьсот десятом. Норман все-таки взял предложенный бокал бренди, и разговор стал напоминать выдержки из путеводителя по Кашмиру. Мое внимание как-то незаметно переключилось на лягушачий хор. После двух лет на аравийском побережье я успел забыть, с каким воодушевлением обитатели египетских прудов и канав приветствуют восход луны. Мне всегда нравились их голоса, возможно, просто на контрасте ассоциаций: они поют о кувшинках и прохладных зеленоватых

водах, мокрой траве и жирной черной грязи вокруг сочных стеблей. Они напоминают мне, что мир — это не только яркая белизна кораллов и нагромождение камней.

Реплика Нормана о кашмирском олене заставила меня отвлечься от жизнерадостного хора.

— Я добыл два отличных экземпляра, — сказал он.

Неутомимый охотник и меткий стрелок, Норман в тщательно воспроизведенных подробностях поведал нам историю о двух удачных выездах на охоту в Гималаях. Точнее, историю о невероятно длительных, трудных и дорогостоящих приготовлениях к тому краткому мигу наслаждения, когда нажатие пальца на спусковой крючок превращает оленя в оленину. Я не стал интересоваться у Нормана, во сколько ему обошлось это удовольствие, однако сам он явно считал, что затраты того стоили, и, будучи Норманом, получил за свои деньги две секунды торжества, притом что агентство, организовавшее выезд, несомненно, сочло бы справедливой компенсацией стоимости услуг и одну секунду.

— Однако, — добавил Норман, чтобы не показаться чересчур самодовольным, — медведя я так

и не завалил. Да, шикари[26] его выследил, — пустился в объяснения он. — Дело было вечером последнего дня перед отъездом, уже в сумерках. Мы подползли к краю оврага, и старик-охотник указал мне на другую сторону оврага, где на камне что-то темнело. Он утверждал, что это спящий медведь. Видно было плохо — это мог быть как медведь, так и копна сена, очертаний я не различал. Не стоило, конечно, стрелять в темноте с такого расстояния, но я понимал, что второго шанса у меня не будет, и поэтому выстрелил. Это действительно оказался медведь. Я попал в него, но он вскочил и удрал, лишив меня второй попытки. Я пожалел, что вообще стрелял. Как бы то ни было, мы перебрались через овраг и обнаружили на камне кровь. К тому времени уже стемнело, и нам пришлось отложить поиски до утра. Назавтра у меня был всего какой-то час. Шикари сказал, что медведь серьезно ранен. Мы двинулись по кровавым следам, но вскоре они затерялись. Я был вынужден поручить доверше-ние дела шикари. Мне обещали выслать шкуру медведя, как только тот будет найден, однако я, разумеется, знал, что никто ничего не пришлет.

---

[26] Примечания: 26
Охотник-туземец *(хинди).*

Внезапно дядя Бентам выругался и так резко взмахнул рукой над столом, что опрокинул бокал. Несколько секунд он тряс кистью. Захваченный этой историей, он забыл о спичке, при помощи которой собирался разжечь трубку, и, догорев, она обожгла ему пальцы.

Норман снова поднялся из-за стола. Он предложил подбросить меня до Каира, но в тот вечер никаких дел у меня не было и я не имел ни малейшего желания менять прохладу дядюшкиного сада на душный номер отеля. Мы проводили Нормана до ворот, за которыми он оставил машину, понаблюдали, как огни задних фар скрылись за углом сонной тенистой улочки, а после вернулись к ароматам жасмина и дурмана и расположились на крыльце. В Каир я мог вернуться и поездом.

Довольно долго дядя Бентам молчал. Наполнив мой бокал, он откинулся на стуле и закурил трубку, размышляя о чем-то своем. Наконец он прервал тишину.

— Никогда не любил охоту на крупную дичь, — сказал он. — Это просто бойня. Чересчур много крови.

Я всегда считал, что дяде Бентаму претит любая охота, поэтому его интерес к рассказу Нормана об охоте на медведя меня удивил. Я согласился

с ним:

— И хуже нет, когда не убьешь зверя, а только ранишь. Ну Норман хотя бы признает, что тут необходимо действовать умело, если уж взялся.

Дядя Бентам положил трубку на стол:

— Он сказал, что они отправились искать медведя по следам крови, слыхал?

Я кивнул. Я представил Нормана на каменистом склоне: вот он разглядывает подсохшее темное пятно на сером валуне, видит синевато-бронзовые переливы на спинке кружащей над валуном мухи, напоследок обводит взором широкий, пустынный холм, уже позолоченный рассветным солнцем, и неохотно сворачивает преследование. Дядя Бентам, однако, видел не только это.

Некогда был у меня один знакомый (начал он), который очень любил стрелять, но был в этом деле полным дилетантом. Я повстречал его много лет назад в Индии. Точнее, мы тогда вместе оказались в Сринагаре. Он служил в Индийской армии[27], и звали его Томми Лобек. Его навыки стрельбы служили предметом постоянных

---

[27] Примечания: 27

Имеется в виду Британская индийская армия — армия Британской Индии, существовавшая в конце XIX — первой половине XX в.

шуток. Из всех, кого я знал, никто не прилагал столько стараний, чтобы овладеть этим мастерством с такими плачевными результатами, но при этом ни на йоту не терял энтузиазма. Томми не пропустил ни одной экспедиции и ни разу ничего не подстрелил. И все же он не унывал. При своем плоскостопии он был готов пешком прошагать от Траванкора до Тибета ради единственного выстрела в какую-нибудь рогатую скотину, а промазав, так же бодро притопал бы обратно. В свое время он немало пополз ал по Индии на брюхе в наивном заблуждении, что разнообразные маркхуры, муфлоны, олени, горные козлы и прочие осторожные парнокопытные его не замечают, но едва ли добыл хоть волосок с чьей-либо шкуры. По всей вероятности, он даже повадок их не знал. Тем не менее он обожал на них охотиться. Да и на птиц тоже. Одной мысли о том, что где-нибудь в двадцати милях на пруду ночует стая диких уток, было достаточно, чтобы Томми, позабыв покой и сон, подхватился с постели, рванул на машине к пруду, простоял до рассвета в камышах, ежась от холода, и вернулся назад с каким-нибудь, прости господи, бакланом, чайкой или другой столь же невинной и малосъедобной добычей, испытывая при этом огромное удовлетворение.

Над ним беззлобно подшучивали, потому что он и сам любил посмеяться. Он был одним из самых простых и добрых людей, что попадались мне в жизни, и безгранично восхищался мужчинами и женщинами, которые превосходили его знаниями и умениями. У такого, как Томми, можно было бессовестно просить чего угодно, он охотно одолжил бы вам последний грош.

После отъезда из Карачи я на пару лет утратил с ним связь, а позже, в тысяча девятьсот пятнадцатом, неожиданно встретил его во Франции. Во время той войны подобные совпадения случались постоянно. Ну или, по крайней мере, чаще обычного. И разумеется, просто ради того, чтобы продемонстрировать свои возможности, Судьба устроила нам еще одну встречу в Месопотамии. На протяжении примерно года мы виделись довольно часто. Мы оба находились в Басре. Затем Томми ушел вверх по течению Тигра как участник наступления на Багдад, и в следующий раз я увидел его уже на носилках. Он получил тяжелое ранение в голову, и его отправили в Индию. Глядя на него на борту корабля, я думал, что это наша последняя встреча. Турецкая пуля в черепе — я был уверен, что ему конец.

Но Томми всегда называл себя крепким ореш-

ком. Пуля угодила не туда, куда надо. Его вылечили или как минимум подлатали. Он связался со мной после заключения перемирия. Из армии он демобилизовался. О себе сообщил лишь, что в голове у него теперь серебряная пластина и что временами он неважно спит. Он был не мастер писать письма. Затем наша связь снова оборвалась.

После войны я устроился на работу в агентство «Стивен Уилсон и сыновья», а в двадцать втором возглавил филиал в Патрах. Торговля тогда шла не слишком оживленно. Обстановка в Греции была тяжелой — тут и война с Турцией, и прочие напасти. Тем не менее против назначения в Патры я не возражал. Завел себе прелестный маленький садик и вырастил отличные гвоздики — в то время я ими увлекался, рассчитывал вывести сорт черного цвета. Может, и вывел бы, если бы там остался.

Так вот, вернемся к Томми Лобеку. Помню, было летнее утро, чудесная теплая погода. Я сидел в своем нелепом кабинетике со старомодным железным сейфом и выцветшими плакатами на стенах — наша фирма размещалась на первом этаже старого дома и скорее напоминала конюшню, чем офис судоходной компании, — когда

слуга принес мне несколько визитных карточек. Имя на первой ни о чем мне не говорило: капитан с какой-то испанской фамилией, которую я давно позабыл. Зато на второй значилось: полковник Томас Лобек. Я вскочил из-за стола и крикнул, чтобы он входил.

Четыре человека вошли и расположились в помещении. Ей-богу, это была самая чудна́я компания посетителей из всех, кого я когда-либо принимал у себя в офисе. Чудна́я не в том смысле, что на улице я бы обернулся ей вслед, и, возможно, даже не особенно необычная для такого места, как Патры. Пожалуй, я имею в виду, что трое ее членов показались мне весьма странными спутниками того четвертого, которого я знал. Я говорю «знал», но, если честно, ни за что не узнал бы Томми, если бы он сам не представился.

Некогда он был поджарым и крепким, как борзая, загорелым, живым и спортивным. Бедняга, ранение и долгие месяцы в госпитале сказались на нем не лучшим образом. Он еще сильнее похудел, но взгляд его угас. Коричневая от загара кожа покрылась пятнами, лицо цветом напоминало зельц. Глаза покраснели, веки набрякли. Он будто бы постарел на десять лет. Я сразу понял, что причина не только в серебряной пластине. Немалую

роль сыграла еще и стеклянная бутылка.

Перемены в Томми я, конечно, разглядел не сразу. Сначала все мое внимание захватила его спутница, молодая женщина, которую Томми представил как свою супругу. Я и вообразить не мог, что он когда-нибудь женится.

Томми сказал, что ее зовут Диана. Изумился я, однако, даже не из-за того, чьей женой она была. Диана! Помню, таращась на нее из-за своего пыльного письменного стола, я подумал, что в этом имени есть нечто символичное, приносящее удачу. Признаюсь, моей первой мыслью было: «Вот те на! Томми в кои-то веки добыл на охоте трофей. Да еще такую красотку! Счастливчик». А затем, переведя взгляд с нее на него — с Томми, больного, сломленного и раньше времени превратившегося в старика, вся бодрость и задор в котором обратились в прах, на эту полную жизни девушку, созданную для вечеринок, танцев и веселья, — я призадумался и поймал себя на том, что испытываю к Томми нечто весьма похожее на жалость. Странное чувство — она ведь действительно была очень красива. Забавно, что некоторых женщин мы запоминаем по мелочам, вовсе не добавляющим им привлекательности. У Дианы Лобек были сияющие темно-серые глаза,

облако восхитительных золотисто-каштановых волос и длинная изящная шея, но в памяти у меня ярче всего отпечатались две детали ее внешности: необычайно бледная кожа головы на глубоком проборе, разделяющем волосы, — притом что ни до, ни после я не обращал внимания на женские проборы, — и второй штрих: явственная линия, разделяющая кончик носа надвое, можно сказать, ямочка.

Жена Томми была юна и элегантна — одета настолько хорошо, что смотрелась совершенно нелепо в этих грязных, обшарпанных стенах, между моим облезлым столом и шкафом, набитым старыми папками и замызганными конторскими книгами. Я жалел Томми — жалел, что он не нашел эту девушку раньше, до войны и ранения, до того, как состарился. Впрочем, перед войной она была совсем еще ребенком.

Как я уже сказал, в комнату вошли четверо. Третьим был капитан Даго, как выяснилось — аргентинец. С виду он напоминал мелкого испанского дворянина-идальго, прямого потомка

Сида Кампеадора[28]. В форменном мундире, богато отделанном новенькими золотыми галунами, он выглядел молодцевато, точь-в-точь капитан «Мавритании». Он беспрерывно курил сигареты и за все время не проронил ни слова.

Томми также держался немногословно. Больше всех говорил четвертый визитер. На самом деле мое определение «чудной» к нему не подходит, ибо людей такого сорта можно встретить на каждом шагу и в Каире, и в Александрии, и вообще в любом городе Леванта. Чудны́м я находил другое — не понимал, что общего у Томми Лобека с этим типчиком. В старые времена Томми был вежлив, дружелюбен и терпим к самым разным людям, но имел одну особенность мышления: он будто бы проводил невидимую линию через всю Европу, скажем, от Москвы до Бордо с небольшим прогибом посередине и захватом Швейцарии, и всех, кто находился выше этой линии, называл белыми, а всех, кто ниже, — цветными. Из уст самого Томми я этих слов не слышал, однако все свои прежние дружеские связи он заводил

[28] Примечания: 28

Сид Кампеадор (наст. имя Родриго Диас де Бивар; 1041/1054–1099) — знаменитый кастильский дворянин, полководец и деятель Реконкисты, национальный герой Испании, главный персонаж многочисленных преданий, поэм, романсов и драм.

явно с учетом «линии цветных». Ив Фальзон, как представился этот молодой человек, определенно был тем, кого любой, разделяющий взгляды Томми Лобека, но не наделенный его учтивостью, назвал бы «цветным». Сам он назвался французом. Французский паспорт у него, несомненно, был, и разговаривал он на бойком и гладком левантийском французском, довольно бегло и намного лучше, чем на английском, и все же мне он напоминал обычную колбаску-чиполату, приготовленную на Востоке строго по рецепту, но крепко сдобренную еврейским соусом и засунутую во французскую синтетическую оболочку. Не старше тридцати, он был привлекателен на южный манер, когда ценится плоть, а не кости; «спортсмен», по выражению французов, и, как я догадался, большой мастак в самых дорогих и зрелищных видах развлечений на открытом воздухе.

Никто не мог являть большего контраста с бедным Томми Лобеком в его нынешнем состоянии, чем этот Фальзон со своим бронзовым телом, горячей кровью и кипучей энергией. Легко было представить, как он красуется на пляже, демонстрируя мускулы, фигуру и загар, и делает это с надменным щегольством, еще более невыно-

симым из-за того, что похвастаться есть чем. Когда он говорил со мной, я заметил кое-что, что придавало ему особую индивидуальность и не позволяло мне причислить его к типичным богатым и кичливым левантийским плейбоям: чарующие глаза. «Чарующие» в моем понимании — это такие, которые и притягивают, и отталкивают сразу.

Разумеется, они были темными и жаркими, с озорным и даже насмешливым огоньком, и в то же время горели нескрываемой злобой — самой отвратительной злобой маленького мальчика, который в полной мере сознает собственную пакостность и наслаждается каждой секундой страданий жертвы, мечтающей от него избавиться. У Фальзона были глаза человека, питающего чрезмерное любопытство к своим собратьям.

Как оказалось, о том, что я в Патрах, Томми Лобек узнал только этим утром. Они совершали круиз на яхте, принадлежащей родственникам Дианы. Яхта называлась «L'Abeille» — «Пчелка», ходила под французским регистром, и аргентинец-идальго был на ней капитаном. Один из членов экипажа заболел, его требовалось списать с судна и переправить во Францию; кроме того, предстояло уладить еще парочку деловых вопро-

сов. Капитан порта сказал, что агентская компания Уилсона согласится выступить временным агентом яхты, и после этого Томми обнаружил, что управляющим у Уилсона служу я.

Делами занялся мой подчиненный, мистер Пападопуло, а меня пригласили пообедать на борту «Пчелки». Там нас дожидалась еще одна участница круиза, седовласая французская художница в бесформенном длинном балахоне, на вид пошитом из мешков для муки, скверно выкрашенных в грязно-фиолетовый цвет. Фамилию этой дамы я давным-давно позабыл, если вообще помнил. Все звали ее Маркизой; может, она и вправду ею была. Помимо Маркизы на яхте к нам присоединился первый помощник капитана, тоже аргентинец, молодой мужчина, похожий на Рудольфа Валентино[29].

Он, Фальзон и Диана говорили больше всех, умудряясь производить невообразимый гвалт. Перед ланчем мы выпили много джина и узо, во время него — много вина, и за столом царило какое-то бесконечное веселье, объяснить причи-

---

[29] Примечания: 29

Рудольф Валентино (Родольфо Альфонсо Раффаэло Пьерри Филиберт Гульельми ди Валентино д'Антоньолла; 1895–1926) — американский актер итальянского происхождения, знаменитый герой-любовник немого кинематографа.

ны которого я бы не смог. Фальзон был главным остряком, и, несмотря на все спиртное и общую атмосферу шумной задушевности, я, к своему неудовольствию, начал замечать, что целью насмешек Фальзона является Томми. Более того, только слепой не увидел бы, что Фальзон постоянно выделывается перед Дианой, распушая перья, как индюк.

Томми пил, хлопал глазами и среди громкого смеха и трескотни немного поговорил со мной о былых временах. Мне показалось, что ему все еще досаждает ранение: лицо его то и дело подергивалось, словно от болезненного нервного тика.

Как оказалось, вся компания была приглашена с недельку погостить у Леонидаса Ставруло в Скантросе, что в Акарнании по другую сторону Коринфского залива. Леона Ставруло я знал очень хорошо. Он был богат, как Крез, и, если верить поговорке, в то время в Греции какой бы камень ты ни перевернул, непременно обнаружил бы под ним Леона. В прошлом наша агентская компания вела с ним дела, и один раз мне довелось побывать на его вилле в Скантросе. Фальзон, как видно, тоже был близко знаком со Ставруло и в Греции чувствовал себя как дома. На греческом он говорил свободно.

— Дадим Томми пострелять, — сказал он.

Томми спросил меня, на кого можно поохотиться в Скантросе. Я понятия не имел, но предположил, что там могут водиться куропатки.

— Какие куропатки? — воскликнул Фальзон. — Я всю дорогу повторяю: Томми непременно подстрелит горного козла. Он мне не верит. Клянусь, я знаю единственное место в Греции, где водятся горные козлы. Ибексы, со здоровенными рогами.

Выразительный английский и всегдашний хитроватый вид Фальзона не позволяли понять, издевается он или говорит всерьез. Насколько мне было известно, на склонах гор вокруг Скантроса вполне могли обитать дикие козлы. Я даже смутно припоминал, что видел немало самых разных рогатых голов на стенах псевдотюдоровского зала в доме Ставруло. Поэтому, когда Томми с проблеском былого энтузиазма задал мне вопрос, я мог лишь подтвердить, что встретить диких козлов в Скантросе вполне вероятно. Позднее я пожалел, что не обладал более точными сведениями.

Было в этой теме что-то такое, чего я не мог уловить: какая-то шутка для посвященных. При любом упоминании горного козла Диана и Фаль-

зон хихикали и прыскали, молодой помощник капитана гоготал, а Маркиза криво ухмылялась. Улыбка мелькала даже в складках вытянутого лица капитана, и лишь один Томми важно кивал, воспринимая разговор всерьез. Что ж, мы с вами тоже можем пошутить над вашим приятелем Кеннишем: мол, потратил несколько сотен фунтов и отправился за две или три тысячи миль, просто чтобы убить живое существо, которое лично мне представляется чем-то о четырех ногах и двух рогах, да еще и вонючим, но Кенниш шутки не поймет.

Расстались мы только к вечеру, а на следующий день Леон Ставруло пригласил меня провести выходные в Скантросе. Яхта шла в Нафпактос, и я тоже отправился на ней вместе со всей компанией.

Скантрос — это крошечная горная деревушка. В те времена дорога к ней представляла собой тропинку для мулов, с которой в лучшем случае откатили в сторону пару-тройку самых крупных валунов. Автомобиль Леона проезжал по ней с трудом.

Чтобы добраться до виллы, сперва нужно миновать деревню, чьи маленькие каменные домики лепятся к склонам долины, точно ласточкины

гнезда — к стене, затем преодолеть лощинку, по которой сбегает горный ручей, и тогда вы попадете в другую небольшую долину, где и стоит дом Ставруло. Хозяин потратил на него кучу денег. Окружающие склоны были террасированы и возделаны; перед домом устроена широкая ровная площадка — Леон даже ухитрился разбить газон и вырастить парочку кедров для создания тенистого уголка. Соседние холмы покрывало естественное редколесье, и Леон высадил на них немало молодых елей, каменных сосен и кипарисов. Благодаря высокогорной прохладе солнце не изжаривало это место дочерна, в отличие от низин. Там цвели цветы, ярко зеленели трава, виноградные лозы и ореховые деревья. В воздухе стоял приятный аромат теплой сосновой смолы.

Дом у Леона Ставруло большой, и стилей в нем намешано так же много, как в самом Леоне — различных культур и пристрастий. В одно время он увлекся Англией. Холл, например, обшит панелями; есть огромный кирпичный камин и деревянная лестница, а еще, разумеется, рыцарские доспехи и уйма охотничьих трофеев.

Псевдотюдоровский стиль особенно неудачно смотрится в стране, где все просит сплошного мрамора и широких колоннад для защиты от

солнца в освежающей прохладной тени. Я поделился этим наблюдением с Томми, однако того интересовали исключительно развешанные на стенах головы. Фальзон немедленно вспомнил шутку о диком козле. Само собой, козлиная голова там тоже висела; козел скорее был обычным, нежели горным, но, как положено, с рогами, бородой и вставными глазами из желтого стекла. Томми поинтересовался происхождением трофея. Леон — бьюсь об заклад, он и внимания не обращал на эту голову, — уже собирался пожать плечами и, вероятно, сказать, что, если гостю так интересно, он поднимет счет от оформителя, и тут вдруг Фальзон вмешивается в разговор и с абсолютно невозмутимым видом и массой подробностей сообщает, что этого козла подстрелил местный охотник, какой-то там Нико, на крутых склонах Вардусских гор. Поскольку Томми глядит на него с недоверием, Фальзон призывает в свидетели молодого Георга Ставруло, и тот, будучи посвящен в смысл шутки, клянется, что это святая правда. В придачу Георг открывает какую-то книжку на французском, ищет в ней точное название животного, и Фальзон, тыча пальцем в страницу, восклицает: «Вот! Вот он: *Capra*

Aegagrus[30]. Видите, в справочнике написано, что этот вид обитает в Греции. Капра эгагрус!»

Несмотря на злой огонек в глазах Фальзона, я и сам уже почти ему верил. Мне подумалось: просто у него такой вид, что, даже когда он говорит правду, все равно кажется, будто он тебя разыгрывает. Кроме того, пускай меж собой они и потешались над этой шуткой «для своих», какой смысл выдумывать, что горные козлы обитают в определенной местности, если это не так? Фальзон поставил точку в вопросе, заявив, что предъявит нам охотника, который добыл этого конкретного козла и готов вместе с Томми отправиться в Вардусские горы, дабы показать ему точно такую же особь.

— Не обещаю, что вы подстрелите этого зверя, — сказал Фальзон, подмигнув за спиной Томми, — это уж дело ваше. Но держу пари, что Нико выведет вас на превосходный экземпляр. Если этого не произойдет, плачу вам сотню фунтов!

Тогда я решил, что, вероятно, был несправедлив к Фальзону. Мне было отрадно видеть, как оживился Томми в предвкушении охоты. Я даже

---

[30] Примечания: 30

Безоаровый козел *(лат.)*. Парнокопытное млекопитающее из семейства полорогих, предок домашней козы.

начал думать, что насмешки Фальзона способны дать терапевтический эффект, если, вызвав у Томми раздражение и злость, помогут ему стряхнуть оцепенение и вновь почувствовать интерес к жизни. Георг Ставруло, насколько я знал, не был жестоким человеком; безмозглым — да, но не бессердечным. Пускай в Вардусских горах и нет никаких козлов, но старик Томми повеселел от одних разговоров об охоте, и экспедиция в горы доставит ему большое удовольствие.

Тем же вечером, пока Томми не успел напиться до той степени, когда не ворочается язык, обо всем было договорено, и Георг послал гонца к охотнику Нико. Предполагалось, что Томми, Георг и Фальзон уйдут в горы на неделю. По размышлении я отметил для себя важную вещь: в охоте участвовал Фальзон. Томми оставит Диану одну, однако Фальзона рядом с ней не будет.

На следующий день мы пошли на прогулку: я, Диана, Георг Ставруло и, конечно, Фальзон. Георг повел нас вверх по ручью, чтобы показать его исток, и пообещал, что нас ждет нечто удивительное. В верховье долины скальные выступы образовывали пещеру, из которой и вырывался поток; он обрушивался на валуны белым каскадом, а потом наполнял озерцо, которое окружал

зеленый луг, усыпанный цветами и сохранявший свежесть благодаря брызгам воды. Солнце заливало лощину, но купа тополей и платанов укрывала луг от палящих лучей, и трава под деревьями была высокой и прохладной. С одной стороны склон был голым, утыканным огромными стоячими камнями, с другой стороны он порос лесом. Озерцо, полукруглое по форме, было отчасти искусственным. Его обрамляла старинная каменная кладка, над которой к воде склонялись травы и папоротники; с ближней стороны бережок отлого спускался, переходя в небольшой белопесчаный пляж, и через удивительно прозрачную воду было видно дно из такого же чистого белого песка. В древности подобное место служило бы святилищем какого-нибудь бога.

Само собой, больше всего Георгу хотелось показать нам несколько рядов сохранившейся каменной кладки неподалеку от озерца, у подножия лесистого склона. По его словам, эта кладка представляла собой остатки фундамента древнего храма. Над развалинами нависали смоковницы и оливы, а за ними холм покрывал густой лес из шаровидных сосен и каменных дубов. Местечко было прелестное, с удивительным контрастом золотых скал и затененной зелени

травы, жаркого солнца и сверкающей воды, что так и манит окунуться. Я вообразил себя мирно дремлющим после обеда на опушке этого леса, где воздух напоен и прохладным запахом сырой земли, и теплым ароматом сосен. Диана заявила, что каждый день до отъезда будет приходить сюда на утреннее купание. Подобные уголки все еще встречаются в Греции, хотя в наше время редко остаются такими зелеными и чистыми. Трава, как правило, бывает пощипана козами, а берега источника вытоптаны и замусорены. Но это место, разумеется, было частью владений Ставруло, и хозяин поддерживал его чистоту и привлекательность: он гордился, что может показать гостям греческий храм.

— И кому же посвящен этот храм? — спросила Диана.

Георг смущенно признал, что не помнит, но тут вмешался Фальзон.

— Артемиде-охотнице, — пафосно сообщил он и широко повел рукой, намекая, что Диана может чувствовать себя здесь хозяйкой. — *Diane des Romains*[31].

Вместе с нами к озерцу подошел и старый садов-

---

[31] Примечания: 31
Здесь: «У римлян — Диана» *(фр.)*.

ник. Пока Фальзон показывал Диане развалины, хотя едва ли он знал о них больше Георга, последний повернулся к старику и сурово сказал ему что-то насчет козьих следов на песке. Конечно, если не следить за нахальными дикими козами так же бдительно, как мисс Бетси Тротвуд[32] следила за ослами, очень скоро на таком лугу не останется ни травинки. Не потрудившись взглянуть на следы, садовник покачал головой и пробурчал что-то неразборчивое, в чем я расслышал весьма сердитое возражение: старик явно отказывался верить, что сюда могут забрести козы. Георг, стоявший рядом с цепочкой следов, выругался и прямо спросил, не держит ли работник его за дурака. Дескать, кто еще мог их оставить? Садовник подошел поближе, склонился над следами, и тут, очевидно, Георг произнес что-то крайне резкое, потому что старик в своих мешковатых штанах мгновенно выпрямился, как если бы его пнули под зад, и со всех ног пустился бежать по тропинке обратно в сад. Помню, я подумал, что неплохо бы заучить пару слов из тех, что употребил Георг: возможно, они благотворно подействуют на посыльного в моей конторе.

---

[32] Примечания: 32

Бетси Тротвуд — персонаж романа Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфилд» (1850), эксцентричная тетушка главного героя.

Фальзон соловьем разливался на тему Артемиды и бессовестно флиртовал с Дианой, причем в глазах его продолжала гореть все та же недобрая усмешка. Я догадывался, какие мысли вызывает в нем это место.

Пройдя через лес, мы поднялись по склону горы и вышли на голую вершину. Здесь не было ничего, кроме бледно-серых камней, изъеденных непогодой, выжженной солнцем земли и огромных зарослей увядающих асфоделей. Диана взглянула на поникшие листья и жесткие сухие стебли — на некоторых еще оставалось по одному-два бледных цветка — и разочарованно протянула:

— Это и есть асфодели? Какие скучные цветы! Какое, должно быть, скучное место — Элизиум, если там были такие цветы.

Фальзон, помнится, с силой наступил на одно из растений и неожиданно мрачно произнес:

— В Элизиум отправлялись души мертвых.

Мы ненадолго задержались на вершине. Под голубым небом было тихо и сиротливо. Каменистый склон полого спускался к югу, и от того места, где мы стояли, до самых утесов был совершенно диким. Внизу синел Коринфский залив, по которому ходили суда.

В тот уик-энд мне не выдалось возможности поговорить с Томми наедине. И даже если бы выдалась, вряд ли он стал бы делиться со мной своими тревогами. Мы с ним никогда не были настолько близки. Все было ясно и так. Я убеждал себя, что это не мое дело, но все равно не мог не огорчаться. Томми был слишком хорошим человеком, чтобы эти люди обращались с ним подобным образом. Естественно, теперь до меня дошел смысл шутки про дикого козла. Старый рогоносец… Приятного мало. И все же, знаете, глядя на Диану, мне с трудом верилось, что она такая дрянь.

За воскресным ланчем Леон объявил, что в следующую субботу устраивает костюмированную вечеринку и мы все приглашены. Еще он позвал своих друзей из Патр и кое-кого из Афин. Вечеринка обещала быть скромной, но веселой. Веселой и дерзкой, уточнил Фальзон.

Он, Томми и Георг должны были отправиться в горы в понедельник утром. Охотник Нико предстал перед нами и поклялся всеми греческими святыми найти в Вардусских горах дикого козла. Леон Ставруло на два дня уезжал в Афины, Маркиза и Диана оставались на вилле в Скантросе.

Вечером воскресенья я вернулся в Патры. Фаль-

зон вместе со мной доехал на машине до деревни. Медленно проезжая по деревенской улочке, мы миновали беднягу-садовника, того самого, которому Георг Ставруло недавно устроил выволочку из-за козьих следов. Старик разговаривал с деревенским священником. Я запомнил эту подробность только потому, что Фальзон из окна автомобиля выкрикнул в их адрес какую-то шутку, судя по всему, неприличную, потому что оба оглянулись на нас с чрезвычайно возмущенным видом. Фальзон велел шоферу остановиться возле небольшой скорняжной лавки. Я понятия не имел, что ему там понадобилось, но, когда начал расспрашивать, он лишь хитро ухмыльнулся и важно вошел в лавку. Я уехал, оставив Фальзона учить скорняка с подручными выделывать шкуры…

Дядя Бентам умолк и показал на приставной столик, где стоял виски. Я протянул ему бутылку, но он покачал головой и, неотрывно глядя на свой пустой бокал, принялся катать его по столу. Я заметил, что пение лягушек стихло, а луна, запутавшаяся в казуаринах, поднялась выше. Когда я сел на место, дядя Бентам продолжил рассказ.

Леон Ставруло пригласил к себе британского

вице-консула в Патрах. Костюмированные вечеринки — страшная скукота. Сталкиваешься с непростым выбором: то ли нарядиться и выглядеть идиотом, то ли не наряжаться и чувствовать себя стариком. Впрочем, еще в молодости я приобрел один карнавальный костюм и с тех пор надевал его каждый раз, когда отвертеться не удавалось. До войны, находясь в Багдаде, я купил полный комплект арабской мужской одежды: ну, знаете, головной платок в красно-белую клетку, черно-золотой агал, длинную белую рубаху и поверх нее свободный коричневый плащ — аба, так вроде он называется? За пределами арабских стран этот наряд смотрится довольно экзотично, а главное, он и удобен, и позволяет выглядеть достойно. Правда, надо признать, он не слишком оригинален. У вице-консула тоже имелось в запасе подходящее облачение. Он служил во флоте и однажды при пересечении экватора выступал в роли Нептуна. Для вечеринки у Леона он надел этот же наряд, прицепил к нему еще несколько пучков сушеных водорослей — собственно, костюм по большей части и состоял из сушеных водорослей и зеленой рыболовной сети, под которой все же было пристойное одеяние, — обновил древко на своем трезубце, и мы оба сочли, что к

вечеринке готовы.

Ранним утром в субботу мы переправились через залив на баркасе и наняли двух мулов, чтобы добраться до Скантроса. По времени вышло почти как на машине, а на отдельных участках мулы передвигались даже быстрее автомобиля.

Прибыв на виллу незадолго до ланча, мы никого не нашли. Охотники, очевидно, еще не вернулись, а Леона с его афинской компанией ждали только к вечеру. Вице-консул на вилле раньше не бывал, однако был изрядно о ней наслышан. Мы стояли посреди холла и шутили над феодальным стилем Леона, всеми этими поддельными доспехами, буйволиными и кабаньими головами, купленными по каталогу у какого-нибудь лондонского чучельника, и, зная, что мой спутник объехал всю Грецию, я уже хотел спросить его о голове дикого козла, но, оглянувшись на стену, обнаружил, что она исчезла.

Я устроил вице-консулу экскурсию по саду. Цветы, надо сказать, его особо не интересовали. Несколько минут спустя он сказал:

— Говорят, где-то в поместье Ставруло сохранились развалины храма. Я бы хотел на них взглянуть.

— Точно, — подтвердил я. — Идемте, я знаю,

где это.

Я повел его вверх по долине к истоку ручья. У озерца сидела Диана. Болтая пальцами ног в воде, она расчесывала волосы, будто русалка. Я представил ей вице-консула и, заметив на траве рядом с ней полотенце, поинтересовался, как водичка.

— Вода просто изумительная, — ответила Диана. — На этой неделе я почти все время провожу здесь.

Я выразил надежду, что, оставшись в одиночестве, она не скучает, но совсем забыл о Маркизе. Я обвел глазами песок: повсюду были следы женских ног, а еще мне бросилось в глаза, что в отсутствие Джорджа садовник определенно не спешил бороться с нашествием коз — свежие отпечатки козьих копыт вели к воде. Не знаю, что подумала Диана, проследив за моим взглядом, однако она зарделась и натянуто произнесла:

— Все остальные соберутся к ланчу.

После она завела разговор с вице-консулом о храме и воодушевленно пересказала ему версию Фальзона о том, что храм возвели в честь богини Дианы. Он рассмеялся:

— Вы не совсем верно поняли.

Наш спутник обладал весьма обширными по-

знаниями в греческой археологии. Сведений об этом сооружении было немного, однако вице-консул назвал несколько книг, в которых оно упоминалось.

— С большой вероятностью можно утверждать, что храм был посвящен Пану, — сообщил он. — Это одно из немногих его святилищ в Греции. Единственное, известное мне помимо этого, находится в Аркадии. Конечно, если не считать пещеры Пана на Акрополе.

Услышав это, Диана ничуть не расстроилась. Она жадно проглотила льстившую ей байку Фальзона, однако храмовая археология увлекала ее примерно так же, как кошку — узоры на кувшине со сливками. С легким удивлением она поинтересовалась:

— Пану? Вы имеете в виду то существо — фавна? Надо же! Так вот что навело Ива на мысль. Теперь понимаю. Он болтал о богине, просто чтобы заморочить мне голову.

Мне не верилось, что Диана так простодушна.

— И на какую же мысль это навело Ива? — спросил я.

Она состроила загадочную рожицу, словно маленькая девочка:

— А вот и не скажу! Это секрет. Какой костюм

вы приготовили для сегодняшнего вечера?

И она принялась щебетать о предстоящей вечеринке, бросая дразнящие намеки о наряде, в котором собиралась выйти к гостям.

Я обратил внимание, что после ее ухода вице-консул предпочел говорить исключительно о развалинах храма. По правде сказать, выглядели они весьма скромно, однако осведомленность вице-консула об истории этих руин впечатляла, и я даже решил, что мне и самому неплохо бы почитать о Древней Греции.

Когда мы вернулись в сад, там уже были Маркиза и молодой Георг Ставруло. Вид у Георга, как мне показалось, был сконфуженный. Я осведомился, как прошла охота, он скорчил гримасу и пообещал рассказать позже. Томми, по его словам, находился в доме. Георг и вице-консул вместе удалились, а я собрался найти Томми, но меня задержала Маркиза. Странная это была особа. Почти глухая, она всегда говорила со мной тихо и торопливо, разумеется, на французском, который я разбирал не без труда. Это, однако, не имело значения, поскольку ответов от меня не требовалось. Маркиза как будто заранее знала мнение собеседника и отвергала его прежде, чем он успевал открыть рот.

Она бродила среди гераней, и они ей не нравились, поскольку уже отцветали.

— Вы были в храме Аполлона? — спросила она.

— Пана, — поправил я.

— Ничего в нем особенного, в этом храме Аполлона. Была я там, — протараторила она на одном дыхании. — Интереса не представляет. Разумеется, с точки зрения археологии… Вы, конечно, читали книгу такого-то. Но эстетически… Такова Греция. Страна для ученых. Для людей искусства — почти сплошное разочарование. Да, романтичное местечко. Молоденькой Диане оно нравится. Имеет для нее свою привлекательность. И все-таки, сказала я ей, негоже купаться там в одиночку. Но…

Поразительно, сколько терпимости к молодой женщине и послевоенному слому стереотипов выразила Маркиза одним движением плеч и раскрепощающим взмахом руки. Я громко и отчетливо сообщил, что это место находится в частных владениях, и жестом попытался изобразить уединенность.

— Владения частные, верно, — кивнула Маркиза. — Но тот лес… Я бы поостереглась. Она чересчур храбрая. Не следует так оголяться. Все из-за бедного Томми; зря он ее оставляет одну…

Она скучает. Да еще этот Фальзон. Обратили внимание? Разыгрывать комедию — это одно, а… Вчера я так ему и сказала… Ну да, Фальзону. Я сказала…

Наверное, мой голос показался громким даже ей. Она посмотрела на меня с удивлением:

— Разумеется, он был здесь вчера. И позавчера тоже…

Вероятно, она задавалась вопросом, какое мне до этого дело. По пути к дому я спрашивал себя о том же. Много лет назад я был другом Томми, но теперь он принадлежал к другому кругу. Его жена и все остальные были для меня чужаками. Само собой, она могла мне солгать. На свете нет ничего естественней. И ничего глупее, чем беситься по этому поводу.

Вышло так, что первым я встретил не Томми, а самого Фальзона и вместе с ним еще двух-трех патрийских друзей Леона, только что приехавших из Нафпактоса на машине. Стоя в холле, они слушали Фальзона и покатывались со смеху. Я очутился в западне и, прежде чем сумел сбежать, получил ясное представление о затее, которую провернули Фальзон и Георг Ставруло. Даже не узнай я об этом в ту минуту — и тогда недолго бы оставался в неведении. Фальзон был похож

на молодого петуха, что кукарекает без умолку. Он потратил на розыгрыш уйму сил и средств и сейчас твердо намеревался получить свою долю триумфа и славы. С обеда и до самого вечера история обрастала все более красочными подробностями и завоевывала все больше одобрения слушателей.

От Томми я узнал только факты. Шутка была довольно примитивной. Возможно, пятнадцать лет назад Томми и сам бы над ней посмеялся или устроил нечто подобное, но в ином духе, нежели Фальзон.

Итак, Фальзон организовал обычный выезд в горы. Он, Томми, Георг Ставруло и охотник Нико отправились в путь верхом на мулах, а позади них шел караван вьючных мулов с походным снаряжением и большим количеством еды и вина. Через несколько дней неторопливой поездки они достигли небольшой деревушки у Вардусских гор, родного селения Нико. Путешествие могло доставить немало удовольствия, если бы, конечно, не Фальзон. Я отлично понимал, что для Томми присутствие Фальзона было той самой ложкой дегтя в бочке меда. Фальзон напоминал кусачую муху, что норовит испортить послеобеденный отдых, о котором ты мечтал с самого

утра после тяжелой ночи. Как и кусачую муху, прихлопнуть его было невозможно.

В деревушке члены отряда условились назавтра встать в три часа утра и подняться на утесы, где предположительно обитали горные козлы, как вдруг Фальзон заявил, будто бы через жандарма получил известие, что в Скантросе его ждет срочная телеграмма из Парижа и что он должен немедленно возвратиться. Он все бросил и, вверив экспедицию заботам Нико, уехал в ночь. Томми принял все это на веру и наутро с энтузиазмом отправился на утесы в компании Нико. Георг изначально не собирался никуда лезть. И вот наш Томми час за часом упорно карабкался вверх, сперва в ночном сумраке, потом при свете зари и затем под палящими лучами солнца. Вдвоем с проводником они преодолели не одну милю, поднимаясь все выше и выше. Разумеется, Нико водил Томми кругами, как ему и было велено, но, даже выходя на уступы, с которых открывался вид прямо на деревушку, откуда начался их путь, Томми все еще не понимал, что его разыграли. Он не был уверен, что деревня та самая, поскольку прибыл туда после наступления темноты. Он заметил, что, по его мнению, для диких козлов места как-то близковаты от

человеческого жилья, но, правда, в Греции он раньше не охотился. Конечно же, он совершенно не понимал своего проводника и мог лишь ориентироваться на его жесты. По словам Томми, Нико держался как настоящий шикари, и после еще более долгих и утомительных блужданий, когда Томми уже валился с ног, Нико начал знаками показывать, будто что-то видит. Томми навел бинокль на то место, куда указывал Нико, но ничего не разглядел. Тем не менее они решили провести тщательную разведку; не жалея сил, Томми полз вверх со всеми охотничьими предосторожностями: прятался за камнями, пригибал голову и все такое прочее. Чем ближе они подбирались, тем больше его охватывал азарт, и только когда Нико выпрямился в полный рост и с видом человека, окончившего труды, принялся сворачивать папироску, до Томми дошло, что его провели. Они оказались на каменном уступе высоко над деревней, где и в самом деле было множество следов присутствия не только коз, но и пастухов, а на одном из валунов красовалась демонстративно выставленная козлиная голова из дома Ставрулло, старое набитое чучело с приколотой к нему поздравительной открыткой от Фальзона. Тут же рядком сидели мужчины из деревни, старые и

молодые. Очевидно, когда Нико прошлой ночью, срезав путь, пробрался сюда, чтобы водрузить на камень козлиную голову, они последовали за ним и уселись в ожидании потехи.

Нико курил свою папироску, отдыхал и ухмылялся, смею предположить, даже не догадываясь, что пачка драхм у него в кармане — слишком низкая цена за вероятный риск, которому он подвергался. Но Томми просто жестом велел ему забрать голову и кратчайшей дорогой отвести его обратно в деревушку. Георгу он не сказал о розыгрыше ни слова, и тот, не обладая наглостью Фальзона, вернулся из похода удрученный и пристыженный достоинством, с каким держался Томми. Когда же он сделал неуклюжую попытку оправдаться, Томми отмел его роль в затее столь же холодно, сколь и вину Нико.

Я вернулся вниз, убежденный, что Томми и сам розыгрыш воспринял лишь как самый оскорбительный способ, какой только Фальзон мог измыслить для того, чтобы, избавившись от него, провести несколько дней наедине с Дианой. Рассказывая мне эту историю, Томми ни разу не упомянул жену, но явно подразумевал, что я знаю все, что должен знать. Спускаться к ланчу он отказался и весь день провел, закрывшись в

своей гардеробной с бутылкой виски.

Восторга по поводу грядущей вечеринки я не испытывал; друзья Леона Ставруло меня особенно не интересовали, а после случившегося я ждал вечера еще меньше. Чванливое ликование Фальзона было невыносимо. Это было не просто бесстыдное торжество похотливого молодого бычка, одержавшего победу над старым. Дайте только типу вроде Фальзона шанс унизить англичанина, и вся его затаенная злоба раба вылезет наружу.

Притворная уверенность Дианы в том, что ее муж и Фальзон — лучшие друзья, неимоверно раздражала. Увидев, как она смеется над шуткой, сыгранной с Томми, я был готов влепить ей пощечину. С другими женщинами, развращенными дурами, которых пригласил Леон, все было более или менее понятно: они относились к тому же сорту людей, что и Фальзон. Ну и компания подобралась, я скажу! Бог свидетель, я достаточно насмотрелся на подобное общество, но до сих пор оно порой вызывает у меня отвращение. Не знаю, что не так с левантийцами, живущими в городах: дело не только в богатстве, эгоизме и любви к показной роскоши, в напыщенности речи и манер, не только в поверхностности их культуры или

полном ее отсутствии и не только в их жадном стремлении к деньгам. Возможно, причина в том, что у них ничего нет, кроме денег. Они никогда не отряхали с подошв землю.

Дом наполнился гулом французского и греческого, и Фальзон чувствовал себя в своей стихии. К вечеру из Афин возвратился Леон, который привез с собой трех-четырех друзей, в том числе молодую пепельную блондинку, похожую на артистку кабаре. Также на виллу приехала чета Маркополи, сестры Клитос из Патр, еще кое-кто и, разумеется, капитан и первый помощник с «Пчелки». К шести или семи вечеринка была в полном разгаре, шампанское лилось рекой, атмосфера была оживленной. Точнее, очень непринужденной — по крайней мере для Фальзона, пепельной блондинки из Афин, миссис Маркополи и парочки других гостей.

Веселье ненадолго прервалось, когда все пошли переодеваться в карнавальные костюмы. Это не отняло у меня много времени, и, облачившись в свои арабские одежды, я быстро спустился, рассчитывая застать вице-консула одного, пока не вернулся Маркополи, который не отходил от него почти весь вечер. Я хотел предупредить его и попросить помочь мне развести Томми и Фаль-

зона подальше друг от друга.

Он стоял на террасе и беседовал с Маркизой. Перекинув один конец рыболовной сети через локоть, из-за чего обнажились волосатые икры, он неторопливо курил; сигарета тлела в окружении густых и весьма огнеопасных бакенбард. Наряд Маркизы представлял собой один из ее обычных мешковатых балахонов с разбросанными по нему звездами, полумесяцами и знаками Зодиака. Видимо, она воплощала собой образ Ночи, Астрологии или чего-то в этом роде. Голову Маркизы покрывала черная газовая вуаль. Поговорить с вице-консулом я не успел: толстый коротышка Маркополи снова был тут как тут; замотанный в белую простыню, он уже декламировал что-то на, возможно, древнегреческом. Шанс был упущен.

Я побрел обратно в холл. В одном его углу рассаживались музыканты; они крутили колки своих скрипок, и протяжные, визгливые звуки, которые инструменты издавали при настройке, в целом не слишком отличались от легкой музыки, обыкновенно сопровождающей подобные вечеринки. Слуга подавал оркестрантам канифоль для смычков.

Слегка покачиваясь и вперив взгляд в стену, на другом конце холла стоял Томми, одетый в

смокинг и с бокалом виски в руке. Он был пьян и свою речь адресовал старой козлиной голове, возвращенной на прежнее место над панельной обшивкой, между головами двух каких-то длиннорогих быков. Я взял Томми за локоть в надежде увести его прежде, чем кто-нибудь войдет. Он не обратил на меня внимания и продолжал монолог, обращенный к козлу. Кажется, Томми пытался убедить ветхое чучело со стеклянными глазами, что чего-то там просто не может быть, и отказывался сдвинуться с места, пока не договорит.

— Это невз-зможно, — настойчиво твердил он. — Невз-зможно!

Я теребил Томми за рукав, пока наконец он не оглянулся. Мое появление он воспринял спокойно и, широко поведя рукой с бокалом, представил нас с чучелом друг другу, самую малость запутавшись в согласных:

— Капр… Эг… груш — мишр… Беншм. Мишр Беншм — Капра… а, неважн. — Затем он вернулся к теме: — Это невз-зможно. Н-не верю, что бышья и кз-злиная кровь смывает грехи, — сообщил он нам обоим. — Евреи… Евреи, с-старина. Мой отец был св-щенником, уж я-то знаю.

Подняться с ним наверх мне бы не удалось, однако я сумел увести его в небольшую гостиную

и усадить в кресло, моля Бога, чтобы он уснул.

Вечеринка была того сорта, когда голова начинает болеть с похмелья не назавтра с утра, а тем же вечером. Слишком много шума, слишком много коктейлей. Идея с костюмами, конечно, принадлежала Фальзону и Диане. Правила соблюли не все. Леон подвел нас, предпочтя смокинг. Идальго пришел в своей капитанской форме, а его помощник в сомбреро и жакете-болеро изображал что-то латиноамериканское. Пепельная блондинка, для которой, как я подозревал, карнавальные костюмы служили рабочей одеждой, обставила прочих дам, явившись в дорогом вечернем платье. В таком, правда, которое на современной вечеринке сошло бы за карнавальное, но в те времена откровенные туалеты были в моде. Зато миссис Маркополи постаралась на славу — я хорошо запомнил ее костюм. Они с мужем были выходцами из Александрии, и миссис Маркополи выбрала образ египетской танцовщицы. Она обладала подходящей фигурой и бледной кожей, а еще умела щелкать пальцами над головой и покачивать округлыми формами не менее чувственно, чем девушки из мюзик-

холла Бадии Масабни[33] здесь у нас в Каире. У нее был полноценный танцевальный костюм: серебряная парча-ламе, вуаль, пайетки. Она вышла в центр зала и устроила показательное выступление; должен признать, бедрами она трясла великолепно. Почти все остальные дамы, естественно, спутали переодевание с раздеванием. Более прочих, по-моему, была прикрыта одна из сестер Клитос: отнюдь не худощавого телосложения, она нарядилась в детский матросский костюмчик из небесно-голубого шелка, обтягивавший ее так туго, что я весь вечер воспринимал ее исключительно как бедняжку Томми Трэдлса и нервно оглядывался по сторонам, гадая, кто из гостей нарядился мистером Криклом[34].

Диана и Фальзон тщательно спланировали свой выход. Гости веселились вовсю, когда нашим взорам предстала она. Само собой, в образе богини Дианы, Артемиды-охотницы. Описать ее костюм я затрудняюсь: описывать было практи-

---

[33] Примечания: 33

Бадия Масабни (1892–1974) — актриса и танцовщица сирийско-ливанского происхождения, «крестная мать арабского танца», импресарио и владелица самого популярного в Каире 1940-х гг. клуба «Казино Опера».

[34] Примечания: 34

Томми Трэдлс, мистер Крикл — персонажи романа Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд». Первый — одноклассник и близкий друг Дэвида, второй — жестокий директор школы-интерната Салем-Хаус.

чески нечего. Облачение, как мне показалось, состояло из двух-трех ярдов тюля и пары сандалий с завязками из голубых лент, крест-накрест обвивавших голени. Прическа повторяла древнегреческую моду; за спиной у Дианы висел колчан, в руке она держала небольшой лук. По красоте фигуры и лица в этой компании ей не было равных. Пепельная блондинка рядом с ней выглядела бледной молью. От Дианы словно бы исходило сияние, большие глаза сверкали, мягкие локоны светились, а кожа, и обнаженная, и скрытая тюлем, мерцала, переливаясь то более ярким, то более нежным розовым. Когда она вошла, все восхищенно ахнули и от изумления невольно отшатнулись, а когда с другого конца зала навстречу Диане танцующей походкой вышел Фальзон, публика ахнула еще громче, а некоторые дамы не сдержали пронзительных вскриков.

Тут-то я и понял, зачем он ходил к скорняку. На нем были пошитые на заказ штаны из козлиных шкур — сплошь лохматая бурая шерсть от пояса до щиколоток, сзади — короткий хвостик. Голову украшали невысокие рожки, закрепленные в густых темных кудрях проволокой. Торс был голый, и мать-природа сама дополнила костюм

Фальзона, поскольку грудь у него была мохнатая, точно коврик, на спине и плечах курчавились короткие темные волоски, а кожу покрывал естественный бронзовый загар пловца и любителя позагорать. С этими своими хитрыми черными глазами и жгучим похотливым взглядом он был точь-в-точь сатир, явившийся из леса и готовый к дикому разгулу.

Раз или два за вечер мне подумалось, что я мог бы не утруждать себя переодеванием. Наоборот, я показал бы себя оригиналом, если бы пришел в обычном костюме и держался в рамках приличий. Я оставался трезв, что само по себе было оскорбительно. Я не танцевал. Так и не научился, знаете ли. Едва ли я смог бы плясать в этом наряде. Хотя, если подумать, бедуины все же танцуют в своих длинных одеяниях, причем у женщин это получается довольно грациозно. В любом случае я был одет неподходящим образом, чтобы соревноваться в плясках с другими гостями. Я стоял в сторонке и с кислой миной наблюдал за публикой. Вице-консул наслаждался вечером. Он вверил свой трезубец одному из манекенов в рыцарских доспехах, заткнул конец рыболовной сети за веревочный пояс и закружился в вальсе с Дианой. С ней танцевали все, кроме, кажется,

капитана. Георг Ставруло, одетый греческим гвардейцем, тоже урвал себе вальс, и они вихрем летали по залу, так что слились в одно белое пятно и тюль костюма Дианы уже скорее развевался по ветру, нежели окутывал ее фигуру.

Однако главным охотником на нее был Фальзон. Он знал все танцы, когда-либо изобретенные человечеством, и даже тот американский, с безумными коленцами, что как раз начал входить в моду, этот, как его, черт подери… чарльстон. И если остальные терялись в движениях, он выделывал самые нелепые па уверенно и безупречно. Диана составляла ему пару и танцевала с хорошо натренированной непринужденностью. Она не пила ни капли, но громкая музыка, ритм и выверты Фальзона опьянили ее сильнее, чем любую другую женщину в зале. Через некоторое время Фальзон полностью лишил остальных возможности потанцевать с Дианой. Эту вечеринку, как и охоту на дикого козла, он организовал исключительно для собственного развлечения. Глядя на Фальзона, я размышлял, что побудило его выступить сатиром, ведь идея с танцами, очевидно, пришла ему в голову уже после того, как он продумал свой костюм. В целом ход его мыслей прослеживался легко: если он сатир, Диа-

на должна быть нимфой. Он предлагал ей выйти нагишом, Диана же согласилась на минимум одежды, который публика вроде нас, слабо знакомая с классикой, примет за одеяние богини. И тем не менее почему из всех причудливых образов, наводнявших его буйное воображение, Фальзон выбрал именно сатира?

Из-за храма? Был ли то храм Пана? Знал ли об этом Фальзон? Та шутка насчет дикого козла: я помнил, как старый садовник наклонился рассмотреть следы копыт на песке у озерца и испуганно отпрянул. Жаль, я не понял, что именно крикнул Фальзон из машины садовнику и священнику и отчего его слова так потрясли обоих. Вид его козлиных шкур стал мне ненавистен; я мечтал, чтобы вечеринка поскорее закончилась и все благополучно отправились спать. Я начал беспокойно бродить туда-сюда, нервно подскакивая всякий раз, когда одна из этих проклятых баб взвизгивала пронзительней обычного.

Пепельная блондинка едва не довела меня до нервного срыва. В какой-то момент, когда часть гостей собралась возле буфетной стойки в гостиной, раздался истошный крик, от каких лопаются стекла, и я пулей влетел в комнату, уверенный, что произошло убийство, но обнаружил, что Леон

всего-навсего сунул кубик льда в вырез блондинкиного платья, и та застыла с раскинутыми руками, точь-в-точь рубашка на бельевой веревке в мороз, сопровождая медленное сползание ледяного кубика воем на поразительно высокой и длинной ноте, намного превышающей обычный диапазон человеческого голоса. Когда находчивый Маркополи попытался выловить кубик половником для компота, блондинка оборвала вой и издала возглас менее пронзительный, но не менее яростный. Да, такого сорта была вечеринка.

Дважды или трижды я заглядывал в комнатку, где оставил Томми, и неизменно находил его спящим в кресле: он храпел, запрокинув голову и широко раскрыв рот. Лучше бы ему было лечь в постель, но будить его я не решился.

В последний раз я пошел проведать его сразу после полуночи. Публика с бокалами и кусками холодной курятины в руках курсировала между холлом и столовой. Музыканты все еще дудели и пиликали как ненормальные. Миссис Маркополи уговорили станцевать на бис. Матросский костюмчик девицы Клитос разъехался по шву; Идальго с застывшей на лице улыбкой танцевал с волооким юношей из Афин. Фальзон стоял у

открытого окна, смотрел в ночь и курил. Дианы тогда я не видел.

Я открыл дверь в маленькую гостиную и вгляделся в сумрак. Томми исчез. Подобрав свои одеяния, я бросился наверх. Его не было ни в гардеробной, ни в спальне. Я обыскал весь второй этаж, но и в гостевых спальнях Томми не нашел. Маркиза, отметил я мимоходом, была у себя.

Внизу Фальзон продолжал в одиночестве глядеть в темноту, облокотившись на подоконник. Оркестр играл греческую плясовую, с полдюжины танцоров перебирали ногами, пытаясь держать нестройную линию. Дианы в холле не было. Не обнаружилось ее и в столовой: там были только вице-консул и Маркополи, которые старательно обгладывали скелет индейки. На террасе Дианы тоже не было.

В небе висел полумесяц. Он хорошо освещал весь сад, кроме темных зарослей кипарисов, хотя светлый наряд и бледную кожу Дианы было бы видно даже под деревьями. Я вдруг ощутил такую жгучую необходимость срочно отыскать либо ее, либо Томми, что ринулся в сад, словно терьер, упустивший крысу, а когда споткнулся о бордюр и угодил в клумбу с розами, проклял свою арабскую хламиду от ворота до подола. А

вы когда-нибудь пробовали среди ночи бегать по саду в арабских сандалиях?

Конечно, мне сразу следовало сообразить, что искать Диану в саду бессмысленно. Место свидания могло быть только одно, и я, очевидно, дал Фальзону время прийти к ней. Я двинулся по узкой тропинке, что вела вверх вдоль ручья к озерцу. Одну сандалию я потерял, другую скинул и ковылял босиком.

Вряд ли я четко представлял себе, уместны ли мои действия. Но когда я добрался до лощины и увидел озерцо, и песок, белеющий под луной, и серые очертания древних храмовых камней, едва заметные на фоне черных теней олив, и сосны, что вздымали посеребренные луной иглы над молчаливыми тайнами горного склона, я вдруг встал как вкопанный и спросил себя, какого черта шпионю за любовными похождениями женщины, которую впервые в жизни увидел всего неделю назад. Ответ меня испугал. Я обязан был предотвратить убийство.

Она была там. Неподвижно стояла на песке на краю озерца и прислушивалась, повернув голову в мою сторону. Возможно, услышала, как я приближаюсь. Всю дорогу меня скрывала тень нависающих скал, я остановился под ними у вы-

хода к лощине и завернулся в свою темную абу, сделавшись невидимым, в то время как Диану, озерцо, и луг, и краешек развалин позади нее озаряло сияние месяца. Вертикальные валуны на склоне за моей спиной отбрасывали глубокую тень. Мне послышалось какое-то движение: негромкий дробный стук среди камней. Диана на него не отреагировала, все ее внимание было приковано к тропинке, по которой мимо меня должен был пройти Фальзон. Я не мог оторвать глаз от этой женщины. Здесь, на лоне природы, она обрела совершенство, какого ей не хватало при свете искусственных огней виллы. Лук и колчан она бросила; теперь, когда ее грациозная фигура, которую почти не скрывала тонкая прозрачная ткань, застыла в легком полуобороте, словно бы готовая в любой миг игриво или испуганно пуститься прочь, а позади была серебристо-голубая вода, залитый лунным светом луг и серые руины храма, Диана казалась настоящей горной нимфой. Фальзон поставил свою маленькую пьесу превосходно.

В пьесе этой было все: сюжет, персонажи, костюмы, декорации, нарастающая тревога — и неожиданный поворот. Пока она вслушивалась в темноту, ожидая увидеть его на тропинке, он

беззвучно вышел из сумрака развалин за ее спиной и на мгновение замер, глядя на нее. Лица я как следует рассмотреть не мог, однако поза его говорила сама за себя. Затем, пока она все еще не слышала его шагов, он начал подкрадываться к ней, слегка приплясывая, словно бы исполнял в траве какой-то странный танец, наполовину торжественный, наполовину зловещий. Он двигался абсолютно бесшумно, и она даже не подозревала, что он рядом. Когда он приблизился, я разглядел его получше и поразился детальности костюма. Наряд сатира и в доме смотрелся весьма эффектно, но здесь, при обманчивом освещении, для которого он и предназначался, иллюзия была полной. В этом бледном, неверном свете, где цвета тускнели, а тени были гуще, Фальзон казался более диким и опасным существом, серо-буро-золотисто-смуглым, мускулистым и грубым. Лохматая шерсть на чреслах и ляжках будто бы росла естественным образом; голени сделались тоньше, и, передвигаясь этой своей пританцовывающей походкой, он выгибал их таким образом, что мне мерещилось сходство со скакательными суставами сатира — получеловека-полукозла. Я мог бы поклясться, что ноги, беззвучно ступавшие по траве, были козлиными.

Я знал, что Фальзон умен, но такого таланта в нем не ожидал. Его танец заворожил бы любого, и, что самое странное, танец этот выражал сплошное ликование, страсть на пороге удовлетворения, ибо Диана по-прежнему не замечала Фальзона, а он не замечал ничего и никого, кроме нее.

Потом он прикоснулся к ней, и, тихонько вскрикнув, она повернулась и очутилась в его объятьях. Послышался еще один возглас, ее или его — я не разобрал. Узнаваемых интонаций в нем не было, кажется, он вообще не походил на человеческий.

Стук осыпающихся камней на склоне неподалеку ненадолго отвлек мое внимание. Так и не разглядев в темноте, кто или что там движется, я снова перевел глаза на Диану с Фальзоном и увидел, что она сопротивляется. Сперва я подумал, что это игра, но затем услышал, как она задыхается от ужаса и пытается вырваться из его хватки. Борьба длилась считаные секунды: не успел я пошевелиться, как он оттолкнул ее, и она без чувств распласталась на белом песке. Ее обнаженное жемчужно-белое тело беспомощно лежало у его ног. Свет луны мелькнул на его вскинутом к небу лице, когда он резким движением отшвырнул от

себя невесомую прозрачную ткань; серебристый луч выхватил из тьмы короткие рожки. Я увидел блестящие зубы и черную тень ниже подбородка, похожую на бороду. Широко разведя руки в стороны, он выпятил мохнатую грудь и рассмеялся.

Краем глаза я уловил короткую вспышку пламени на скале слева от меня; грохот выстрела сотряс маленькую лощину, точно пустую комнату. Ликующая фигура у озерца съежилась, обхватила себя руками, скорчилась пополам и заплакала. Затем, повизгивая, как обиженный ребенок, шатаясь и двигаясь в траве короткими судорожными рывками, существо попыталось скрыться в лесу. Странно, что в тот момент и Томми, и его жена сделались совершенно неважны и словно бы перестали существовать: хотя Томми, выскочив из темноты, еще дважды выстрелил в направлении луга, а Диана поползла к нему, серо-бурое создание, отчаянно рвущееся к лесу и скулящее от боли, уже не имело к этим двоим никакого отношения.

Существо добежало до опушки и скрылось в сумраке леса. Должно быть, какое-то время я глядел ему вслед — мне запомнилось, что крики его делались все глуше и глуше, уходя вверх по поросшему соснами склону.

На тропинке из сада послышался топот еще чьих-то ног. Смертельно бледный Томми с автоматическим пистолетом в руке столбом стоял на траве, устремив взгляд на жену. Подбежавший вице-консул моментально оценил ситуацию. Достаточно было взглянуть Томми в глаза, чтобы понять: он окончательно спятил. Тем не менее он не буйствовал и спокойно позволил забрать у него оружие. Диана не пострадала; пока не подтянулись остальные, я поставил ее на ноги и закутал в свою абу. Вице-консулу я сообщил, что Томми стрелял в Фальзона.

— В Фальзона? — переспросил тот. — Не может быть! Фальзон сейчас на вилле.

Георг Ставруло и слуги увели Томми, а пепельная блондинка, которая пришла вместе с Леоном и восприняла случившееся с удивительным хладнокровием, взяла на себя заботу о Диане. Мы с вице-консулом двинулись к дому впереди них. На полпути нам встретился Ив Фальзон, пришибленный и похожий на дворнягу с поджатым хвостом, загнанную в узкий переулок.

— Лучше бы вам не путаться под ногами, — сказал ему вице-консул. — Лобек трижды стрелял в собственную жену и трижды промазал. Если он снова доберется до оружия и увидит вас, то

больше не промахнется. Улепетывайте-ка на яхту, и поскорее.

Фальзон все понял и благоразумно последовал совету. Еще до рассвета и он, и капитан с первым помощником были в Нафпактосе.

Дядя Бентам поковырял спичкой в трубке, затем снова раскурил ее и некоторое время молча выпускал дым.

— Томми умер в Афинах, — медленно произнес он. — Диана и Маркиза были с ним до последней минуты. Он недолго мучился. Врачи сказали, все из-за старого ранения в голову. Что стало с Дианой, мне неизвестно. Кажется, она вернулась к родственникам в Париж. В Патрах ходили сплетни об этом происшествии, но… англичане есть англичане, сам знаешь. И вообще, Томми был не первым ревнивым мужем, который пытался застрелить жену.

Я взглянул на него:

— Нет, конечно. Что может быть банальнее?

Я понял, что опоздал на поезд, которым собирался вернуться в Каир. Более того, мне следовало поторопиться, если я хотел успеть на последний. Я вскочил.

— Спасибо за отличный ужин, дядя, — поблагодарил я. — И за историю. Одна маленькая

нестыковка: вы говорили, что на той вечеринке не были пьяны, но ведь не из-за соленых же орешков вам привиделось то, что привиделось?

Дядя Бентам тоже встал из-за стола и пошел проводить меня до ворот. Пройдя немного, он остановился и сказал:

— Нет. Как только рассвело, я вернулся к озерцу. В подобных вещах я разбирался слабовато, но следы все же нашел: сначала на траве, потом среди руин храма. Мне даже удалось пройти по ним через лес и подняться на вершину горы. Там, на камнях, различить пятна крови было проще. Я двинулся по следам вниз по пологому склону, шагая меж серыми валунами и высокими острыми стеблями асфоделей. Мне было горько видеть, как далеко тянулись эти кровавые следы. На краю утеса они обрывались. В этом месте скала отвесно уходит в воды Коринфского залива.



Морские создания[35]



— Я знаю одного араба, который видел русалку, — сказал Станислав.

На эту информацию мы отреагировали поразному. Бен Бейкер опорожнил свой бокал и с высоты двадцатилетнего опыта общения с представителями арабских народов угрюмо заметил:

— Ты имел в виду, который не желает признавать обратное.

---

[35] Примечания: 35
Перевод Н. Сечкиной.

Джо Суинглтри подмигнул мне из-за спины Станислава и хлопнул в ладоши, подзывая официанта. Сцепив пальцы в замок, Джордж Тергус уложил руки на стол, чуть подался вперед и, глядя в невинные светло-серые глаза Станислава, с серьезностью, вызвавшей у нас улыбку, спросил:

— Вот как? И где же он ее видел?

Станислав рассказал. Мы снисходительно выслушали, избавленные от необходимости верить или не верить и пребывавшие оттого в приятной расслабленности. Тем душным летним вечером мы бездельничали на террасе отеля «Красное море» в Порт-Судане, и, покуда в наших бокалах плескался виски с содовой, предмет беседы большого значения не имел. Мне предстояло провести день-другой, дожидаясь корабля, и меня приютил у себя Джордж Тергус, мой давнишний знакомый и управляющий фирмой «Сондерс, Граймс и компания» в Порт-Судане. Поужинав в отеле, мы устроились на террасе, где нам составил компанию помощник Джорджа по фамилии Суинглтри, а позже присоединились и Бейкер со Станиславом. В какой-то момент мы заговорили о рыбалке и от рассказов об огромных барракудах и индийских косатках перешли к обсуждению более редких видов. У каждого

в запасе имелась история о неизвестном науке создании невероятного окраса, с фантастической маскировкой, причудливыми плавниками, гребнем или хохолком, — словом, о некоем существе, на глазах у рассказчика выловленном из пучин этого окаймленного кораллами моря, чьи воды меж пустынных берегов так удивительно кишат жизнью.

Зоологами мы были никудышными: описать попавшееся нам диковинное морское созданье мы могли, однако едва ли сумели бы верно его идентифицировать. В чудеса мы не верили, но слишком хорошо знали здешние воды, чтобы полагать, будто нам известны пределы многообразия обитающих в них форм, а некоторым из нас во время кратких встреч с обитателями глубин случалось испытывать и что-то посильнее удивления. В тихий день можно неторопливо идти на долбленке между рифами аравийского или африканского побережья, скользя над сверкающими отмелями сквозь яркий мир четырех стихий, из коих жизнь присутствует лишь в одной — в прозрачной воде, по которой вы плывете, — а потом взмах весла перенесет вас за границы рифа туда, где вода уходит в неизмеримые сине-зеленые и зелено-черные глубины. Если вы решите под-

нять весло и задержаться над этой бездной, то, возможно, ощутите едва заметное беспокойство, слишком слабое для тревоги, и все же достаточно уловимое, чтобы опасность заворожила вас и ваш взгляд устремился вниз, все глубже проникая в эту странную жидкую ночь, которая отрицает сияющий белый свет, что льется сверху и слепит глаза. Внезапно вы осознаёте, что длинная, почти неподвижная тень под вами, четкий силуэт, чернеющий на фоне сумрачной пропасти, — это не тень от лодки, а нечто такое, что живет собственной жизнью, а потом мягко проводит кистью по вашему сердцу, и вы опускаете весло в воду и резко направляете свое суденышко к веселой золотистой отмели рифа.

Естественно, видели мы и акул, и гигантских скатов. Эти чудища представали перед нами, уже будучи пойманы на крючок и вытащены на борт, и выглядели более не загадочно, но отталкивающе и все еще слишком грозно, а потому не вызывали ни жалости, ни каких-либо других чувств, кроме ужаса, с которым мы отворачивались от палубы, где смуглокожие рыбаки грубо разделывали туши. Тем не менее кое-кому из нас раз или два за все годы довелось мельком увидеть не ската и не акулу, а нечто иное. У каждого

нашлась бы своя история о тени, плавно скользившей под днищем его лодки, о вихрящейся воронке в темном, заросшем водорослями заливе между рифами, о мощном всплеске посреди безмятежной глади в дали глубоководной бухты или о том, как что-то черное и блестящее, сверкнув на солнце, на миг выглянуло на поверхность и тут же снова скрылось в толще вод. Их, эти истории, мы рассказывали сдержанно и сухо, а в конце пожимали плечами, будто оставляя знак вопроса.

Мы были не прочь поговорить о таинственных монстрах, но собственными скупыми показаниями делились с осмотрительностью, дабы воздержаться от любых выводов о попрании законов природы, и вот теперь Станислав, беспечно отбросив всякие научные принципы, поведал нам о русалке. Тем самым он все равно что объявил и все наши осторожные свидетельства сказками Андерсена, а подчеркнутые признания в недостатке знаний — не более чем вывернутым наизнанку притворством. Беседа рисковала принять серьезный оборот, что никак не годилось для летней ночи на Красном море. Официант подал очередную порцию напитков, и, весело поглядывая на Станислава поверх бокалов, мы принялись вспоминать подходящие к случаю байки. Тергус,

однако, без тени улыбки осведомился:

— Так где же он видел эту русалку?

— Где-то недалеко от Кунфиды, точно не знаю, — ответил Станислав. — О русалке мне рассказал старик по имени Али Хамдани. Я был занят на строительстве охладителя. Ехал на три месяца, а застрял на полтора года — видите ли, сидел и ждал, пока аравийское правительство соизволит заказать еще тонну кирпичей и десять футов труб. Мы с Али Хамдани сошлись довольно близко; он был, так сказать, заместителем губернатора, а поскольку владел грамотой, то вдобавок служил и городским секретарем, и инженером. Именно с ним мне полагалось решать все вопросы, связанные с охладителем. Это был самый заурядный, невыдающийся, робкий тип, которого только можно представить, иссушенный жизнью забитый челядинец. Пережиток турецкого господства, при последнем османском губернаторе Кунфиды он был мойщиком бутылок. После арабского восстания в Хиджазе и прихода к власти ваххабитов он все так же сидел в своей тесной конторке с голыми стенами и тучей мух, все так же царапал что-то на грязных клочках бумаги и связывал узлами концы веревки, на которой только и держалось управление

городом. Ни малейшей искры воображения или фантазии, никаких познаний о мире за пределами Хиджаза. Ей-богу, он даже в Джидде бывал от силы два раза. Конечно, он знал о существовании Османской империи, знал, полагаю, и о том, что страной нынче правят британцы и что столицей они сделали Порт-Судан, однако этим его интерес к познанию мира и ограничивался. Как большинство арабов, охоту он не любил и вряд ли назвал бы вам какую-нибудь местную рыбу, птицу или рептилию, хотя, по правде говоря, птиц и гадов тут водится не так чтобы много.

Однажды я присутствовал на званом ужине, который губернатор давал для кучки шейхов, и меня посадили рядом с Али Хамдани. Когда строительство охладителя вставало на паузу, а это по тем или иным причинам случалось довольно часто, я коротал время на рыбалке, и вот, за неимением лучшей темы для беседы, я начал расспрашивать Али Хамдани о видах рыбы, которую можно выловить в здешних водах. Тогда-то он и поведал мне о русалке. Я отпустил какую-то банальную реплику о многообразии фауны в Красном море. О да, сказал Али Хамдани, Господь в Своей особой милости к аравийцам заполнил их море — заметьте, *их* море — всеми

тварями, какие только могут чем-то пригодиться. Более того, дабы продемонстрировать избранному народу виртуозное мастерство творца, Аллах, по всей видимости, раскидал в окрестностях Кунфиды пару-тройку чудес. Одним из них, по словам Али Хамдани, является удивительное создание *бинт-аль-бар*. В буквальном переводе — «морская дева», хотя это еще ни о чем не говорит: в арабском языке встречаются похожие названия некоторых видов рыб и ракообразных. Например, кое-где лангуста именуют *бинт-аль-раббан*, то есть «дочь проводника». Однако об этой «морской деве» я слышал впервые и потому спросил, как она выглядит.

Али Хамдани сказал, что видел ее всего однажды и ни разу не слыхал, чтобы она попадалась на глаза кому-то еще. Он подчеркивал редкость своего опыта, всячески намекая на то, что право узреть одно из *фантастических творений* Создателя обрел лишь благодаря своей исключительной набожности и праведному образу жизни, но, когда он начал описывать это существо, я разинул рот от удивления.

Красноречием он никогда не отличался: обычно слушать Али Хамдани было не более увлекательно, чем наблюдать за книжным червем, который

точит сборник уравнений, — и ровно так же скучно и подробно он рассказал мне, как много лет назад увидел морское создание, выброшенное на песчаный берег. Он описал это существо, начиная с хвоста и заканчивая головой, и, хотите верьте, хотите нет, по описанию это была точь-в точь русалка, какой ее изображают в детских книгах сказок. Готов поставить все деньги, которые аравийское правительство задолжало мне за выполненную работу, всё до последнего пенни, что Али Хамдани в жизни не слышал европейских сказок и даже не подозревал, что у европейцев они есть. Ну и как вы это объясните?

Некоторые доводы у нас все же нашлись — чужую загадку всегда объяснить проще. Кто-то вспомнил о *банат-аль-бар* — морских девах из «Тысячи и одной ночи»; Бен Бейкер упомянул аденскую русалку и прибавил, что видел у арабских торговцев поддельные чучела: к туловищу павиана пришивали акулий хвост. Сам я допускал, что это мог быть дюгонь.

— Возможно, возможно, — отвечал Станислав. — Я ведь просто привожу его слова.

И только Тергус не высказал никаких догадок. Наши предположения, кажется, его не убедили.

— А вы не запомнили, — спросил он, до стран-

ности напоминая ребенка, размышляющего над вечерней сказкой, — не запомнили, говорил ли тот человек что-нибудь о ее волосах? Какой они были длины, какого цвета?

Суинглтри расхохотался.

— Русалкам полагается быть платиновыми блондинками, — заметил Бейкер, вставая из-за стола. — Жаль, что ваша фирма закрыла отделение в Кунфиде, вы бы неплохо заработали, экспортируя их в Судан. Летом, когда все жены уезжают на отдых, они пользовались бы хорошим спросом.

— Прошу меня извинить, — улыбнулся Станислав, также поднимаясь на ноги, — насчет волос что-то не припомню.

Все трое откланялись, и я полагал, что Тергус, которого наутро ждал ранний подъем, предложит отправиться домой и лечь на боковую, но тот помедлил, скользнул взглядом по опустевшей террасе и произнес:

— Ну что, продолжим?

Он подозвал мальчишку-суданца, который клевал носом у двери отеля, заказал еще две порции виски с содовой, и какое-то время мы сидели молча.

— Я не знал, что филиал «Сондерс, Граймс и

компания» в Кунфиде закрылся, — проговорил я наконец.

— А, да. В конце войны. Работы нет, сплошные убытки, — рассеянно кивнул Тергус, думая о чем-то своем. Когда же напитки были поданы, он вдруг вскинулся: — Странная история с русалкой этого Али Хамдани!

— Да не особенно, — пожал плечами я, ревностно придерживаясь своей теории о дюгоне. — Учитывая склонность арабов преувеличивать и искажать факты…

— Самое странное, — перебил меня Тергус, — что я не слышал этой истории раньше.

— А почему вас это удивляет? Станислав так часто повторяется?

— Речь не о Станиславе. Я имею в виду, что не слыхал этой истории в Кунфиде. Понимаете, перед войной я провел там три года и знаю этого Али Хамдани. Он и тогда был заместителем губернатора, секретарем и выполнял еще уйму разных обязанностей. Как и теперь, полагаю. Станислав описал его весьма точно. Я абсолютно уверен, что Али Хамдани ничего не придумал. Я часто имел с ним дело, и он ни разу мне не солгал, а что до силы его воображения — покажите ему одну половину верблюда, так он в жизни не представит

другую. Положительно, он мог описать только то, что видел своими глазами, — разумеется, насколько видел вообще: в те времена, когда мы общались, он был страшно близорук.

— Во всяком случае, — сказал я, — основные признаки русалки он назвал. Это если верить Станиславу.

Тергус коротко отвел ладонь в сторону, как если бы снимал со Станислава все подозрения.

— Не знаю, правда, насколько хорошо Станислав понимает этот диалект, — вслух размышлял он. — Видимо, довольно хорошо. И все же Али наверняка использовал какие-нибудь книжные слова — он изъясняется несколько литературно, — значения которых Станислав не вполне разобрал. Кроме того, следует учитывать, что при упоминании «морской девы» в воображении европейца, скорее всего, возникнет ее традиционный образ. Не исключено, что Али Хамдани выразился не совсем так, как это воспринял Станислав. Жаль, Али не поделился рассказом со мной. Да, а почему? С другой стороны, — помолчав, тихо добавил Тергус, — в то время я бы ему не поверил.

— А что заставляет вас верить ему сейчас? Именно верить, а не просто допускать возмож-

ность? — осведомился я с легким сарказмом, который мне хотелось бы считать непреднамеренным.

Тергус словно не услышал моего вопроса.

— Мне хотелось бы выяснить, что конкретно он видел. Тогда разрешился бы вопрос, который вот уже десять лет мучит *меня*. Али Хамдани определенно видел не то, что представляется Станиславу. Заметили, я попытался спросить его о русалочьих волосах? Само собой, главная отличительная черта классической русалки, помимо рыбьего хвоста, — это длинные распущенные волосы, которые она постоянно расчесывает, лежа на камнях, или она выныривает из воды с гребнем и хрустальным зеркальцем…

— Кстати, о хрустале, — слабо пошутил я в попытке разбавить излишнюю, как мне казалось, серьезность Тергуса, и жестом указал официанту на свой бокал.

— Если подумать, — продолжал мой собеседник, — эти самые волосы как раз и доказывают, что русалок не существует. Плавать с длинными волосами ужасно неудобно. Вы знаете какое-нибудь водное животное или амфибию с пышной гривой длиной в две трети тела? Вот почему, когда Станислав заявил, будто бы Али Хамдани

описал типичную сказочную русалку, я спросил, какого цвета были ее волосы. Как оказалось, о волосах Али не упоминал. У существа, которое попалось ему на глаза, не было гривы.

— У дюгоней нет гривы, — заметил я. — Так что за вопрос терзал вас на протяжении десяти лет?

Тергус немного помолчал, глядя, как мальчишка-официант наполняет наши бокалы содовой.

— Ладно, скажем так: вы ведь были в этих краях до войны; что-нибудь помните о человеке по фамилии Коломбани? О докторе Сезаре Коломбани?

Имя показалось мне смутно знакомым. Я порылся в памяти, но в случае, когда из нее требовалось выудить мимолетную новость, эпоха «до войны» ощущалась слишком далекой. Положившись отчасти на воспоминания, отчасти на интуицию, я сообразил, что дело связано с морем.

— Кажется, в газетах писали о происшествии в Красном море… Погодите, это была одна из тех мелких французских посудин, что стоят в Джибути и принадлежат судоходной компании Крейцера… верно? Точно, «Махруса». Теперь вспомнил. Несчастный случай в море — погиб какой-то итальянец. Или француз… Вы о нем?

Тергус кивнул:

— О нем самом. Да, он утонул. Думаю — надеюсь, что утонул.

— Джордж! — ахнул я.

— Ради его же блага, — поспешно и мрачно добавил Тергус. — Не помните, чем он занимался на Красном море? Я вам скажу. Он был французом, по-моему корсиканцем. Предметом его увлечения, точнее исследования, было занятие, о котором я прежде и слыхом не слыхивал, но которое теперь весьма широко распространилось по всему Средиземноморью: подводная рыбалка. Надеваете очки и некое подобие дыхательного аппарата и гоняетесь за добычей с гарпунным ружьем. Коломбани был пионером этого спорта. Строго говоря, он приехал на Красное море, чтобы изучать и зарисовывать различные виды рыбы в естественной среде обитания; на крупные экземпляры он охотился просто ради забавы. Коломбани особенно интересовала всякая мелочь, населяющая коралловые рифы. Очевидно, до него в этой области почти не проводилось исследований. Он явился посмотреть, что делает суданское правительство в сфере морской биологии, и именно здесь я с ним познакомился, когда по работе выехал из Кунфиды.

Он был энтузиастом своего дела. Только и гово-

рил что об океане, о рыбе, морском дне и рифах. Вопросы из него сыпались без остановки. Раньше он никогда не бывал на этом море и потому расспрашивал всех подряд, желая собрать как можно больше информации. Разумеется, он и меня не обошел, все интересовался аравийской стороной Красного моря. Как вам известно, и к северу, и к югу от Кунфиды простираются мили и мили рифов, отмелей, зон мелководья, песчаных кос и небольших островков, и, да простит меня Господь, боюсь, в моих устах это могло звучать чрезвычайно привлекательно. Я с уверенностью считал себя знатоком этих мест и всех окрестностей. В Кунфиде я провел без малого три года, и все это время мне было не с кем перекинуться словом и почти нечего делать; три года я влачил унылые дни, и каждый следующий день не отличался от предыдущего. Глядеть было не на что, оставалось лишь дожидаться корабля, что приходил дважды в месяц, да бродить средь кучки домишек, которая именуется городом, хотя больше похожа на кучу мусора, причем городок этот кажется еще меньше из-за необъятного простора, в котором он затерян, словно крохотная точка, — необозримого простора солнца, песка, неба и моря. Образно выражаясь, этот берег врос в

меня, пропитал до мозга костей, и, когда человек говорит о чем-то, что знает настолько глубоко, то слушатель может решить, что рассказчику это очень нравится, хотя на самом-то деле оно ему до смерти надоело. Впрочем, вероятно, что интерес Коломбани к этому региону вспыхнул вовсе не из-за бесед со мной; возможно, он самостоятельно пришел к выводу, что на той стороне условия для его работы более благоприятны. Как бы то ни было, не успел я вернуться в Кунфиду, как получил письмо, в котором он сообщал, что пытается оформить въездную визу и что, по заверению нашего главного управляющего в Хартуме, представитель фирмы в Кунфиде охотно окажет ему содействие… и так далее, и тому подобное.

В своем конфиденциальном письме в Хартум я выразил мнение, что у Коломбани нет ни единого шанса получить визу: местные власти не желали, чтобы по Хиджазу шастали неверные, а уж странный тип вроде Коломбани, который большую часть времени в полуголом виде резвился в воде, размахивая непонятным научным прибором, однозначно вызвал бы у них сильнейшие подозрения. Ни один араб просто не поверил бы, что кто-то проделал такой долгий путь и приложил столько усилий единственно ради

того, чтобы поглазеть на рыбу: наверняка хитрец ищет затонувшие сокровища, жемчуг или нефть. Тем не менее той же почтой я отослал письмо Коломбани, написав, что буду счастлив принять его у себя, если ему удастся получить визу.

И вот я узнаю, что он таки добился визы. Как он уломал чиновников, не представляю, но от наших людей в Джидде мне позже стало известно, что Коломбани заручился поддержкой французского министра в Джидде и французского посла в Каире. Думаю, пропаганду они развернули на полную катушку: прогресс знаний, научные исследования, благо для человечества и *la mission civilisatrice de la France*[36]. Конечно, аравийцы пропустили бы всю эту чепуху мимо ушей, просто в то время, как я полагаю, не хотели злить французов по пустякам и поэтому выдали доктору Коломбани визу, согласно которой ему разрешалось находиться в Кунфиде, но запрещалось покидать побережье — чего он, собственно, и не собирался делать.

Помню, он приплыл на туземной парусной лодке, сидя на ящиках с грузом тараканов, мертвой рыбы и парафина, и с самого начала заинтри-

---

[36] Примечания: 36
Просветительская миссия Франции *(фр.)*.

говал всех жителей города. Из иностранцев они, бедняги, долгое время видели только меня и Джирджи Хаддада, притом что Джирджи был ливанцем, чей язык и привычки не слишком отличались от их собственных, а ко мне они успели привыкнуть. В общем, поглазеть на прибытие Коломбани высыпали все от мала до велика, и когда он в своей ярко-красной рубашке, куцых белых шортах и новенькой панаме, обвешанный адскими машинками, точно елка — гирляндами, сошел на берег, публика явно решила, что зрелище того стоило. В общем и целом, из каких бы научных соображений ни исходил Коломбани, он правильно сделал, выбрав Кунфиду. В Джидде, например, люди более образованны, но зато и ханжей и религиозных фанатиков там больше. Кунфида в то время была таким мелким и изолированным городишкой, что его обитатели все еще сохраняли некую первобытную простоту взглядов. Коломбани вызывал у них живейший интерес, однако никакой назойливости они не проявляли и держались весьма почтительно; глядя на его непонятное снаряжение, они сразу решили, что перед ними *мухандис* — инженер, а титул инженера уже начинал приобретать среди них уважительный оттенок. Позже, когда

стало ясно, что он занимается только рыбой, это не лишило Коломбани титула: отныне его звали рыбным инженером. Очень скоро он впечатлил всех лодочников и рыбаков иными умениями: невероятным мастерством пловца и тем, как быстро он научился управляться с капризными местными лодочками-долбленками, маленькими каноэ, которые здесь называют *хури* и которые моментально переворачиваются вверх дном от малейшего чиха.

Сам же Коломбани относился к арабам с полным равнодушием. Едва ли он видел в них отличия от жителей юга Франции или Италии: они были наземными животными и, стало быть, его не интересовали. Вернее, из всех туземцев замечал он только тех двоих, что работали на нанятой им лодке. Он говорил с ними на французском либо итальянском или просто издавал звуки на своеобразном моряцком наречии, и подручные вполне его понимали. Он и сам был отличным моряком, умел обращаться с косым парусом, и вы удивитесь, до чего хорошо ладят между собой люди одного ремесла, даже если ни слова не знают на языке друг друга.

Разумеется, я был несказанно рад, что он остановился у меня. Мой французский был сносным,

но в любом случае он очень прилично говорил по-английски, и компания другого европейца, с которым есть о чем поболтать, куда лучше выпивки. Лет сорока, невысокий и крепкий, Коломбани имел плечи и мускулатуру пловца-стайера. Он был невероятно подвижен, энергичен и, как я упоминал, кипел энтузиазмом в отношении своего хобби. Коломбани производил сильное впечатление, поскольку любому занятию отдавался всей душой и, более того, обладал типично французским свойством добавлять собственным талантам некий щегольской налет профессионализма, демонстрировать их с намеренным артистическим лоском. Плавание, можно сказать, служило первейшим средством для достижения его научных целей, и все же занимался им Коломбани еще и как *sportif*[37]. В воде он не знал устали, и единственным виденным мною существом, способным превзойти его по скорости и ловкости, был тюлень. В Кунфиде Коломбани чувствовал себя полностью в своей стихии.

Он много рассказывал о своих исследованиях. Так, среди прочего он поставил перед собой

---

[37] Примечания: 37
Спортсмен *(фр.).*

цель разработать технологию подводной фотографии. Очевидно, что Красное море, где солнце ярко светит почти триста шестьдесят пять дней в году и где полно отмелей с яркими кораллами и белым песчаным дном, как нельзя лучше подходило Коломбани для работы. Он уже изобрел фотокамеру для подводной съемки, но, как я понял, удовлетворительных результатов та пока не давала. Между тем у него имелся свой способ делать цветные зарисовки под водой на специально обработанных камнях или дощечках — впоследствии он воспроизводил эти наброски, превращая их в законченные рисунки, которые, если не ошибаюсь, собиралось публиковать Французское зоологическое общество.

Я выходил в море вместе с Коломбани, и, хотя считал, что хорошо знаю побережье, он открыл передо мной целый новый мир. В защитных водонепроницаемых очках, плавая вдоль рифов на глубине четырех-пяти футов, я обнаружил сокровища, о которых раньше и не подозревал. Свет под водой не теряет яркости, но неуловимо меняется, делаясь насыщеннее и богаче оттенками, он уже не бьет по глазам, но мягко лучится, не слепит, но освещает. В этой приятной прозрачности все видно с необычайной четкостью, а очертания

и цвета потрясают воображение. Живой риф под водой — это фантастический сад, где кораллы похожи на прекрасные хрупкие цветы, где цветы и животные делятся формами и оттенками, и самая жизнь будто бы движется в причудливых мягких ритмах, недоступных для воздушного мира. Особенно странным было ощущение, что людей подводные обитатели воспринимают не так, как сухопутные — на земле. Вот почему я так говорю: я заметил, что крошечные рыбешки, которых особенно любил зарисовывать Коломбани, ничуть меня не боялись. Когда я тихонько пробирался вдоль рифа, придерживаясь за выступы и ветви кораллов, эти маленькие храбрецы, пестрые, полосатые и в крапинку, с волнистыми хвостами и узкими длинными плавниками, развевающимися позади, словно знамена испанского галеона, выныривали из коралловых зарослей прямо у моего лица, зависали у меня перед носом и внимательно разглядывали, а порой — и довольно часто — даже пытались атаковать мои глаза, но легонько тыкались в стекла очков и отступали.

После нескольких совместных вылазок к рифам вместе с Коломбани я абсолютно понимал его страсть к этой стихии. Когда посреди теплого моря наслаждаешься необыкновенной легко-

стью движений в трех измерениях, нежишься в преломленном водой сиянии солнца, всякий раз испытывая восторг при виде новой восхитительной или фантастической формы жизни, тебе совершенно не хочется вылезать обратно к режущей глаз бесплодной пустыне, которую являла собой суша, возвращаться на воздух, населенный так скудно. Океан был живым, суша — мертвой. Внезапно ты обнаруживал, что, совсем как в детстве, мечтаешь о способности дышать в воде, подобно рыбам, чтобы навсегда перебраться в это колышущееся, переменчивое золотисто-зеленое сияние и жить среди разноцветных перелесков и полян. И тогда для полного счастья не хватало бы лишь одного — того, что есть в сказках: морской возлюбленной, чтобы резвиться с ней в этом мире, где тело ощущается свободным и невесомым.

Я провел на этом побережье почти три года, не умея получать радость от богатства, лежащего прямо под ногами, пока Коломбани меня этому не научил. Я неплохой пловец, но не представляю, каково это — хотя, полагаю, ощущение вам понятно — в одиночку плавать на рифах, пускай даже и на мелководье. Я никогда не чувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы получать от этого удовольствие. Вероятность повстре-

чаться с акулой на глубине четырех-пяти футов пренебрежимо мала, однако, думаю, во многих из нас сидит потаенный первобытный страх перед чудовищем из глубины, преодолеть который не помогают никакие знания и доводы рассудка. Я сам испытывал этот страх и ночью в английской реке, и даже в бетонном оросительном резервуаре, совершенно точно зная, что там не водится никого крупнее золотой рыбки: просто дело в том, что вокруг темно, ты один и под ногами нет дна. Такой же страх охватывал меня и в Красном море, даже когда над головой светило солнце, а в паре футов внизу поблескивал белый песок, потому что рядом были глубокие заливы, а проходов в рифах сколько угодно. В такие моменты я думал об огромных зверюгах, которых иногда видел за рифами — они подставляли бока солнцу, лениво покачиваясь на волнах, — и вспоминал, что нет-нет да и сообщают об очередном дрейфующем рыбацком каноэ, перевернутом вверх дном, и рыбаке, не вернувшемся домой с ночного выхода в море. Так вот, едва ли не первым, что поражало в Коломбани, была его сумасшедшая отвага в воде, или, если это звучит немного пафосно, скажу иначе: полное отсутствие страха и недостаток воображения. Нет, скорее все-таки не недостаток

воображения, а широта познаний — он знал обо всем, что есть в море, а если о чем-то не знал, этого там для него попросту не было. Полагаю, в нем ни разу не шевельнулся тот иррациональный страх глубины, который по временам испытывал я. И конечно, он без малейших колебаний бросался в любую воду. Он в одиночку переплывал глубокие темно-синие расселины от одного рифа до другого и нырял с лодки в открытый океан далеко за пределами внешних рифов. Позднее его подручные рассказывали мне, что пытались объяснить ему небезопасность таких действий, но Коломбани как будто их не понимал. В действительности всё он понимал. Когда я завел речь об акулах, он проинформировал меня, что опасения туземцев, как и мои собственные, совершенно беспочвенны, поскольку те виды акул, что обитают в Красном море, на людей не нападают; наукой не зарегистрировано ни одного случая, сказал он.

Я нисколько не усомнился в его словах, но тем не менее заявил, что не собираюсь предоставлять акулам шансов продемонстрировать нейтралитет. Зато я дал Коломбани возможность вдоволь посмеяться надо мной и моими, как он считал, суеверными страхами. Вам ведь известно, что на больших рифах, которые могут полностью нахо-

диться под водой, там и сям встречаются очень широкие и глубокие впадины — так сказать, подводные лагуны? Однажды мы наткнулись на такую лагуну, и Коломбани немедленно предложил ее исследовать. Я отказался. Я был готов охотно признать себя каким угодно трусом, но ничто на свете не заставило бы меня погрузиться в эту сумрачную синюю пучину, полную движущихся теней, где кожистые водоросли тянут свои длинные черные руки, ощупывая все подряд и колышась по воле таинственных течений. Коломбани, однако, нырнул, спустился до самого дна, заглянул в каждый уголок этой ямы, раздвигая заросли темных, зловеще поблескивающих водорослей, и выбрался назад, довольно ухмыляясь.

«В сущности, друг мой, — сказал он, — ваше неприятие глубины имеет ту же природу, что и предрассудки моих матросов, которые отказываются доставить меня к островам из-за того, что там водится нечисть».

О его желании побывать на островах я слышал впервые, но понял, о чем он говорит. Милях в десяти к северу от Кунфиды вдали от берега есть небольшая группа островов, именуемая Джузур-аль-Гаур. На обычных картах их нет, хотя на карте военно-морского ведомства они обозначе-

ны как безымянный риф. Я видел их издалека, и, надо заметить, это истинные острова, участки суши, которые никогда полностью не уходят под воду, хотя все они возвышаются над уровнем моря буквально на несколько футов; из-за малой площади их можно назвать коралловой породой, присыпанной слоем песка. О них я знал лишь две вещи: во-первых, по утверждениям рыбаков и торговцев, которые выходят в море на самбуках, океан вокруг этих островов неизмеримо глубок — бездонен, как они говорили, отсюда и название *аль-Гаур*, «острова бездны». А во-вторых, это обиталище джиннов. Что ж, на Аравийском полуострове немало мест, населенных джиннами; любой араб сообщит вам, что вон те развалины или вон ту гору облюбовал джинн, причем скажет об этом так же буднично, как мы упоминаем, что в этом пруду водится щука, а в том лесу живут барсуки. Однако если у араба есть своя корысть, присутствие джиннов не помешает ему подняться на эту самую гору, правда днем и в компании спутников. Отличие же островов Джузур-аль-Гаур заключалось в том, что люди не только утверждали, будто там обитают джинны, но и вели себя соответственно. Насколько мне известно, ни один местный лодочник не прибли-

зился бы к этим островам по собственной воле, поэтому, когда Коломбани пожаловался мне, что подручные не желают его туда отвезти, я не удивился.

Сам я о джиннах узнал, почти сразу как поселился в Кунфиде, от моего же шкипера. Он работал на наш филиал со дня открытия и был опытнее большинства прочих: до этого он служил — по его словам, капитаном — на самбуке, избороздил весь Персидский залив и ходил на Занзибар, в Мукаллу, Маскат, Бахрейн и Кувейт. Проведя в Кунфиде с месяц или около того, я начал осматриваться в поисках развлечений и, поскольку перемещаться вглубь страны мне не разрешалось, вспомнил об островах, которые разглядел в морской дали, когда впервые плыл сюда на борту «Махрусы». Я думал добраться до них, устроить что-то вроде пикника с рыбалкой, возможно, провести там ночь и по утренней прохладе вернуться обратно. Старик Ридха, мой шкипер, мне не отказал, но, к несчастью, выяснилось, что именно в этот день он договорился подвесить баркас в доке, чтобы очистить днище от ракушек. Что ж, я перенес пикник на другую дату, но в этот раз как на грех забарахлил мотор. Я снова назначил день, и, конечно же, бедный

Ридха немедленно слег с жестоким поносом. В конце концов мало-помалу я вытянул из него что-то похожее на объяснение: в бездонной пучине вокруг островов таится опасность, сказал он. И какая же? Одному Богу ведомо, отвечал мне Ридха, но еще до рождения отца его отца в этой пучине существовала некая преграда для мореходов: как только рыбаку на лодке во мраке ночи, в тумане или во время песчаной бури случалось подойти на определенное расстояние к островам Джузур-аль-Гаур, его *хури* или другое суденышко камнем шло ко дну и рыбак вместе с ним навеки исчезал без следа. К тому времени я уже и от других людей слыхал о про́клятых островах, поэтому, желая поддразнить шкипера, спросил его, уж не джинны ли топят лодки. Разумеется, он воспринял мой вопрос абсолютно серьезно — как-никак, о джиннах написано в Коране, — но сам этого слова не произнес. В недрах этих островов, пояснил Ридха, далеко-далеко под землей, есть черные дыры — входы в сеть пещер, извилистый лабиринт, столь обширный и глубокий, что он соединяется с океанскими источниками, первозданными подземными водами, которые питают более мелкие моря, сотворенные Господом, дабы мы ходили по ним на кораблях и добывали рыбу.

И вот в этих-то темных пещерах под толщей воды живут некие существа, *хагг-аль-бар* — «морские создания», коих сам Всевышний поставил на страже одной из Его тайн. Разумеется, эти морские создания не подпускают сынов Адамовых к своей обители, и, поскольку все существа в трех мирах, сотворенных Аллахом, действуют только с Его соизволения… В общем, старик подвел меня к выводу, что любого, кто приблизится к островам Джузур-аль-Гаур, ждет неминуемая смерть. От описания конкретной формы орудия рока он воздержался, хотя вера его была непоколебима. Как вам известно, арабы редко признаются в невежестве: на все мои вопросы, откуда он знает об этих пещерах и их стражах, он категорично отвечал: это, мол, хорошо известно.

Что ж, мне пришлось отступить. Попасть на Джузур-аль-Гаур нельзя, и все тут. Я не слишком огорчался, поскольку с уверенностью мог утверждать, что во всем остальном, за исключением большой глубины вокруг этих островов, они неотличимы от тысяч мертвых рифов и песчаных отмелей, доступных для посещения. Догадаться о вероятном происхождении этого местного суеверия, по моему мнению, было нетрудно: рыбаки действительно время от времени пропадают в

море; в необычайно глубоких водах, окружающих Джузур-аль-Гаур, вполне могут водиться другие виды акул, более редкие и агрессивные по сравнению с теми, что обычно встречаются за внешними рифами, и в прежние времена хватило бы одного взгляда на неизвестное животное, чтобы начала распространяться легенда. Полагаю, таким образом мы обычно и пытаемся дать рационалистическое объяснения мифам.

Коломбани, однако, считал местные верования чисто субъективным фактором, и потому нежелание арабов содействовать ему в исследованиях чрезвычайно его раздражало. Полагаясь на ненадежные карты и кое-как собранные устные сведения, он заключил, что вокруг островов Джузур-аль-Гаур сложились свои особые природные условия, отличные от таковых на прочих рифах в пределах его досягаемости, и крайне досадовал, что добраться туда ему мешают какие-то местные сказки. Мою теорию о происхождении легенды он выслушал с изрядной долей скепсиса: акулы Красного моря хорошо изучены; вероятность существования предполагаемого нового вида он призна́ет, только если своими глазами увидит выловленный экземпляр. И все же полагаю, что в душе он не был столь категоричен в этом вопросе,

как казалось внешне. Возможно, делать такие безапелляционные заявления в разговоре его вынуждало самолюбие, тогда как наедине с собой он допускал, что авторитетные источники, на которые он опирается, не являются исчерпывающими. С тех пор мне не раз приходило в голову, что моя гипотеза о неизвестном виде крупного хищника лишь подстегнула его стремление исследовать воды вокруг этих островов. Наверное, бессмысленно терзать себя этой мыслью — Коломбани добрался бы до них в любом случае. Этого требовала его любовь к браваде. О том, что он туда все же отправился, я узнал только после того, как все произошло.

Несколько раз до этого он уходил в море на всю ночь. Его интересовал местный способ ночной рыбалки с фонариками. В тот день он отплыл в полдень, пообещав мне возвратиться назавтра утром. «Махруса» как раз стояла на рейде под разгрузкой, а потом должна была загрузиться партией бараньих кишок. Мы работали через судоходное агентство Крейцера, и в кои-то веки мне нашлось занятие. И только после полудня следующего дня я слегка заволновался. Мы с Кобусом, капитаном «Махрусы», собирались пообедать на берегу и ждали Коломбани. Мы уже прикончили

бутылку ликера «Болс», принесенную Кобусом, а Коломбани все не было. За выпивкой мы то и дело поднимались на крышу моего дома и осматривали в бинокль песчаные отмели и узкие лодочные каналы между рифами и берегом.

Время близилось к двум часам; мы только что вернулись с одной из таких вылазок, когда в гостиную, тяжело пыхтя после трудного подъема по лестнице, ввалился Джирджи Хаддад.

«Его з-здесь нет? — заикаясь, спросил он и огляделся по сторонам, словно ожидая найти доктора Коломбани, но затем, отдышавшись, пояснил: — Они высадили его там, на рифе!»

Я увидел двух съежившихся арабов, которые притулились на лестнице и исподлобья поглядывали на нас, точно приговоренные к виселице. В одном из них я узнал хозяина парусной лодки, которую арендовал Коломбани. Джирджи на арабском грубо велел им рассказать, как все было и где они оставили доктора, но тут же, не дожидаясь ответа, сам пересказал нам то, что уже слышал от них. Итак, накануне днем они с Коломбани вышли в море и двинулись между рифами, по распоряжению доктора забирая на северо-запад. Ближе к вечеру они бросили якорь в образованном рифом заливе у границы

глубоководного участка, за которым лежали острова Джузур-аль-Гаур. Там доктор некоторое время плескался на мелководье. Затем он взял каноэ, которое они тащили на буксире, уложил туда свое снаряжение и в одиночку уплыл. Куда — они не знали и спросить не могли. Доктор часто плавал на каноэ один. В его отсутствие они коротали время за вечерней молитвой и приготовлением пищи. Они считали, что ему ничто не угрожает, поскольку доктор направился на север и держался вблизи рифа, а море в тот день было спокойным. На закате он не вернулся, и тогда они забеспокоились, поставили парус и тоже пошли на север, вглубь рифа, на поиски. Никаких следов доктора они не обнаружили, а когда стемнело, снова бросили якорь и разожгли огонь в жаровне, чтобы подать ему сигнал. Они прождали его всю ночь, но он так и не возвратился, и утром им ничего не оставалось, кроме как плыть восвояси, прочесывая морскую гладь глазами, но каноэ безвозвратно исчезло.

Вот что они поведали, и сколько бы Джирджи ни кричал и ни бранился, больше он не вытянул из них ни слова. Разумеется, даже из этого скудного рассказа мне четко были ясны факты: Коломбани уговорил их доставить его до бли-

жайшей к Джузур-аль-Гаур точки, где можно было встать на якорь, а потом поплыл к островам на веслах, намереваясь вернуться на лодку ночью или следующим утром. В том, что он сумел объяснить им свой план при помощи жестов, я сомневался, однако при любом раскладе они не собирались признавать, что видели, как он отправился к про́клятым островам, и побоялись последовать за ним. В своей типичной манере утром они пришли не ко мне, а к Джирджи и, как утверждал последний, возможно, совсем ничего бы не рассказали, если бы другие люди, включая береговую охрану, не увидели, как они возвратились в лодочную гавань без доктора, и не допросили их. Кроме того, они понесли убытки из-за утраченного каноэ и рассчитывали на компенсацию. Джирджи ругал их на чем свет стоит и грозил карами властей на всех уровнях, начиная с самого короля.

Я поделился с Джирджи и Кобусом своей версией событий, и мы еще раз залезли на крышу. Смысла в этом практически не было, ведь острова находились на большом удалении, и в любом случае низкая желтая марь, стелившаяся над океаном, ограничивала видимость примерно пятью милями, но, думаю, услыхав о происшествии,

Кобус интуитивно решил взглянуть на погоду. Я обратил внимание, что ветер сменился на юго-западный; воздух сделался суше, температура заметно выросла; я почувствовал в носу легкую щекотку — предвестницу обжигающе-знойного ветра из пустыни.

Я не верил, что Коломбани утонул. Да, его *хури* могла опрокинуться, но эти лодочки-долбленки не тонут, и, хотя на большой глубине одному человеку — по крайней мере, одному европейцу — перевернуть ее обратно не под силу, за нее можно уцепиться или, держась на плаву, толкать вперед. Если Коломбани перевернулся между рифом и островами Джузур-аль-Гаур, у него были все шансы добраться до суши: проплыть два или три мили для него сущие пустяки. Вот только эта глубина… Несмотря на опровержения Коломбани, я думал об акулах.

Мой шкипер ожидал нас в лодочной гавани, чтобы после обеда отвезти Кобуса на «Махрусу». Мы собрали на перекус немного хлеба и мяса, взяли несколько бутылок воды и на моем старом «шевроле» поехали в гавань. Джирджи, уж не знаю, чем он там грозил — тюрьмой, кандалами или пальмовыми розгами, заставил *раиса* — владельца лодки Коломбани — ехать с нами.

Это было ошибкой, ибо по тому, как он что-то залопотал Ридхе, едва мы ступили на борт моего баркаса, и по хмурому взгляду, который Ридха бросил на меня, услыхав приказ идти на север, я понял, что моя догадка верна: они знали, что Коломбани отправился на Джузур-аль-Гаур. Я ожидал, что теперь баркас поведет себя наихудшим образом, но Кобус знал это судно, и, когда мы благополучно вошли в канал, велел Ридхе подойти к «Махрусе».

«Нам пригодится мой механик», — сказал он.

Проревев что-то на фламандском, он выкликнул судового механика, неряшливого старого бельгийца, который выполз в одних штанах и тельняшке, отчаянно зевая и почесываясь, выслушал распоряжения Кобуса и, как был босиком, перелез через борт «Махрусы» и плюхнулся в баркас. Скрутив папиросу, он сел и, не говоря ни слова, принялся угрюмо сверлить взглядом воняющий и кашляющий старенький мотор; когда же тот заглох и Ридха с мольбой посмотрел на меня в надежде, что я отменю экспедицию, бельгиец оттолкнул шкипера с дороги и снова запустил двигатель.

Мы рассчитывали, что хозяин лодки, подручный Коломбани, проведет нас через рифы к тому

месту, где вчера вечером они бросили якорь, однако по его вине мы дважды сели на мель. Оба раза при помощи шестов нам удалось сняться без ощутимого ущерба, и после этого я сам взялся за штурвал, а Кобус, встав на носу, повел нас по извилистым каналам, руководствуясь собственным разумением, пока наконец мы не вышли к темно-синей полосе глубоководья, за которой находились острова Джузур-аль-Гаур.

Я устремился к ним, и старик-бельгиец разогнал двигатель на полную мощность. Вне всяких сомнений, я был предрасположен к такому впечатлению, и все же от громкого, ритмичного стука мотора и яростного шипения носовой волны, с которым наше судно рассекало ленивую зыбь, у меня на миг замерло сердце: мы словно заявили о себе, бросили бесповоротный вызов и теперь должны идти до конца. Низкие серовато-коричневые песчаные наносы и выбеленные солнцем кораллы приближались. Острова были совершенно голыми и пустынными, и даже морские птицы не кружили над ними.

Оба араба съежились на дне лодки, и до меня доносился тихий голос Ридхи, нараспев повторявшего что-то из Корана: «Я прибегаю к Господу

зари, удаляюсь от зла, Им сотворенного…[38] Прибегаю к защите Господа… от джиннов и людей…» Лицо шкипера, обычно смуглое, темно-коричневое, сделалось сперва оливково-зеленым, а затем приобрело цвет, близкий к окрасу брюха ящерицы, — оттенок, которого на человеческой коже я не видел ни до, ни после того.

«Средний вперед!» — скомандовал Кобус, и я направил судно между двумя первыми островками. Все вместе они образовывали небольшой архипелаг; глубокие ярко-синие воды омывали подножия миниатюрных утесов, образованных мертвыми кораллами, и песок на их поверхности сиял белизной под бледным, раскаленным небом. Волна, порожденная нашим подходом, с клекотом и всхлипом билась о берег по обе стороны от нас, и в пустотах коралловой породы этот звук был внезапно громким и резким. Я вдруг осознал, какая безжизненная тишина царила на этом архипелаге до нашего вторжения, и понял, что ни за что на свете не отправился бы сюда в одиночку, как Коломбани. Я опустил глаза прямо в сгущающуюся синь воды и всматривался в нее, пока взгляд не потонул в непроглядной черноте.

---

[38] Примечания: 38
Коран, сура 113 «Заря».

У меня возникло ощущение, что именно там, в безднах между островками, а не тут, на блеклых, хлипких клочках суши, где воздух пуст, а лучи солнца пробиваются сквозь мутную песчаную мглу, сосредоточена суть этого места, его, как бы это сказать, нрав, его *жизнь*. Я в полной мере почувствовал пугающую мощь этих глубоких вод, что качали и перемещали нас.

Здесь-то уж нам не грозило сесть на мель. Коралловые башни, верхушки которых образовывали видимую часть островов, уходили отвесно вниз. Я вел баркас, следуя указаниям Кобуса, мы двигались по синим дорожкам, огибая островок за островком, и все это время Кобус, Джирджи и бельгиец прочесывали взглядом невысокие песчаные холмики и впадины. Петляя таким образом и обойдя практически весь архипелаг, мы не обнаружили ни единого следа не только Коломбани или его каноэ, но и вообще какого-либо живого существа, пока наконец на самом малом ходу не двинулись вокруг мыса, принадлежавшего, пожалуй, наиболее крупному острову из всей группы. Он возвышался над морем на пять или шесть футов, и видеть его поверхность мы не могли. Кобус жестом велел мне развернуть баркас боком, и я решил, что он хочет вскарабкаться

на остров. Когда же мы обогнули крайнюю точку мыса, я заметил трех огромных рыб.

Ридха увидел их раньше меня, остальные, кажется, не заметили вовсе. Глаза моих спутников были устремлены на сушу, тогда как я смотрел на воду. Мой шкипер издал нечто среднее между вскриком и стоном, а потом взвыл: «Я верю в Господа и в Его ангелов…» Я вздрогнул от неожиданности, но в тот момент не связал его внезапное обращение к символу веры с этими рыбами, я думал, он просто напуган предстоящей высадкой на остров. Я говорю «рыбами», потому что ничем иным они быть не могли, однако это были не акулы. Я точно знал это уже в ту долю секунды, когда краем глаза уловил блеск всплывающих существ. Спинные плавники у них отсутствовали. Мне померещилась — я не могу использовать слово «видел» для столь краткого промежутка времени — круглая голова, и после причудливого поворота на поверхности показалось что-то вроде горба или закругленной спины; среди мерцания воды и отблесков солнца сверкнула мокрая кожа, а потом не осталось ничего, кроме смутных теней, которые быстро растаяли в переменчивой стеклянной синеве глубоководья. Вы скажете, что это были дельфины, но у

дельфинов тоже имеется спинной плавник, и на воздухе они кажутся шоколадно-коричневыми, а переворачиваясь, показывают гладкое белесое брюхо. Эти же создания были черными, точнее, исчерна-зелеными.

Тогда у меня не было времени размышлять о них, потому что, едва мы обогнули мыс, Кобус закричал: «Вон он!» За мысом поверхность острова полого уходила вниз, и на склоне, доселе от нас скрытом, лежал Коломбани.

Я причалил к берегу; Джирджи вогнал отпорный крюк в кораллы, и мы спрыгнули на сушу. Коломбани лежал как мертвый, лицом в песок. Он был в купальных трусах, но потерял одну пляжную туфлю — эту обувь он специально надевал, когда исследовал рифы. Маску с очками он сжимал в руке, как будто сорвал ее с лица, выбравшись на берег, и, рухнув, так и не выпустил из пальцев. Мы приподняли его, он протяжно застонал и распахнул глаза. Потом глазные яблоки закатились вверх, а губы, к нашему изумлению, разошлись, обнажив зубы, и на лице отразился невообразимый ужас. Коломбани широко раскрыл рот и попытался закричать, но сумел испустить лишь какой-то глухой скрежет. Кажется, мы были так потрясены, что отшатнулись

от него. Я обратил внимание, что и конечности, и все туловище у него покрыты длинными прямыми порезами, как если бы он продирался между острыми краями живого кораллового рифа. Царапины были неглубокие, но успели покровоточить изрядно и, видимо, болезненно саднили. Я решил, что он кричал от боли, что мы как-то навредили ему, когда поднимали, поэтому теперь постарались действовать бережнее, однако он начал отбиваться и сопротивлялся так яростно, что понадобилась вся наша сила — сила трех мужчин, чтобы преодолеть несколько ярдов до баркаса. На борту при помощи Джирджи мы уложили несчастного и попробовали влить ему в рот немного воды, но без особого успеха. Коломбани бился, точно выброшенная на берег рыба, закатывал глаза, так что виднелись только белки, кривил губы, хрипел и булькал, как припадочный. Кто-то должен был удерживать его всю обратную дорогу до гавани, не то он наверняка кинулся бы за борт.

Мы были ошеломлены. Мы предполагали, что обнаружим его — если найдем — в скверном состоянии от обезвоживания и долгого пребывания на жаре, поскольку, хоть он и привык к зною и загорел дочерна, как настоящий араб, ни один

европеец без воды, одежды и клочка тени не выдержал бы десяти часов на солнцепеке, так или иначе не пострадав от теплового удара. Однако столь буйного расстройства психики мы никак не ожидали и понятия не имели, чем помочь. Врача в Кунфиде тогда не было. Сириец, который зарабатывал на жизнь продажей пилюль, уехал в Джидду. Скромному суденышку Кобуса доктор тоже не полагался. Все наши объединенные медицинские познания сводились к тому, что пациента необходимо держать в темном помещении, охлаждать ему лоб влажными полотенцами и пытаться влить в него успокоительное, какое найдется у капитана.

Отчасти нам это удалось. По крайней мере, когда мы уложили Коломбани в постель у меня дома, он затих и больше не сопротивлялся, если не считать одного краткого приступа буйства, когда я стал вынимать из его ушей резиновые затычки. Он вставлял их, когда долго плавал под водой, но оставил в ушах на острове, хотя маску с себя сорвал. Едва я избавил его от затычек, он зажал уши ладонями и стиснул зубы, как будто мучился страшной ушной болью. Я мог лишь предполагать, что он повредил барабанные перепонки, слишком глубоко погрузившись в водах

Джузур-аль-Гаура, однако, глядя, как Коломбани со стонами мечется, дико гримасничает и прижимает ладони к ушам, можно было подумать, что он боится услышать наши голоса, пытается избежать какого-то особенно ужасного звука.

Нам оставалось лишь одно. Я впервые видел столь тяжелые последствия солнечного удара и, естественно, опасался, что состояние Коломбани осложняется чем-то еще. Максимум, что было в наших силах, — это доставить его в госпиталь в Порт-Судане. Назавтра Кобус как раз уходил в рейс, и, по счастью, первым портом захода был именно Порт-Судан. Его тесное, душное суденышко не предназначалось для перевозки пассажиров, однако на нем имелась двухместная каюта, которую он при необходимости отдавал мне, на время выселяя оттуда постоянных жильцов — своего помощника-гоанца и второго механика. Конечно, переход был недлинным и занимал всего одну ночь. Я решил сопровождать Коломбани.

Я чувствовал за него определенную ответственность. Ну да, он был французом, и, если бы встал вопрос о переправке его назад в Европу, этим пришлось бы заняться французскому консульству, но он поселился у меня по рекомендации

нашего главного управляющего, и, кроме того, наша фирма распоряжалась его средствами. Кобус согласился предоставить нам каюту на «Махрусе», и я начал паковать вещи Коломбани.

Хозяин лодки вернул оставленное на борту снаряжение, но узнать, что пропало вместе с каноэ, было нельзя. Собирая вещи, я составлял опись и, дойдя до необходимости упомянуть о возможной утрате части имущества во время несчастного случая с каноэ, принялся более серьезно размышлять о том, что могло произойти. Каноэ рано или поздно найдется либо дрейфующим вверх дном, либо вынесенным на берег, но особой ясности это не прибавит. Чтобы узнать правду, нам следовало дождаться, когда Коломбани придет в себя. Почему же он не поплыл обратно на ближний к берегу риф, когда потерял лодку? Почему лежал на пустынном островке под палящим солнцем, хотя от рифов его отделяло всего чуть более мили? Такой пловец, как Коломбани, вполне мог преодолеть это расстояние, а уж оттуда, переходя вброд и переплывая короткие отрезки, добрался бы и до берега. Что-то помешало ему переплыть ту полоску глубоководья. Неужели он что-то увидел? Нечто такое, с чем побоялся столкнуться?

Я вспомнил о трех огромных рыбах, увиденных

мельком. Это они — те редкие хищные твари, о которых мне подумалось раньше, «морские создания» из арабских легенд? Возможно ли, что это были они? Я не определил вид этих существ, но не мог ли Коломбани с его гораздо более обширными познаниями о морской фауне идентифицировать их как нечто опасное и совершенно неожиданное, а потому и не осмелился заплывать на их территорию? А может, он пересекся с ними в воде, спасся исключительно благодаря своему мастерству пловца и, истощенный этим нечеловеческим рывком, только и смог, что выкарабкаться на этот низкий остров, за пределы досягаемости морских тварей? Я слыхал об акулах, которые преследовали плоты и маленькие лодки со спасшимися после кораблекрушения людьми. Что, если эти существа с лоснящимися темными спинами гнались за ним, а после кружили вокруг островка, превратив Коломбани в пленника и с холодным, бесстрастным терпением хищников дожидаясь, пока добыча вернется в их стихию? Я легко мог вообразить, как они медленно курсируют взад-вперед, всего в нескольких ярдах от Коломбани, и как их спугнул только громкий стук винта моего баркаса, нарушивший зловещее безмолвие охоты. Я не позволил себе долго задерживаться на

этой картине: неотступное преследование, хладнокровное стремление убить и сожрать, которое движет обитателем другой стихии, с научной точки зрения выглядит вполне рационально, однако представлять такое страшно.

Я провел бессонную ночь у постели Коломбани. Он без конца бредил, и я не смел от него отойти. Прикасался я к нему с величайшей осторожностью, ибо, ощущая мою руку, он всякий раз начинал метаться в каком-то припадке, хотя при этом и не просыпался. Я склонялся к мысли, что моя теория верна: он действительно столкнулся с этими тварями, и последним, что отложилось в его сознании, был ужас перед ними, и теперь, в лихорадочном кошмаре, он пытался от них спастись.

К утру больной немного успокоился; температура снизилась, он лежал с закрытыми глазами и больше уже их не закатывал и не таращился так жутко, как делал вчера. Тем не менее ни одного внятного слова я от него добиться не мог, он лишь что-то бессвязно бормотал, стонал и всхлипывал, не переставая прижимать ладони к ушам.

Сразу после полудня мы перенесли его на борт и уложили на койку в каюте. Кобусу не терпелось поскорее выйти из Кунфиды, так как погода

портилась. Ветер окончательно переменился на восточный и задувал из жарких земель, словно из печного жерла, воздух пожелтел от взвеси мелкой песчаной пыли. Погрузка, однако, шла не быстрее, чем обычно, и сняться с якоря мы смогли только за полтора часа до заката. Кобус беспокоился не просто так. Подходы к Кунфиде почти не имели разметки; все три капитана, служивших в компании Крейцера, — кстати, единственной, чьи суда в то время заходили в этот порт, — терпеть не могли таких рейсов, а когда холмы за городом пропадали из видимости, как произошло в тот день уже к четырем часам пополудни, навигация становилась вдвое сложнее. Восточный ветер не только несет с собой тучу пыли, скрывающей береговые ориентиры, но и заметно влияет на уровень воды на отмелях и песчаных банках. Я собственными глазами видел, как при восточном ветре береговой риф обнажился на ширину мили, тогда как в остальное время его на два-три фута покрывала вода.

Впрочем, когда я заглянул в каюту Кобуса пропустить стаканчик, все как будто бы шло хорошо. Мы ползли навстречу оранжевому, необычно раскаленному закату, вокруг кольцом висел сухой желтый туман, а внизу катил длинные

медленные волны гладкий, маслянисто-черный океан. Сушу позади нас заволокло плотным облаком багряно-фиолетовой пыли, которое будто бы тянулось за нами в море, однако пыль эта высоко не поднималась; воздух над нашими головами был довольно прозрачным, так что я различил молочное сияние луны, начавшее пробиваться из-за темного гребня пыли в небе на востоке. Когда воспаленное рыжее марево впереди нас остыло и потухло, а чернота борта слилась с чернотой воды, луна озарила висящий в атмосфере пылевой туман и мы оказались окружены стеной бледно-золотого свечения. «Махруса» и в лучшие времена не могла похвастаться скоростью, теперь же, когда со всех сторон поднимались эти мягкие стены и лунный свет затмил на темно-синем куполе все звезды, кроме самых ярких в созвездиях Лиры и Лебедя, я был готов поверить, что рокот мотора — это всего-навсего показное механическое бормотание, что море просто качает нас туда-сюда, вверх-вниз и на самом деле мы никуда не движемся.

Кобус зашел в каюту, выпил и снова поднялся на мостик, оставив механика-бельгийца и меня наедине с бутылкой голландского джина. Я сомневался, правильно ли поступил, решив

поехать вместе с Коломбани. Его состояние вроде бы улучшалось естественным образом. Раз или два за вечер мне показалось, что он полностью пришел в себя: я поймал на себе его взгляд, и он прекратил сжимать голову руками, как будто уши — или боязнь того, что может в них проникнуть, — его более не беспокоили. В какой-то момент я заметил, как Коломбани повернул голову и слегка приподнялся, словно вслушиваясь в неведомый звук, но, когда я к нему обратился, он не ответил и, кажется, вообще меня не слышал. Однако к заходу солнца он, насколько я мог судить, уже спал нормально, и, повторюсь, я все больше склонялся к мысли, что сон и наше примитивное лечение в виде покоя и темноты вполне могли его исцелить. Если так, наш главный управляющий мог весьма неодобрительно отнестись к тому, что я на две недели самовольно оставил дела фирмы на местного помощника.

В перерывах между долгими паузами мы с механиком обменивались репликами — едва ли это можно назвать беседой — о происшествии с Коломбани. Мы курили и потягивали джин под равнодушный стук мотора и невнятную болтовню сомалийских матросов, бубнивших где-то на носу. Несмотря на скверную погоду, этот переход

обещал быть точно таким же, как все остальные, совершенные мной на «Махрусе».

Кажется, я подумал об этом всего за минуту до того, как ощутил странный, мягкий скользящий толчок и, наверное, последним на борту сообразил, что именно произошло. До меня донесся звон машинного телеграфа и крепкая брань Кобуса на мостике, и я понял, что мы налетели на мель. Бельгиец моментально выскочил из каюты, я последовал за ним и услышал громкое, изменившее звук тарахтенье гребного винта: двигатель переключился на задний ход. Поднявшись на мостик, я присоединился к капитану и его механику. При взгляде за борт мне показалось, что вода немного посветлела. Пыльная мгла, отполированная лунным светом до оттенка новенького золотого соверена, по-прежнему окутывала все вокруг; море под нами словно бы отражало призрак этого света и напоминало зловещую бледную пелену, подернутую рябью волн от нашего тщетно крутившегося винта.

«Это риф Дахира, — сказал Кобус. — Должно быть, мы примерно в миле от его внешней границы. Между нами и вашим чертовым Джузур-аль-Гауром пять миль глубины, я и должен выпихнуть на нее эту посудину!» Он отправился

на корму, а я остался на мостике. Через некоторое время мотор замолк, и Кобус с механиком вернулись в каюту капитана.

Они пришли к выводу, что мы сели не очень крепко. Все из-за восточного ветра, заявил Кобус. В обычных условиях судну с такой малой осадкой, как у «Махрусы», вполне хватило бы глубины. При нормальном состоянии моря часть рифа выступала из воды и в сколь-нибудь ясную ночь его можно было разглядеть издалека. Кобус сделал поправку на то, что нас может немного снести к западу, но явно недостаточную. Впрочем, так как после захода солнца ветер улегся, Кобус заключил, что ухудшения ситуации можно не опасаться и есть все шансы, что к утру вернется северный ветер, так как восточные ветра редко дуют больше сорока восьми часов кряду. Стоит воде хоть немного подняться, и мы будем спасены.

Радиста на «Махрусе», конечно, не было, однако у Кобуса имелся небольшой радиопередатчик, встроенный в некое подобие шкафа за дверью капитанской каюты. Обсудив между собой, не запросить ли у Порт-Судана помощь буксира, Кобус с механиком отказались от этой идеи: по всем расчетам мы снова должны были оказаться на

плаву раньше, чем подойдет буксир, и потом еще пришлось бы заплатить кругленькую сумму буквально ни за что. Тем не менее Кобус сказал, что все равно попытается связаться с Порт-Суданом и передать информацию для тамошнего отделения нашей компании. Вдвоем с бельгийцем они принялись возиться с радиопередатчиком, а я виновато вспомнил про Коломбани, о котором совсем позабыл во всей этой суматохе, и пошел его проведать.

Вокруг было гораздо светлее, чем раньше: луна поднялась высоко над пыльной мглой, и, на мгновение задержавшись на палубе перед каютой, я совершенно отчетливо видел все судно. Странное это чувство — когда корабль неподвижно стоит, находясь вдали от суши. Мне не раз доводилось садиться на мель, выходя в море на баркасах и туземных парусных лодках, но на пароходе, пусть даже на такой неуклюжей маленькой барже, как «Махруса», все ощущалось иначе. Вас охватывает непонятная беспомощность: вы не можете перевалиться за борт, подставить под днище плечо и вытолкать лодку на воду, как делают моряки на самбуках. Как ни странно, но, когда мотор молчит, а вода вокруг застывшего корпуса плещется и журчит на другой ноте, ваше судно

больше, чем во время движения, напоминает живое существо: оно беззащитно замерло, будто опутанное сетями, и ждет, что с ним сделает море. Стоя в одиночестве на узком пространстве между бортом и дверью в каюту, я только теперь впервые почувствовал, что мы в опасности. Опасность исходила от окружающей нас пустоты; «Махруса» внезапно показалась мне маленькой и затерянной; я остро ощущал мрачную, темную бесконечность враждебных вод, что напирали на нас сзади и скрывались под бледной завесой тумана.

С Коломбани все было в порядке. Я не стал включать электричество, а чиркнул спичкой и при свете пламени увидел, что он лежит с закрытыми глазами. Оставив дверь приоткрытой на крючке, я вернулся в каюту Кобуса, где обнаружил, что им с механиком пока не удалось вытрясти из радиоприемника ничего, кроме удивительно разнообразных видов писка, свиста и хрипа. Как и следовало ожидать, устройство не работало, однако бельгиец обещал в скором времени наладить связь. Я надел запасные наушники и сел на корточки, вслушиваясь в звуки, которыми сопровождались его старания.

Не знаю, что заставило меня снова выйти на па-

лубу, — пожалуй, чистая скука, овладевшая мной после того, как полчаса бесполезно вслушивался в чириканье и кудахтанье радиоприемника. Возможно — точно не знаю, — сквозь различные шумы аппарата пробился некий звук, значение которого я не понял умом, но уловил подсознательно. Я подошел к двери и, как и прежде, немного постоял, ожидая, пока глаза привыкнут — нет, не к темноте, скорее к перемене освещения. В ушах все еще гудело от пронзительного свиста радиоприемника, и, помню, я закрыл их ладонями, чтобы облегчить дискомфорт от наушников. Пение отличалось странным свойством, звучало словно бы само по себе, а не у меня в голове: высокая, затихающая, но протяжная нота, похожая на завершение музыкальной композиции, как будто блуждала над затянутой дымкой поверхностью моря. Я все еще слышал ее, когда опустил руки и рефлекторно встряхнул головой, но не смог бы сказать наверняка, продолжает она вибрировать в воздухе или уже только в моей памяти. Кажется, я посмотрел на бак, предположив, что это кто-то из сомалийцев играет на своей примитивной лютне, одной из тех, что они мастерят сами, однако звук был не характерным для струнного инструмента и в целом не имел

ничего общего с восточной вокальной музыкой, когда-либо слышанной мною. Я подошел к борту и оглянулся на корму, и тогда в нескольких ярдах от себя, у двери в мою каюту, увидел фигуру в светлых пижамных брюках.

Это был Коломбани. Я был так потрясен, что на секунду лишился дара речи, и, не успел я пошевелиться, как он уже вскарабкался по лееру — проворно и ловко, словно бы полностью восстановил силы и самоконтроль. Я метнулся к нему, но прежде чем протянул руку, Коломбани выпрямился и ласточкой прыгнул за борт.

Я услыхал всплеск, до странности звучный и долгий, не тот короткий звук, с которым в воду падает одно тело, а такой, как если бы сразу несколько человек барахтались на поверхности и шумно колотили по ней руками и ногами. С криками: «Человек за бортом!» — я перегнулся через леер, вглядываясь в темноту. Мрачный ужас медленного, тускло мерцающего водоворота за черным бортом «Махрусы» заставил меня отпрянуть. Надо было тотчас прыгнуть следом, но у меня не хватило духу. Нашарив спасательный круг, висевший сбоку, я поднял его над головой, намереваясь бросить в воду, и опять увидел давешние три фигуры. Я говорю «опять»: бог его

знает, были ли это именно они, но я узнал в них существ того же вида, как те, что скрылись в глубоких водах у островка, где мы обнаружили Коломбани. Ростом приблизительно с человека, черно-зеленые, с отблесками лунного света на влажных изгибах упругих тел, которые двигались с ужасающей быстротой и маневренностью, они с прыжками и переворотами несколько секунд резвились вокруг тающего белого пятна, подобно дельфинам. Однако то были не дельфины и не какие-либо другие морские животные, которых я встречал в жизни или в книгах, ибо на этот раз я успел заметить не только их округлые головы, не только человеческую плавность очертаний их гладких рыбьих фигур. За секунду до того, как бросить спасательный круг, я увидел гибкие черно-зеленые руки, рассекающие волны, а когда одна из блестящих мокрых фигур выскользнула из воды и полуобернулась в мою сторону, передо мной мелькнуло бледное лицо, и, прежде чем оно снова отвернулось и скрылось в толще этого причудливо посеребренного моря, я узрел рот с губами, искривленными не то в улыбке, не то в насмешке.

Кобус быстро спустил на воду шлюпку и повернул один из погрузочных прожекторов на

мостике таким образом, чтобы свет падал на воду. Вместе с гоанцем — помощником капитана, механиком и двумя матросами мы с полдюжины раз прошли туда-сюда вдоль левого борта «Махрусы» и три-четыре раза обошли судно кругом, но не обнаружили на поверхности ничего и никого, даже самой мелкой рыбешки. Мы подобрали спасательный круг и прекратили поиски, хотя не гасили фонарь на мостике до самого утра, уповая на теорию Кобуса о том, что Коломбани, явно повредившись рассудком, мог не только сигануть за борт в приступе безумия, но и вернуться после того, как вдоволь наплавается. Вахтенному было велено глядеть в оба; я тоже не уходил с палубы, пока не рассвело, всматриваясь — и вслушиваясь, — но за все это время более ничего не показалось на поверхности воды и ничто не нарушало тишины. Как и предсказывал Кобус, за ночь восточный ветер стих, и после часового штиля подул нормальный бриз с севера. К восходу солнца воздух очистился от пыли, и воды на рифе оказалось достаточно, чтобы «Махруса» благополучно снялась с мели.

Я попробовал рассказать Кобусу о том, что видел. Нет, о том, что мне привиделось, поскольку к тому времени, как я снова поднялся на борт

после безуспешных поисков, я уже сомневался, действительно ли был свидетелем того, чем только что поделился с вами. Акулы, заключил Кобус, либо дельфины. В этом море ничего другого не водится. Я неуверенно попытался описать то, что показалось мне руками и головами.

«Это были руки нашего бедолаги, — заявил Кобус. — При нападении акул вода как раз бурлит и пенится. Разглядеть, что происходит ночью в морской воде, трудно, особенно для того, кто не привык видеть океан при разном освещении».

Поэтому, давая показания на допросе во французском консульстве, я сообщил лишь то, что Кобус полагал фактами, и не более того, в чем мог бы поклясться я сам, хоть тогда, хоть сейчас.

* * *

Мы смотрели друг на друга, Тергус и я, сидя напротив за обитым железом столиком в уголке тихой террасы отеля «Красное море».

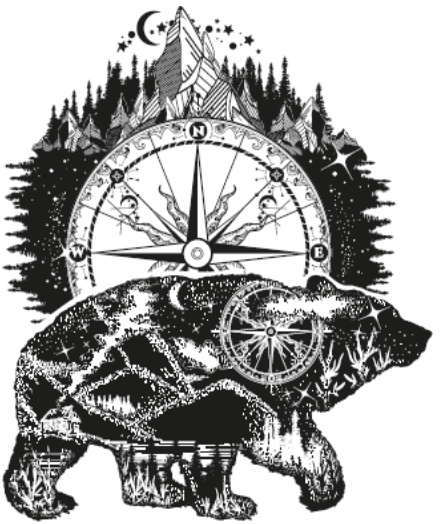
— И все-таки, — произнес он после долгой паузы, — рассказ Станислава подтверждает, что есть кое-кто, кому точно известно, что именно я видел. У старика Али Хамдани перед глазами были неопровержимые доказательства существования морских созданий, а он самый нелюбопытный

человек во всей Аравии; если бы он не воспринял тот давний, узренный им феномен с таким простодушным безразличием, если бы принялся рассказывать о нем в городе как о чуде и эта сказка дошла бы до меня, возможно, тогда бы я знал, с чем столкнулся в ту ночь, и вовремя догадался бы, от какой песни Коломбани пытался оградить свой слух.



Хан[39]

От медведя
Спасаясь, по дороге встретим море, —
И к зверю в пасть вернемся.
«Король Лир»[40]



[39] Примечания: 39
Перевод Д. Кальницкой.

[40] Примечания: 40
Перевод М. Кузмина.

Зимний вечер в Тебризе времен Автономного демократического правительства[41], — говоря это, я живописую, вероятно, запредельную степень унылости. Расположенный на голой, продуваемой ветрами равнине Тебриз не может похвастать красивыми видами. На юге взгляд упирается в нагие тускло-коричневые предгорья Сехенда; на севере на горизонте громоздится лысая глыба горы Мишов; на востоке, где дорога убегает к далекому Казвину, каменистые складки наползают вверх к перевалу Шебли, закрывая даже видимость пути к бегству. На западе — просто погрешность пейзажа; скатившись туда, все гибнет в безжизненных водах соленого озера Урмия. Даже в те краткие весенние недели, когда стихает ветер и на голубом небе появляются крапинки белых облаков, а чахлые миндальные и абрикосовые деревья в садах, окруженных ветшающими глинобитными стенами, ненадолго набираются храбрости и расцветают розовым и белым, слабая улыбка Тебриза вызывает скорее жалось, нежели влечение.

---

[41] Примечания: 41

Демократическая республика Азербайджан, или Азербайджанское народное правительство, — государственное образование со столицей в Тебризе, созданное при участии СССР, которое просуществовало в Иране с 1945 по 1946 г.

Это огромный город, по крайней мере по меркам Ирана, а в Иране, следует признать, сравнивать особо не с чем. Путь от железнодорожного вокзала (откуда можно было бы уехать в Россию, имейся у вас пропуск) до контрольного пункта на дороге в Тегеран (там тоже понадобится пропуск, желательно русский) составляет полных шесть миль. Внутри этих границ жмется сам город: сбившиеся вместе пыльно-серые неотличимые друг от друга дома с плоскими крышами, разделяющие их узенькие витые, мощенные булыжником улочки. Подобно обноскам персидского попрошайки, город являет собой скопление сшитых вместе лоскутов, один меньше другого, так что глаз уже не видит разницу между ними, и само многообразие вариаций на тему упадка сливается в одну обшарпанную монотонность. Только местами из унылого пейзажа выбивается какой-нибудь цвет или силуэт. Вот, запустив корни под мостовую тихой улочки-куче[42], поднял круглую макушку над крышами древний вяз. В любую пору он одинаково черен: летом одет унылой темной листвой, зимой топорщится переплетением темных ветвей. По-тюркски его

[42] Примечания: 42

Куче́ — типичные для Персии узкие извилистые улочки, на отдельных участках крытые.

называют «кара-агадж» — черное дерево; такие склоняются над дверями мечетей. Из тесных зажатых между домами двориков робко тянутся дрожащие на ветру бледные ветви тополей, такие хилые и по-паучьи тонкие, что, когда на них нет листьев, они стыдливыми призраками сливаются с тусклым фоном и были бы вовсе незаметны, если бы не черные неряшливые клубки вороньих гнезд — такие каждый тополь возносит от греха подальше в ветреные небеса.

Здесь оставил свой след Реза-шах[43], хоть его яростные попытки и выдохлись, не выдержав долгий путь из Тегерана. К примеру, Тебриз, как и любой другой персидский город, через который он проезжал, прорезает широкий центральный проспект, или хиабан; этот проспект на протяжении двух километров, единственный во всем городе, покрыт асфальтом, а выстроившиеся вдоль него магазины несут на себе некие безликие общеевропейские черты. На востоке хиабан упирается в круглую площадь, майдан, — такие средоточия гражданской жизни шах повелел устроить в персидских провинциях; но на май-

[43] Примечания: 43

Реза-шах Пехлеви (1878–1944) — предпоследний шах Ирана (1925–1941), инициатор целого ряда реформ. В 1941 г. отрекся от престола под давлением оккупировавших Иран британских и советских войск.

дане успели возвести лишь одно общественное здание — собственно муниципалитет, шахрдари[44], который нам теперь следует выучиться называть более прогрессивным старомодным словом «балядийе»[45], а потом западная демократия, которой нужно было спешно выигрывать войну, вынудила Реза-шаха покинуть Персию. Реакционная башня муниципалитета, увенчанная английскими часами, возвышается над трущобами, но стрелки часов, переведенные на полчаса назад, показывают московское время. Единственный памятник, оставшийся от Реза-шаха (если не считать его бронзовую статую работы гамбургского скульптора Г. Шмидта в городском парке, но ее собираются заменить бюстом Саттар-хана[46]), — это силосная башня. Она возвышается на северо-западе неподалеку от Тебриза, умаляя все окрестные строения; над невразумительным невзрачным пейзажем господствует ее аскетичное функциональное до-

[44] Примечания: 44
Муниципалитет *(фарси).*

[45] Примечания: 45
Муниципалитет *(тюрк.).*

[46] Примечания: 46
Саттар-хан (1860-е — 1914) — один из участников Конституционной революции в Иране 1905–1911 гг., деятель демократического движения в Иранском Азербайджане.

стоинство, а еще некая каменная нечеловечность — призрачная холодная угроза, запечатленная на ликах египетских каменных колоссов. Вот только здесь она абстрактна и ее стерильность скрадывается тысячекрылой красотой кружащих вокруг голубиных стай.

Как известно, тюрка даже в лучшие времена трудно назвать воплощением жизнерадостности. Не увеселений он ждет от города. Сердце его — на базаре. И на тебризском базаре в более спокойную пору сердце его явно чувствовало себя привольно. Базар простирается или простирался на пять миль. Среди других азиатских базаров этот лабиринт извилистых кирпичных туннелей держится в моей памяти особняком благодаря своей чистоте. Летом приятно бродить в его прохладной тени; принюхиваться к запаху новенькой хлопковой ткани, сыра и кислого молока, вдыхать густой аромат жира, исходящий от мохнатых торб из козлиной шкуры; вот, пробираясь через толпу в полумраке, замечаешь, как солнечный луч, осязаемый, словно копье джинна, падая наискось через круглое отверстие в кирпичном своде, высвечивает одну-единственную дыню среди целой груды таких же, только-только доставленных из садов Духаргана, и дыня, вспыхнув, превращает-

ся в золотой шар, огнем сияющий в полутьме. В зимний день приятно зайти на базар по делам и укрыться там от пробирающего до костей ветра, от которого немеют губы и слезятся глаза; медленно бродить в людском потоке, принюхиваться к аромату специй, мешающемуся с запахом кебаба и горящего угля, от которого свербит в горле; слушать бойкий, но не слишком монотонный перестук молотков чеканщиков и сапожников и почти завидовать жизни уютно устроившихся в своих закутках лавочников, которые, презрев покупателей, отогревают ноги у жаровни под корси[47], прикрытым лоскутным одеялом. Иногда в такой вот день перед тем, как вернуться на хиабан и снова подставиться арктическим ветрам, я сворачивал из кирпичного туннеля в высокую дверь серая[48], заходил в тихий дворик, где торговали коврами, и присоединялся к группке мужчин, облаченных в темные пальто и фетровые шляпы — излюбленный наряд голливудских актеров, играющих сицилийских

[47] Примечания: 47

Корси́ — традиционный иранский низкий столик с обогревателем, покрытый толстой тканью.

[48] Примечания: 48

Серай — гостиница и одновременно торговое помещение, где останавливались приезжие купцы.

гангстеров; в вырезе каждого пальто белела рубашка, хоть и без воротника, но зато аккуратно скрепленная латунной запонкой. Любой из них, вероятно, мог бы, не одолжив ни крана, скупить весь серай, но при этом обедал обыкновенно ломтем хлеба и миской маста[49], собственноручно брился раз в неделю и неизменно носил одно и то же паршивое, не на заказ пошитое пальто, пока полы его, окончательно обтрепавшись, не начинали напоминать крестьянский овчинный тулуп. Тебризцы старой школы не выставляют богатство напоказ. Молча углубившись в подсчеты, стоят они и наблюдают за двумя носильщиками, которые ворошат одну за другой бесконечные кипы ковров. Время от времени делают шажок в сторону, чтобы пропустить вереницу ослов, груженных огромными перевязанными тюками. Ковры из Хериза и Мехравана, Тебриза, Шираза, Исфахана расстилаются на мостовой, пока происходит неторопливая процедура смены владельца. Маленькие ослики ступают по ним так бережно, словно их (и притом не в первый раз) привели в гостиную.

То было в старые недобрые реакционные вре-

---

[49] Примечания: 49
Маст — иранский вариант йогурта.

мена. А нынче вот уже много недель ни в сераи, ни из сераев не возят никакие ковры; высокие двери по большей части закрыты; многие купцы сбежали в Тегеран. Другие и хотели бы сбежать, но на дороге между Тебризом и Мияне не меньше двадцати блок-постов, и на каждом следующем вооруженные партизаны еще подозрительнее, чем на предыдущем. Национальная ассамблея Автономной азербайджанской республики только что (единодушно, без голосования) приняла закон, моментально приведенный в действие президиумом: у тех врагов народа, которые променяли демократическую азербайджанскую родину на лагерь реакционеров, надлежит конфисковать собственность.

Сегодня вечер пятницы, когда полагается предаваться отдохновению, сплетничать по углам и в кафе и фланировать по хиабану, чему может помешать разве что снежный буран. Ночь черна и холодна; косой ветер сыплет то ли дождем, то ли снегом. Под ногами скрипит снег, который вот уже полтора месяца лежит на затененной южной стороне хиабана и то подтаивает, то снова замерзает; истоптанный сапогами, он сделался похож на смесь отсыревшей соли и угля. Еще прогуливаются, понурив головы, немногочис-

ленные прохожие, но молча, их лица угрюмы. Не выглядят радостными даже фидаи — защитники революции. Может, они и шагают чуть бодрее невооруженных горожан, но, вероятно, лишь потому, что на них нет пальто. Рядом с русской читальней собралась группка людей, ничуть не радостнее прочих, — слушают на тюркском новости из Баку.

В более надежные времена горожане посолиднее всегда собирались по пятницам в Переходе — переулке, куда не допускается колесный транспорт и который соединяет хиабан со старым и прежде процветавшим кварталом Тебриза. Именно там встречались с друзьями, сплетничали, заключали сделки. Три или четыре кафе, чьи окна смотрят на Переход, считались первоклассными заведениями. Если вам нужно было в пятницу вечером найти в Тебризе какого-нибудь достопочтенного горожанина, вы, одевшись понаряднее, шли в Переход и слонялись там: рано или поздно нужный человек вам попадался. И тогда можно было либо приятно скоротать вечер прямо в Переходе, подперев стенку, либо заглянуть в кафе «Новин» или «Парс», выпить стаканчик чаю, послушать армянский оркестр и полюбоваться, как отплясывают с братьями армянские девушки.

Сегодня вечером в Переходе почти никого. На том конце, который заканчивается на хиабане, торчат несколько курдов — держатся особняком, цыкают зубом и искоса бросают мрачные взгляды на всех без исключения оборванцев-фидаев, проходящих мимо с перекинутыми через плечо винтовками. На курдах национальные костюмы: общую черноту разбавляют только длинные загнутые манжеты белых рубашек, свисающие из рукавов. Курды снова появляются в Тебризе в национальных костюмах, ведь Реза-шах мертв; во всем Курдистане и Азербайджане не осталось в живых ни одного персидского жандарма, а Кази Мухаммед[50] только что провозгласил в Соудж-булаге республику Курдистан. И снова во всей торжественной красе явились черные тюрбаны с болтающимися сзади концами и широкие черные шаровары, кушаки и войлочные жилеты, привлекающие взгляд среди потрепанных дешевых нарядов европейского покроя; но курды, отстав на марше прогресса, оставили дома винтовки. И им кажется, что их застали в неподобающем виде.

Почти все остальные немногочисленные прохо-

[50] Примечания: 50

Кази Мухаммед (1893–1947) — один из лидеров национально-освободительного движения курдов.

жие в Переходе бредут, уткнувшись в воротники пальто и засунув руки глубоко в карманы, и думают лишь о том, как бы поскорее добраться домой. Из кафе не долетают звуки музыки. Да и открыто только одно. Объявление на «Парсе», который недавно переименовали в «Труд», возвещает о том, что он скоро откроется после реновации. Реновация в основном происходит во взглядах владельца, которого новый режим засадил в камеру в полицейском участке, чтобы разрешить занятный казус, связанный с революционным взысканием налогов, за которое проголосовали (многозначительно подмигнув) свергнутые нами реакционеры.

В Переходе возле железного ограждения, которое в более беспечные времена до блеска отирали многие зады, стоят по старой привычке только двое — переводчик из британского консульства и переводчик из американского консульства. Они не собираются ради какой-то там революции отказываться от выпестованного за тридцать лет обычая, потому что верят в стабильность правительств, которые, по мнению большинства своих знакомых, представляют. Переводчик из британского консульства, получая пять сотен туманов в месяц, ухитряется одеваться лучше

всех в Тебризе. Он лениво, но с помпой опирается на трость с золотой окантовкой. Всё, что пока еще кажет нос из дома в революционном Тебризе, проходит мимо него, а он наблюдает. И трезво оценивает; это оценивающее выражение не до конца прикрыто обычным воистину тюркским презрением. В глазах тех знакомых, которые, проходя мимо, украдкой бросают виноватые взгляды, из благоразумия не решаясь поглядеть открыто, он опирается не на шаткую ржавую ограду у ветхой стены кинотеатра в азиатских трущобах, но на Англию с ее старинным и непоколебимым имперским порядком.

Подмигнув переводчику, который не торопится в знак приветствия коснуться шляпы, гадая, желаю я быть узнанным или нет, я приоткрываю дверь в кафе «Новин». Мне интересно, как скоро его название патриотично переведут на местный язык. Возможно, когда кто-нибудь определится, как же перевести «Новин» на тюркский. Или, возможно, владелец выжидает, пока не сотрется нынешняя надпись на витрине. Ждать осталось недолго. Внутри почти никого. Не только из-за революции люди отсиживаются по домам. Два года назад можно было посидеть часок в кафе за жалкие два крана — столько стоил стакан

чая в превосходном заведении. А теперь придется заплатить целый туман — почти в пять раз больше.

Внутри в «Новине» налицо все признаки тяжелых времен. Тусклая краска на стенах облупилась; скатерти в дырах, и пятен на них столько, будто предыдущие клиенты ужинали, не озаботившись тарелками; закрывающую нижнюю половину окна занавеску в последний раз стирали, вероятно, еще до революции. Неровную потрескавшуюся плитку на полу кое-как прикрывают ковры, видимо весьма преклонного возраста, ведь плотный херизский ворс (а это херизские ковры или когда-то были таковыми) по большей части истерся, а рядом с дверью и вовсе протоптан до дыр. Потолок закоптился из-за прохудившейся печной трубы, а сама печка, которую неумело собрали посреди зала, чтобы обогревать кафе в зимние холода, в одном месте уже почти прогорела насквозь: там мерцает тускло-красное, похожее на очищенный ошпаренный помидор пятно. В дальнем углу сгрудились вокруг столика трое армян, подняли воротники, сдвинули на глаза шляпы и что-то бормочут, время от времени поглядывая по сторонам. Один беспокойно потирает грязной рукой впалую небритую щеку.

Вид у них такой, будто они обсуждают, не замаскировать ли предстоящее убийство пожаром.

Давно уже на низенькой сцене в углу не усаживались скрипачи и лютнисты. На полках за лакированной стойкой — пять бутылей, семь разномастных стаканов, щербатое блюдечко с двумя сваренными вкрутую яйцами и вырезанный из газеты портрет азербайджанского премьер-министра.

Сидящая за барной стойкой толстуха в грязном черном платье поднимает от вязания усталый взгляд; изможденного вида официант, облокотившись на угол стойки, ждет, решусь я зайти или нет.

Посреди кафе за нашим обычным столиком не слишком далеко от печки сидит Нильс Трулсен, перед ним бутылка водки и блюдечко с фисташками. Я решаю зайти.

Официант шаркает ко мне принять пальто и шарф. Нильс смеется, откинув со лба прядь жидких мышиного цвета волос.

— Заходите, тут весело, — говорит он. — Ну-ка! Пистех ваир![51] — машет он рукой на блюдечко, на котором остались в основном пустые скор-

---

[51] Примечания: 51

Фисташек и еще чего-нибудь *(тюрк.).*

лупки.

Официант, чьи колени, судя по виду, эту ночь не переживут, уносит блюдечко. Я проверяю несколько стоящих возле столика стульев в поисках такого, у которого было бы три целых ножки; к тому моменту, когда я худо-бедно улаживаю дела с силой тяжести, официант приносит новое блюдечко с фисташками, тарелку с маринованными огурчиками и стакан для водки.

К женщине за стойкой присоединяется ее муж в кожаной жилетке и засаленной полотняной кепке — владелец заведения; вскоре подпереть стойку является еще один официант; все они, да еще трое армян в углу и некто неизвестный, заглядывающий в кафе с улицы поверх занавески, смотрят на нас мрачно, хотя без враждебности, даже без любопытства (ведь они видели нас уже сотни раз), но чуть завороженно: мы иностранцы, демократы нас недолюбливают, но трогать не осмеливаются; нам уготована иная судьба, им неведомая.

Нильс — датчанин, но вырос и получил образование в Англии. Его произношение не отличить от произношения урожденного англичанина. Много лет назад Нильс приехал в Персию в качестве служащего большой компании сканди-

навских подрядчиков. Трудно вообразить такую часть страны, где он не успел бы кем-нибудь поработать. Перед революцией руководил правительственной организацией, занятой сбором зерна в Азербайджане, и управлял силосной башней. Теперь Нильс не очень понимает, какая у него должность. С тех самых пор, как провозгласили Автономное демократическое правительство, в его конторе толкутся члены разных комитетов — распивают чай из его официального пайка и складывают на его столе винтовки, так что работать там нет никакой возможности.

Передавая друг другу бутылку водки, мы обсуждаем сегодняшние новости или, вернее, слухи, но без особого интереса. Слухи всегда реакционные и всегда врут. Я предпочитаю газеты; разумеется, я читаю их не в надежде обнаружить внезапное отклонение в сторону правды, но потому, что можно в целом вычислить, зачем власти взяли на себя труд напечатать ту или иную ложь. Эдакий двойной перевод. Сначала приходится разбирать слова: поскольку национальный язык Азербайджана раньше не использовался для письма, журналисты изощряются кто во что горазд и при этом никогда не повторяются. К счастью, революционный словарь весьма ограничен, а

суть пропаганды — в повторении. Так что дюжину или около того основных революционных выражений вполне можно опознать под любой орфографической личиной.

Официант не до конца задернул штору, и я наблюдаю в оставшуюся щель скудный поток пешеходов. Вот мимо кафе враскоряку проходят, тяжело топая сапогами, которые всегда кажутся на полтора размера больше, чем надо, двое рядовых красноармейцев. Белолицые, с коротко стриженными светлыми волосами, это великорусские. В отличие от азиатских собратьев по оружию — тюрок из Баку, армян из Еревана, татар бог знает откуда, — радости от прибытия в Тебриз они не испытывают. Напротив, в них угадывается такая же тоска по дому, которая одолевает британских рядовых томми в Каире, и они совершенно не осознают, какой душевный подъем вызывают повсеместно у пролетарских масс (по уверениям демократической прессы). Судя по виду, они и не подозревают об этих домыслах, как и о той фантастической ассоциации, которая проскальзывает в тюркском названии Красной армии — Кизиль-орду: слово «кизиль» в современном просторечном азербайджанском значит «красный», но когда-то значило «золо-

той» — Золотая орда. У этих двоих вид такой, будто они уже сыты по самое горлышко; будто им хочется домой.

Я рассказываю Нильсу, что, сидя здесь и глядя в это окно, всегда вспоминаю одного эксцентричного коллегу-американца, с которым мы работали сразу после моего прибытия в Тебриз. Два или три раза в неделю мы встречались по вечерам в «Новине». Он был тихим человеком, и только после достаточно длительного знакомства я выучился находить некоторую взаимосвязь между одним его скупым замечанием и следующим или между ними и тем, что вроде бы сказал я. Полчаса протаращившись в окно «Новина», он всегда со вздохом говорил: «Это напоминает мне Париж». Поначалу изобретательность, позволяющая выискать хотя бы одну общую черту в таких непохожих ситуациях, вызывала у меня непомерное восхищение. Но спустя некоторое время я начал смутно различать определенные совпадения: несомненно, ему и раньше приходилось сидеть за столиком в кафе, смотреть на улицу, на идущих мимо пешеходов; это было в Париже. Возможно, там ему тоже было скучно.

Нильс со смехом подзывает официанта:

— Альтмиш альти!

Нильс утверждает, что в Персии должны разговаривать на фарси. На этом настаивал и Реза-шах, но он был реакционером. На тюркском Нильс изъясняется плохо и неохотно. Почему нужно обращаться на нем к официанту, не очень понятно. Такой отчетливой нехватки политического рвения, как у этого официанта, я в жизни своей не видывал. А еще я знаю, что он чуточку разговаривает на всех языках, какие я только могу вообразить, и несомненно на таких, которые я вообразить не могу. Но фраза «альтмиш альти», что переводится с тюркского как «шестьдесят шесть», стала синонимом слова «водка». Вот эта цифра — две красные шестерки на фоне нечеткой виноградной грозди, которую явно пририсовали, чтобы воображение не упражнялось на тему истинного происхождения занимательной жидкости в бутылке. В былые времена, когда к нам заезжали гости из Тегерана, они, глотнув нашей «Альтмиш альти» и прокашлявшись, бормотали что-то про медные баки и заказывали пиво.

Официант срывает с запечатанной бутылки проволочку и бумажную обертку и искусно выбивает пробку, стукнув ладонью по донышку. Великая вещь — практика, думаю я, пока мы разливаем содержимое по стаканам.

«Новин» славится превосходными челоу-кебабами. Приближается ночь, и мысль о том, что от дома меня отделяют мрачные холодные непроглядно темные улицы, радует все меньше; мы решаем отужинать прямо тут. Узнав об этом, официант притаскивает еще одну скатерть и задумчиво осматривает ее, пытаясь понять, какая сторона чище — какой вверх стелить.

Заглядывают новые посетители — находится дело и второму официанту. Этих обслуживают быстро, но не в надежде поживиться. У них в компании двое или трое молодых офицеров новой азербайджанской армии — милли гошун[52]. На них новая форма, сшитая по русскому образцу, и бронзовые революционные знаки отличия. Пояса и кобуры новехонькие: я знаю, что тебризская дубильня с особым вниманием отнеслась к новому армейскому контракту. Никто так и не смог обучить ее сметливого старика-хозяина азербайджанской политике. Заходят несколько фидаев и занимают столики возле печки. Мы все глядим друг на друга без приязни.

Я внезапно понимаю, что нужно бы, хоть и без особой спешки, известить повара и слугу, что я

---

[52] Примечания: 52
Национальная армия *(тюрк.).*

не буду ужинать дома. Можно, конечно, воспользоваться телефоном. У меня в кабинете стоит аппарат, и есть даже вероятность, что звонок услышит сидящий в кухне повар. Но телефонный звонок в Тебризе — дело долгое и непростое, нужно изо всех сил дергать рычажок, который вполне может отвалиться, а потом терпеливо повторять свой призыв «Марказ!»[53], на который на коммутаторе когда-нибудь ответят (это широко распространенное заблуждение). Результат редко соизмерим с затраченными усилиями.

По ногам промозгло сквозит: значит, снова отворена дверь. Ее робко приоткрыли, и в щель на высоте футов трех с половиной от порога заглядывает бледное личико. Взгляд больших серьезных черных глаз блуждает по кафе и натыкается на меня. Личико тут же озаряется улыбкой — нынче в Тебризе такое нечасто увидишь. Мальчишка заходит бочком, надеясь, что, раз уж я обратил на него внимание, официант его не выставит. Я не знаю его имени, вообще ничего о нем не знаю, разве только что домом ему служат Переход и ближайшие к нему переулки. И зимой и летом на нем одни и те же обноски, и сегодня вечером он

---

[53] Примечания: 53
«Центр!» *(тюрк.)*

дрожит от холода в своем дырявом оборванном хлопковом одеянии того неопределенно землистого цвета, к которому как будто стремится в Азербайджане абсолютно всё. Я выделяю его среди толпы маленьких попрошаек, ошивающихся возле Перехода, и выдаю небольшие подачки; кранами я одариваю его более или менее регулярно, исходя из принципа: платишь одному — остальные не лезут. Этот ребенок, напоминающий печального обаятельного эльфа, с радостью бегает по моим мелким поручениям. Любопытно, когда им заинтересуется тайная полиция. Я отпиваю водки, и мне в голову приходит, что, возможно, он уже на них работает.

Мальчишка подходит, смутившись из-за моей улыбки, и протягивает газеты, которыми он прикрывает свой попрошайничий промысел. Разумеется, он не рассчитывает продать одну из них мне. Но Нильс берется их просматривать. Среди прочего выделяется красочное британское пропагандистское издание, гордо выставляющее напоказ совершенно чуждую демократическим ценностям кинокрасотку. Эта конкретная реакционная вещичка в Азербайджане по-прежнему нарасхват. Еще у мальчишки целый набор

русских газет: «Новое время»[54], «Крокодил», «Правда». Эти я тоже не покупаю. Мой советский коллега снабжает меня ими бесплатно; пусть и не систематически, но зато уж когда вспомнит, то не скупится. Нильс покупает сегодняшний номер «Азербайджана», газеты автономного правительства, и с фырканьем и шипением принимается продираться через заголовки. Очень несподручно исходить из принципа, что все написанное персидскими буквами обязательно должно читаться по-персидски.

— Бу! — вопит он, преисполнившись отвращения. — Будь проклят тот язык, где все предложения начинаются с «бу»! На таком только гусей хорошо гонять!

Я копаюсь в бумажнике в поисках чего-нибудь, на чем можно писать; обнаруживаю замызганную визитную карточку, переворачиваю ее и с легким удивлением вижу, что на ней значится «Граф Шон О'Хеннеси, Париж»; весьма неожиданно. Когда я предпринимаю слабую попытку установить, где, когда и каким образом я получил

[54] Примечания: 54

Газета «Новое время» выходила в Санкт-Петербурге в 1868–1917 гг. (в 1876–1912 гг. под редакцией А. С. Суворина) и была закрыта большевиками в первый же день после их прихода к власти. В 1921–1930 гг. М. А. Суворин, сын А. С. Суворина, издавал одноименную газету в Белграде.

эту визитку, память с воображением, стыдливо потупившись, пускаются в бега.

Нильс заказывает еще одну бутылку «Альтмиш альти», чтобы запить тюркские слова и чем-то занять себя, пока не подали челоу-кебаб. Вместе с ней приносят блюдца с закусками: круглые кусочки твердокопченой колбасы, ломтики сыра и свеклы. На обороте графской визитки я кое-как надписываю свое имя. Ни повар, ни слуга читать не умеют, но посланнику нужен какой-то знак, верительная грамота. В глубине брючного кармана обнаруживается серебряная монетка в пять кранов, и мой маленький эльф бочком выбирается из кафе, пряча застенчивую улыбку.

Нильс отдал ему пять кранов за газету, но теперь с омерзением швыряет ее на стул.

— Что за дрянь они пишут! — жалуется он.

Пробежав страницу глазами, я соглашаюсь. Любопытно, замечаю я, передавая ему бутылку: народ, который, по-видимому, так высоко ценит правду, что использует ее экономнее прочих, в то же самое время демонстрирует столь колоссальную легковерность.

Нильс кивает:

— С верой у них все в порядке. Верят во что угодно. Есть такая байка: раз один перс поверил

другому. Кроме перса, на такое никто не способен.

Говоря это, Нильс оскорбленно смотрит на фидаев за соседним столиком, которые уже получили свой ужин, хотя заказывали позже нас. Они голодны и едят немного шумно, жуют с той радостной беззаботностью, которую обычно испытываешь, когда не платишь за обед. Ближайший к нам жадно прихлебывает суп, зажав сгибом левого локтя винтовку, и ее дуло легкомысленно приплясывает в такт его движениям. Наши дурные предчувствия чуть скрашивает тот факт, что, насколько нам известно, выданные ему патроны почти наверняка для этой винтовки не годятся. И все же страстное желание демократов всюду таскать с собой оружие не очень способствует душевному спокойствию, особенно когда водка льется рекой. Британцы и американцы (а для фидаев все иностранцы — это британцы или американцы) — *ipso facto*[55] реакционеры. Русские, разумеется, никакие не иностранцы, но ёлдашлар — товарищи. Если мы зайдем в кафе, где что-нибудь празднуют демократы, один из них почти непременно тут же затянет «Азербай-

---

[55] Примечания: 55
По сути *(лат.)*.

джан» — гимн автономного правительства, и все повскакивают с мест и вытянутся по струнке, а мы останемся сидеть — вполне понятная реакция реакционеров. Или же если кто-нибудь из них с важным видом заявится в «Новин», то, заметив нас, наверняка снимет с пояса кобуру с пистолетом и шлепнет ее на стол, словно чванливый елизаветинский вельможа шпагу: «Пронеси, господи!»[56]

Редко когда негодование против реакционеров заходит дальше таких вот жестов. И тем не менее, когда в заведении собираются фидаи и офицеры национальной армии, я всегда (особенно если со мной американские коллеги) украдкой ощупываю ножки стола, прикидывая, какую в случае нужды проще всего отломить.

Однако нынешняя компания пока выглядит вполне мирно, а мы с Нильсом меньше всего желаем кого-нибудь провоцировать. Официант приносит челоу-кебабы — горка риса на тарелке прикрывает бифштекс, который выглядит так, будто его отбивали молотком, половина скор-

[56] Примечания: 56

Цитата из «Ромео и Джульетты» (перев. Б. Пастернака), реплика Меркуцио: «Ты похож на тех, кто, входя в трактир, кладет шпагу на стол со словами: „Пронеси, господи!“ — и хватается за нее при второй чарке без надобности».

лупки с сырым яйцом аккуратно покоится на блюдечке с мукой, еще блюдечко с лилово-красным сумахом, два больших куска сливочного масла и тарелка с резаным испанским луком. Ни один европеец, которого мы угощали челоу-кебабом в «Новине», никогда не доедал до конца, но в первые полчаса, пока еще не иссякла воля к победе, есть его невероятно приятно. Мы смешиваем масло с яйцом, посыпаем липкую желтую кашицу острым сумахом и за этим занятием возвращаемся к обсуждению персидской легковерности; пока мы едим, Нильс рассказывает несколько историй, подтверждающих и то, что персы с радостью готовы навешать лапши на уши, и то, что кто-то неизбежно будет разгуливать с лапшой на ушах.

Припомнив один разговор, который произошел у меня давным-давно с управляющим государственного банка в Исфахане, я замечаю, что этот персидский талант был бы вполне безобиден и даже очарователен, если бы ограничивался лишь досужими байками и не находил применения в политике. Я вспоминаю, как ага-е[57] Растегар сидел в моем кресле в Исфахане, такой красиво одетый, прекрасно образованный перс в стро-

[57] Примечания: 57

Ага, ага-е — уважительное обращение к собеседнику на фарси.

гом черном костюме, в рубашке с белоснежным воротником, в гамашах. Он пересказал мне любопытную безделицу — сенсационную статью об арабском мальчике, дикаре, который жил вместе с сернами в иракской пустыне. Я тоже видел ту фотографию в американской газете: обнаженный бедуинский мальчик с довольно небрежно связанными впереди руками, якобы тот самый, живший с сернами, которого запечатлели сразу после поимки. Мы с ага-е Растегаром посмеялись над такой очевидной уткой и, как и полагается, обсудили легковерность читающей газеты публики. А потом, совершенно меня огорошив, ага-е Растегар с убежденным видом, явно гордясь тем, что по части чудес Персия превосходит Ирак, рассказал, как несколько лет назад жену инженера из Швеции, занятого на строительстве железной дороги где-то в южной Персии, похитил медведь, и она, насколько я понял, либо не сильно возражала против такой перемены, либо вообще ее не заметила и довольно долго прожила в браке со зверем, пока ее не разыскали и не вернули законному владельцу.

— И это из уст перса, — говорю я Нильсу, — который носил гамаши и разбирался в регулировании валютных операций. Быть может, он полагал

своим гражданским долгом верить в персидские небылицы?

На мгновение перестав ворошить рис в своей тарелке, Нильс отпивает «Альтмиш альти».

— Возможно, — говорит он. — Но он все перепутал. Персы всегда все путают. Она была из Норвегии.

Я смотрю на него пристальным любопытным взглядом, и Нильс наконец предлагает:

— Могу рассказать вам эту историю.

И отложив ложку и вилку, со вздохом начинает рассказ.

Не буду делать вид, будто я пересказываю вам все именно теми словами, какие услышал от Нильса. Я съел много челоу-кебаба; и я вовсе не уверен, сколько именно бутылок «Альтмиш альти» мы опорожнили: рис — хороший абсорбент. Я, скорее, излагаю историю так, как вспоминал ее после, вспоминал, как Нильс говорил в том обшарпанном кафе, а я представлял главную героиню в декорациях моих собственных воспоминаний о летнем персидском высокогорье. И если кое-где рассказ становится невнятным, что ж, челоу-кебаб и «Альтмиш альти» навевают некоторую вялость. Возможно, пару раз я ненадолго задремал.

Ее звали, рассказывал Нильс, Ранхильд Аарвольд. И было ей всего двадцать два или двадцать три года. Аарвольд был вдвое старше. Крупный суровый малый, его большая голова совершенно облысела, а борода размером и формой напоминала лопату — волоски торчали из подбородка, как блестящие медные проволочки. А какие ручищи! Когда рыли туннель где-нибудь в Загросе, про него говорили: пусть даже рабочие переломают все лопаты — Аарвольд докопает руками, как крот. Он бы мог. Трудился не покладая этих самых ручищ, такой уж он был. И бешеный как бык. Не только в работе, но, вероятно, и в развлечениях. Почти весь мир исколесил, занимался в основном строительством железных дорог, но и горным делом тоже: побывал в Британской Колумбии, Бразилии, Китае, Южной Африке, Испании и почти во всей Европе, время от времени ненадолго возвращался домой в Норвегию. Вероятно, он и женился на Ранхильд, когда ему в Норвегии подвернулся очередной проект; видимо, сразу после школьного выпускного ее перехватил. Такая девушка, конечно, привлекла его внимание — такие чаще всего и встречаются именно в Норвегии. Разумеется, белокурая, голубоглазая, красивая, высокая, статная, как говорят;

в прекрасной форме, которую она поддерживала, катаясь на лыжах и коньках, плавая и лазая по горам. Но я бы сказал, что из общего между ними был лишь норвежский язык; и даже в отношении него я тогда надеялся, что Ранхильд известны не все выражения, которые употреблял Аарвольд. Почему она вышла за него, ума не приложу. Но, глядя на своих знакомых, не всегда ли вы задаетесь подобным вопросом? Да, знаю. Иногда его можно иначе сформулировать.

Так вот, сколь неправдоподобно бы это ни прозвучало для меня или для вас, полагаю, жизнь Аарвольда показалась Ранхильд романтичной. Вероятно, она и понятия не имела, на что это в самом деле похоже. Тяга к южным солнечным странам у нас, скандинавов, в крови. И Персия, господи помилуй, представлялась ей романтичным местом! Разумеется, нельзя исключать и такую вероятность, что Ранхильд думала, будто в него влюблена.

И вряд ли она глубоко разочаровалась. В смысле, насчет Персии. В то время, когда произошла эта история, Аарвольд возводил один из мостов для луристанской железной дороги. Мост этот строили в глухом ущелье в одном из самых диких уголков Луристана, какой только можно сыскать,

а вы знаете, что Луристан — в принципе край дикий. Работа пошла хорошо, и Аарвольд остался за главного, в лагере, кроме него, был только один европейский инженер. Остальные — персы, толпа рабочих — все поголовно луры, за пять кранов готовые глотку перерезать; а как они воровали! Господи боже! Отковыряли бы и эмаль с зубов. Защищать Аарвольда приставили шестерых жандармов, но они тряслись за свою жизнь и ни на шаг не осмеливались от него отойти, командовал ими пожилой офицер, который тосковал по родному Решту и днем и ночью глушил тоску опиумом. Лагерь представлял собой обычное скопление мазанок и сараев из рифленого железа, удобства сводились к абсолютному минимуму. В изобилии — только солнечный свет да вода. Весной ущелье было не лишено некоторой прелести. Среди огромных скал стремительно сбегала вниз река, вся бело-зеленая; то тут, то там на берегу на ровных участках попадались пестреющие цветами крошечные лужки; возле воды густо росли карликовые плакучие ивы — красивые, с мягкими лиловыми ветвями и нежной светло-зеленой листвой. Но ни одного нормального дерева. Справа и слева, блестя на солнце, поднимались голыми каменным террасами горы, в чистом

сухом воздухе их острые алмазные грани на фоне неба четко виднелись даже за несколько миль.

На плане для железной дороги река была обозначена как Сефид-Руд, но правда ли она так называлась, бог весть. Я так и не выяснил, как ее называли луры, а в Персии Сефид-Рудов найдется не меньше пяти сотен.

Уверен, Ранхильд, по крайней мере когда на нее находило определенное настроение, испытывала любовь к этому ущелью. Разумеется, бродить там в одиночестве было небезопасно, и Аарвольд в достаточно резких выражениях велел ей не удаляться от лагеря без сопровождения двух жандармов. А поскольку жандармы и носа из лагеря не казали без него самого, с таким же успехом можно было приказать ей вовсе никуда не ходить. Однако же к тому моменту Ранхильд уже дошла до той стадии, что, когда Аарвольд ей что-то велел, она из принципа поступала наперекор. Он отказался покупать ей лошадь, и Ранхильд давала капитану жандармов взятку араком, а тот одалживал ей одного из полковых пони, на котором она и выезжала. А когда вечером возвращалась в лагерь, скандал с Аарвольдом привносил в ее жизнь азарт и чуточку опасности, чего никак не удавалось сделать бандитам,

которых так боялись все остальные. Учитывая, что ни один лур не удержался бы и непременно пальнул исподтишка в полицейского, без жандармов Ранхильд на самом деле было безопаснее. Одна она могла без страха заезжать туда, куда не заезжал ни один мужчина, потому что озадачивала и чуточку веселила луров. Разумеется, ее могли бы прикончить, польстившись на пони и седло, но, думается мне, любой имеющий чуточку профессиональной гордости бандит постыдился бы приводить домой такую жалкую клячу. Да и кем были эти самые знаменитые бандиты? Все теми же рабочими из строительной бригады Аарвольда или же их родней. Все рабочие любили Ранхильд. Она говорила на фарси. Мало кто из них понимал этот язык, но звучание его было знакомо, и им нравилось вежливое обращение.

Думаю, Ранхильд по душе были блистательное великолепие тех молчаливых гор и самое их пустынное одинокое раздолье. Но она утверждала, что тоскует по лесной чаще и шелесту листвы. Сокрушалась из-за пустынного и голого каменистого пейзажа и говорила, что горы без соснового леса нагоняют на нее скуку. И все же я видел, как задерживался на них ее взгляд, когда они сияли в закатных лучах, а Ранхильд все тянула

и не уходила в дом, смотрела на вершины, пока самый последний, самый четкий далекий пик не угасал и не превращался в фиолетовый клык на фоне нефритово-зеленого вечернего неба. Когда Ранхильд говорила, что Персия ей наскучила, мне думается, она имела в виду, что ей наскучил Аарвольд.

А как они бранились! Казалось бы, уж ссоры, по крайней мере, служили надежным средством от скуки. Ранхильд и Аарвольд сцеплялись из-за пустяков, которые в подобных жизненных обстоятельствах всегда выводят людей из себя. Аарвольд обычно сквернословил и кричал, а Ранхильд какое-то время просто смотрела на него, в ее голубых глазах все сильнее разгоралось пламя, подпитываемое ее собственной нарастающей злостью, потом она вспыхивала, а унималась обычно чуть позже него, потому что, пусть и уступала мужу в богатстве выражений, по части описаний ее язык был острее.

Однажды кто-то из рабочих притащил Ранхильд медвежонка. Разумеется, она тут же влюбилась в звереныша.

— Где вы его взяли? — спрашивает она.

А рабочий отвечает, что, мол, брат поймал возле леса.

— Леса? — переспрашивает она, широко распахнув исполненные любопытства глаза. — Лес!

И после возвращения Аарвольда дома только и разговоров, что про этот самый Лес. Почему Ранхильд раньше про него не слышала? Где он? Ей обязательно нужно туда попасть. Аарвольд ни про какой лес никогда не слыхал, а даже если б слыхал, то не обрадовался бы. У него не было времени на деревья: ему они только мешали. Не то чтобы они из-за этого поругались, но Аарвольд в достаточной степени разозлился, так что, когда Ранхильд как бы между делом попросила у него пять туманов — наградить рабочего за медвежонка, он взорвался. Пять туманов! Пять туманов рабочему! Да этот ***дый паршивец столько и за два месяца не получает! Медвежонок! Ранхильд что — хочет сказать, что притащила в дом вонючего медвежонка? И где же этот такой-разэдакий звереныш? И Аарвольд принимается вопить, расписывая медведей в общем и в частности, и демонстрирует при этом гораздо больше изобретательности, чем когда-либо демонстрировал Карл Линней. Медвежонку очень повезло, что он тогда не попался Аарвольду под ногу: схлопотал бы такого пинка, что летел бы до самого Пушт-и Куха.

Ну а Ранхильд, не получив свои пять туманов, выдала тому луру чаю и сахара, этот подарок пришелся ему по нраву гораздо больше, и медвежонок остался у нее. Более того, она действительно притащила его в дом и заявила, что пусть только Аарвольд попробует его выгнать. Разумеется, медвежата — презабавные маленькие зверюшки, пока они и вправду маленькие; кого угодно умилят. И быть может, Аарвольд к нему проникся. Да он и дома-то бывал нечасто. Но медвежата вырастают; и, в отличие от собак, вовсе не так уж уважают людей. А вдобавок отличаются некоторой вспыльчивостью. Вот и этот самый медвежонок сам решил свою судьбу.

Он сильно подрос — встав на задние лапы, уже доставал мордой до стола. Заходит однажды Аарвольд в комнату пообедать, Ранхильд нет, зато есть медведь — стоя на задних лапах, приканчивает тарелку консервированного лосося. Аарвольду нечем в него кинуть — под рукой только шляпа, вернее, пробковый шлем. И Аарвольд запускает в медвежонка шлемом, и шлем жестким краем попадает тому по ребрам. Собака, к примеру, не отличающаяся свирепостью (да и почти любое другое животное из тех, что мне встречались), если в нее чем-нибудь швырнуть,

пустилась бы наутек. С медведями все иначе. Тот конкретный медведь разозлился и прекрасно понял, кто его разозлил. Он бросился прямо на Аарвольда, тот, ошеломленный нападением, сделал шаг назад и, запнувшись о порог, шлепнулся на спину, к восторгу бригадира и полудюжины рабочих, которые притащились следом за ним в дом с какими-то своими жалобами. Медведь храбро попытался отгрызть Аарвольду руку, но присутствующие пару раз ткнули в него черенками кирок, и он бросил эту затею, прежде чем ему успели серьезно навредить. Тут прибегает пылающая гневом Ранхильд и спасает своего питомца.

В следующие пять минут все так бранятся, что хоть топор вешай, — ничего невозможно разобрать. Но Аарвольд орет, призывая жандармов, и суть его воплей сводится к тому, что он хочет застрелить медведя. А суть воплей Ранхильд сводится к тому, что черта с два.

Кое-как притаскиваются жандармы, и Аарвольд требует у одного винтовку. Ранхильд, удерживая своего медведя за холку, обращается к ним с проникновенной речью на фарси (тут у нее явное преимущество перед мужем). Является капитан жандармов, более или менее одетый, и

с несколько отстраненным видом выслушивает все это. Не сразу его уютно укутанный опиумом мозг улавливает суть, но наконец он смутно начинает понимать, что Аарвольд обязательно учинит какое-нибудь непотребство, если ему не дадут винтовку. Зачем ему винтовка — совсем не понятно, но капитан, заметив несколько непокорное поведение его жены, приходит к выводу, что Аарвольд собирается пристрелить ее. Капитан, несомненно, не испытывает никаких предубеждений относительно брачных обычаев неверных, но понемногу до него доходит, что убийство в некотором роде имеет отношение к его профессиональным обязанностям. Он с неохотой покоряется неизбежному и решается как-нибудь его предотвратить.

Многие бы спасовали перед дилеммой: как утихомирить Аарвольда и при этом не попасть под горячую руку, но капитан же перс — он произносит речь. Суть ее улавливает даже Аарвольд, потому что говорит капитан очень долго и повторяет все по десять раз. Винтовки — собственность его императорского величества шахиншаха, который доверил их своим верным жандармам, чтобы те с их помощью противостояли его врагам, а потому для жандарма совершенно немыслимо

отдать кому-то свою винтовку, пока в нем самом осталась хоть капля крови, которую можно пролить за шаха. Патроны, разумеется, тоже предоставил жандармам шах, и хоть беспечным иноземцам персидская скрупулезность в отношении отчетности может показаться самую чуточку чрезмерной, но таков уж характер персов: сведения о любом потраченном патроне прилежно заносятся в специальную книгу, ее с неизменной регулярностью предъявляют бригадному генералу, тот отчитывается перед комендантом, комендант — перед начальником полиции в Тегеране, а начальник полиции — лично перед его императорским величеством. И все это я говорю, подчеркивает капитан, лишь для того, чтобы объяснить, как действует система: просто так вот выражается стремление персов к порядку везде и во всем. Конечно же, и сам капитан, и любой персидский жандарм, и даже его императорское величество шахиншах с радостью бы одолжили, нет, отдали бы насовсем достопочтенному ага-е Аарвольду и винтовку, и столько патронов, сколько ему будет угодно; нужно лишь выполнить маленькую формальность и отправить письменный запрос бригадиру.

Сколько-то времени Аарвольд сквернословит

по-норвежски, а потом с помощью известных ему шести слов на ломаном лурском требует винтовку у рабочих. На кучку луров, которые до сего момента весьма заинтересованно следили за происходящим, нападает страшное смущение, и они робко прячутся за спины друг друга, так что объясняться в конце концов приходится какому-то старичку; старичок ласково, с той интонацией, с какой обычно указывают ребенку, который по незнанию употребил бранное слово, поясняет Аарвольду, что нынче владеть винтовкой *противозаконно*, и законопослушные луры уже давно от этих мерзких штук избавились.

— Ну тогда вы его и пристрелите! — орет Аарвольд на капитана.

Капитан к этому моменту уже успел немного разобраться в происходящем. Он очень рад, что его тактика — с добродушной улыбкой дружелюбно разговаривай со всеми и каждым — сработала. Он готов на все с превеликим удовольствием. Для него не только большая радость оказать маленькую услугу достопочтенному ага-е Аарвольду — он и сам всегда счастлив потешить себя таким подобающим мужчине занятием, как охота. Наибольшее удовольствие в жизни доставляет ему погоня за крупной добычей и

финальный выстрел, о да, скольких медведей в свое время он уложил! Но что поделаешь, смиренно пожимает он плечами. Он — солдат. Фраза эта навевает поток благородного умиления, и подхваченный им капитан поворачивается к своим жандармам: долг есть долг; когда следуешь суровым путем солдатской службы, в жизни не остается места развлечениям; облачившись в форму, дарованную шахом, мужчина оставляет позади беспечные забавы прошлого…

Разумеется, ни одному из них в голову бы не пришло тратить пулю на медвежонка. Они бы просто перерезали ему горло. Но Аарвольд до этого не додумался; а луры, несомненно, отдавали себе отчет, на чьей они стороне в разгоревшемся споре.

В результате все пришли к компромиссу, или же, по мысли Аарвольда, приговор был просто на время отложен. Он велел бригадиру раздобыть цепь, и, несмотря на пылкие протесты Ранхильд и удивительно выразительные замечания самого медведя, животное приковали к стене рядом с конюшней; почуяв его, жандармские пони едва не свихнулись от страха, а он рычал, грыз цепь и скреб ее когтями в попытке освободиться.

Сразу после обеда Аарвольд, не удостоив жену

и словом, взобрался на пони и в сопровождении жандарма со всей возможной скоростью отправился вдоль строящейся железной дороги к соседнему лагерю, намереваясь одолжить винтовку у своего приятеля-норвежца.

Полагаю, Ранхильд без труда догадалась о его намерении. Как только Аарвольд скрылся из виду и лагерь снова погрузился в обычную полуденную дрему (разве что по-прежнему разорялся медведь), она отправилась в конюшню и отвязала стальную проволоку, которой бригадир примотал конец цепи к косяку. А потом спокойно увела медведя в ущелье. Долго ее не было, но домой она вернулась раньше Аарвольда, и вернулась одна. Никто так и не узнал, как ей удалось избавиться от медведя. Мне думается, что все, включая саму Ранхильд, ждали, что он примчится обратно ужинать, но медведь не примчался, ни тем вечером, ни следующим, и единственное пришедшее всем в голову объяснение состояло в том, что какой-то лурский стрелок уложил его пятью пулями из винтовки, которой у него, конечно же, и в помине не было.

К ночи домой в превосходном настроении вернулся Аарвольд. Они с приятелем явно приговорили на дорожку пару бутылок арака. Ранхильд

как раз собиралась ложиться, и он напоказ принялся заряжать большой револьвер сорок пятого калибра.

— И что ты собрался делать? — холодно вопрошает его Ранхильд.

— Отстрелить этому *** *** медведю его тупую башку! — отвечает он.

— А вот и не отстрелишь! — возражает она.

— А вот и отстрелю, — отвечает он.

И тут Ранхильд, расхохотавшись Аарвольду в лицо, сообщает, что выпустила медведя в горах. Должен признать, она к тому времени научилась так виртуозно играть на нервах, что не выдержал бы и человек намного спокойнее Аарвольда. Все же Ранхильд прекрасно понимала, что гораздо острее него на язык, да и я искренне верю, что она сумела бы постоять за себя, если бы он принялся крушить все вокруг. Аарвольд никогда не бил жену, но в ту ночь едва не отстегал ее ремнем; и о боже, вот не поздоровилось бы тогда столбикам от кровати.

Спустя некоторое время медведь позабылся, и атмосфера снова сделалась нормальной — то есть напряженной и острой по краям. Но создавалось неприятное ощущение, что острые края не сгладятся, сколько бы эти двое ни пытались

притереться. Ранхильд по-прежнему днями напролет бродила в одиночку по долине, а Аарвольд с головой ушел в работу. Ранхильд все больше ворчала на Персию, тосковала по Норвегии и деревьям и постоянно вспоминала сказочку о лесе, прятавшемся где-то высоко в горах за ущельем Сефид-Руд. К середине лета, когда все иссохло до коричневого цвета и даже утром скалы раскалялись от жары, строительство моста подошло к концу, скоро Аарвольд должен был уехать.

Но еще до окончания работ в ущелье Сефид-Руд его вызвали на встречу с инженером-консультантом на участок железной дороги в пятидесяти милях от лагеря. У них возникло разногласие касательно туннеля — что-то с ним пошло не так. Аарвольд сказал, что его не будет около недели.

Думается мне, он взял бы Ранхильд с собой, прояви она к нему хотя бы чуточку благосклонности; и думается, в глубине души она бы и рада была поехать с ним; но они дошли до той точки, когда ни один уже не мог поступиться гордостью и признать, что когда-то жаждал общества другого. Так что Аарвольд уехал, а Ранхильд с мрачным холодным видом наблюдала за его отъездом.

Весь день она бродила по лагерю, а к вечеру вдруг оживилась и повеселела, как будто при-

няла некое решение. К нам заглянул на чашку чая капитан жандармов, который бывал очень обходительным и занятным гостем, если удавалось застать его между опиумной эйфорией и апатией, и пару часов рассказывал разные истории о Луристане. Капитан служил здесь уже много лет и, несмотря на тоску по родному Решту, видимо, проявлял достаточный интерес к лурам и их стране, поскольку на удивление много о них знал.

После отъезда Аарвольда все чувствовали себя как на каникулах. Не поручусь, что Ранхильд этому не поспособствовала, выдав жандармам несколько бутылок арака. Как бы то ни было, в лагере в тот вечер царила атмосфера праздника, и на следующее утро все проснулись поздно. Капитан-то в принципе редко открывал глаза раньше полудня.

Поэтому, когда Ранхильд поднялась еще затемно, никто не поинтересовался, что она затеяла, — все спали. Возможно, ее заметил кто-то из луров, но луры с ранних лет приучаются молча наблюдать и не задавать неудобных вопросов. К тому же они привыкли к ее одиноким прогулкам. Ранхильд задала пони, на котором обычно выезжала, ячменя (вероятно, немало его этим

удивив), а сама отправилась одеваться и завтракать. Надела она рубашку с коротким рукавом — на фоне светло-голубой ткани ее загорелые руки, шея и лицо приобретали еще более теплый оттенок. Эта рубашка была хорошо известна, по ней Ранхильд узнавали во всей округе. Полагаю, рубашка представляла ценность как своего рода пропуск, хотя Аарвольд, конечно, ее не одобрял. Она была тонкой, и Ранхильд ничего под нее не надевала; он считал наряд слишком откровенным. Еще она надела белые льняные брюки, в которых летом ездила верхом. Женщина в слаксах зачастую выглядит так, будто второпях одолжила их у циркачей, но на Ранхильд они сидели как родные — привычно облегали ее фигуру. На талии она застегнула кожаный пояс, а брючины заправила в сапожки в русском стиле, которые сшил ей на заказ сапожник-ассириец из Дизфуля. Ранхильд сложила сколько-то провизии в заплечный ранец, который хранила еще со школьных времен, и наполнила водой флягу. Потом повязала на голову белую косынку с голубой каймой и отправилась сообщать дурные вести пони, который весело сдувал соломинки вокруг кормушки в надежде обнаружить завалившееся зернышко ячменя.

Когда пони понял, что отвертеться не удастся, он, видимо, решил покончить с прогулкой побыстрее. На вид это была унылая скотинка, но (я говорю как человек, никак с верховой ездой не связанный) из породы тех, которые, если придется, довольно ловко взбираются по крутым каменистым тропам. Вполне можно представить, как такая животина цокает копытами, лавируя между валунами; вероятно, несколько раз его и придется огреть по ребрам, но он будет взбираться все выше, проворно преодолевая крутые склоны и скальные выступы, которые привели бы в ужас более благородного скакуна. Видимо, где-то к полудню Ранхильд выехала из ущелья Сефид-Руд на огромный пустынный шлейф у подножия высоких утесов. Вокруг были сплошные камни; до зеркального блеска отполированные ветром, они ослепительно сияли на солнце. Нигде ни единой зеленой травинки, ни единого признака жизни, ни даже ящерицы на камнях, ни стервятника высоко в небе. В этом горнем затерянном мире не раздавалось ни звука, только цокал копытами да время от времени пофыркивал и похрапывал пони и скрипело седло. Ранхильд поняла, что, хоть она и успела порядком загореть, вечером руки будут болеть от ожогов. Солнце пекло спину

и ноги под тонкой тканью рубашки и брюк. Из-за слепящего блеска зоркие голубые глаза Ранхильд, которые никогда не боялись света и всегда храбро соперничали с лазурными небесами, начали ныть, она ехала все дальше и дальше по огромному склону, словно вымощенному зеркальными осколками. Ранхильд попыталась было натянуть косынку до самых бровей, чтобы защитить глаза, но снизу сияло почти так же ослепительно, как и сверху.

Спустя некоторое время тропа, по которой она выехала из ущелья, закончилась, но Ранхильд все равно поехала дальше по склону. Полагаю, у нее был ориентир среди далеких скал, про который рассказали либо луры, либо капитан жандармов.

Посреди персидского пейзажа одинокий всадник смотрится мелко. Ранхильд была одна под солнцем в необъятном мире, сводящемся к трем основным стихиям — земле, воздуху и огню. Отправившись в такой день верхом в обширные владения солнца, вы вверяете себя жестоким рукам, первое прикосновение которых дарит радость, а последнее — жуткую боль; и все прикосновения, от первого до последнего, будут высокомерно безразличными. Мужчина ли, женщина — человек ничтожен, как муха, под

всемогущими неустанными лучами, в которых пляшет весь наш земной шарик со своим много о себе возомнившим людским сонмом, на самом деле такой же ничтожный, как одна из бесчисленных пылинок в амбаре.

Вы часто наблюдали подобное на огромных персидских равнинах, как в долинах, так и на высокогорье: когда наконец волны земли докатываются до гряды, то разбиваются, словно прибой; словно прибой, замерший по грозному приказу; словно прибой, замерший на фотоснимке: бушующие буруны застыли и обрушатся на подножие гор спустя мгновение или неисчислимо долгие века, повинуясь управляющей этим действом прихоти.

Ранхильд, приподнявшись на стременах над неудобным жандармским седлом, наконец пересекла последний усыпанный галькой земляной вал и увидела впереди неглубокий вьющийся лентой желоб с сухим желтым песком на дне — жалкую пародию на реку; а на противоположном берегу этой «реки», такой неожиданный здесь, а потому необычайный и необъяснимый, примостился за глинобитной стеной маленький сад, вверх тянулись тоненькие ветви с чахлой листвой, такой скудной, что она не давала тени

спекшейся от жара земле, но все же это жизнь тянулась к жизни на иссушенной солнцем неподвижной пустоши. Запрокинув голову, пони потрусил вниз по склону, перепрыгнул песчаный поток, галопом взбежал вверх и устремился прямо к садику, словно узрев наконец цель путешествия. Когда он завернул за угол наполовину обвалившейся стены, Ранхильд увидела, что за ней из склона пробивается родник — крошечный водяной отблеск среди камней. Когда-то ручей заботливо направили так, чтобы он орошал садик, но теперь русло забилось илом и маленькая струйка уже не достигала корней растущих внизу миндальных и абрикосовых деревьев, они умирали от засухи. Только у самого источника, словно мазок зеленой краски на тускло-коричневом холсте склона, ярко выделялась узкая полоска травы.

Пони направился прямиком к роднику, Ранхильд спешилась, ворочая одеревеневшими ногами, и пустила его напиться. А потом отвела к стене, над которой склонило медно-красные ветви с маленькими морщинистыми серебристыми листочками полумертвое дерево синджат. Обмотав поводья вокруг ветки, она вернулась к источнику, сняла с плеча ранец и уселась пе-

рекусить.

Тени не было, но сам вид сверкающей воды навевал ощущение прохлады. Там, где родник пробивался из земли, вода была холодной; у подошвы скалы, аркой окаймлявшей его исток, росли пучок влажного мха и крошечный папоротник. Ранхильд намочила руки и поморщилась, когда заныли солнечные ожоги. Жуя сэндвичи, она огляделась. Ей рассказывали про сад и родник — Чешме-е Пир[58]. Дальше путь становился трудным. И правда, никакой тропы не было видно. Ранхильд подумала, что какой-нибудь крестьянин или по крайней мере пастух должен приводить сюда стадо на водопой, но с удивлением заметила, что возле родника нет ни отпечатков копыт, ни овечьего или козьего помета, которые всегда обнаруживаются возле любого ручейка в самых далеких горах. Она было склонилась зачерпнуть воды, но тут внезапно сообразила, какая может быть причина; быстро приподнялась на напряженных руках и неуверенно поглядела на сверкающий поток и окаймлявшую его яркую зелень. Если вода — яд для зверей, может ли она питать растения? Ранхильд снова вгляделась и

[58] Примечания: 58
Старый родник *(фарси).*

увидела в ручейке крохотных живых существ. Но все-таки решила выпить теплой воды из фляги. Подняв флягу, она оглянулась на пони, который, склонив голову, стоял чуть ниже по склону под синджатом. Пони, хоть и попил воды, вроде бы выглядел как обычно.

Взгляд Ранхильд перескочил на утесы, которые вырастали прямо из усыпанного галькой склона ярдах в двухстах от источника. Ни одна лошадь или мул на всем белом свете не сумели бы через них перебраться, но глаза Ранхильд приметили путь, по которому мог бы, цепляясь руками и ногами за выступы и трещинки на голой сверкающей скале, вскарабкаться человек. Она проследила этот воображаемый путь до самого верха, пока наконец с волнением не поняла, что он ведет к черному зеву пещеры. Подъехав к источнику, Ранхильд была готова отказаться от своей экспедиции, потому что дальше в горы было, по-видимому, не проехать, но пещера сызнова всколыхнула в ней интерес. Оставив ранец возле родника, Ранхильд вскарабкалась на склон и стала высматривать место поудобнее, откуда можно было лезть дальше.

Вверх по скале действительно пролегал путь, настолько заметный, что, по-видимому, им часто

пользовались и даже когда-то приложили к нему умелые человеческие руки. Ранхильд отважно карабкалась, иногда распластываясь по нагретой солнцем скале; широко раскидывала руки и, нащупывая пальцами трещинки и зацепки, осторожно пробиралась по косым выступам не больше фута шириной. Раз или два ей пришлось преодолевать застывшие под крутым углом гладкие участки блестящего камня, и Ранхильд пожалела, что надела сапоги для верховой езды: их кожаные подошвы скользили, а вот тканые гивехи, в которых она ходила обычно, ступали бы здесь ловко, как кошачьи лапки. Для пущей безопасности она согнулась, прижала ладони к скале и полезла вверх на четвереньках. Когда Ранхильд забралась уже достаточно высоко, лезть стало легче: это уже была настоящая тропа, не слишком узкая и не слишком крутая, слева — отвесная стена, справа — обрыв. Завернув за выступ, тропа вывела ко входу в пещеру.

Пещера была небольшой: у самого входа Ранхильд могла выпрямиться во весь рост, а ширина составляла где-то два ее роста. Внутри было пусто, и на первый взгляд отсутствовали всякие следы человека. Но потом Ранхильд заметила, что в своде — в каждом сколе, в каждой трещинке

— заткнуты крошечные узелки и клочки ткани. Она насчитала около десятка или двух; какие-то болтались кое-как и сразу падали, стоило Ранхильд осторожно коснуться их указательным пальцем. А какие-то оказались такими старыми, что моментально рассыпались в пыль у нее в руках. Еще Ранхильд заметила, что темный свод кое-где покрывают пятна, похожие на копоть от светильников или свечей: там чернели расплывчатые завитки и полосы, будто давным-давно кто-то выписывал на потолке что-то неразборчивое дымным пламенем. Приглядевшись, она заметила на скальной полке в глубине пещеры глиняные черепки. И, поднеся один к свету, поняла, что это осколки старинной лампады из необожженной глины; те, что откололись от горлышка, из которого торчал фитиль, слегка почернели.

Ранхильд снова вышла на длинный уступ, гадая, с какой странной целью люди давным-давно карабкались по этой неторной тропе и справляли здесь свои ритуалы. Она не понимала, зачем нужны были узелки и обрывки ткани (такого ей видеть еще не приходилось), а фарси, вероятно, владела не настолько хорошо, чтобы уловить взаимосвязь с названием родника. От входа в пе-

щеру тропа шла дальше по выступу, но Ранхильд засомневалась, стоит ли продолжать изыскания. Ей пришло в голову, что спуститься будет отнюдь не просто. Усевшись на край и свесив ноги над пропастью, она посмотрела на раскинувшуюся внизу бескрайнюю голую равнину. Среди чередующихся бурых и желтых холмистых складок, окутанных голубыми тенями, невозможно было разглядеть ущелье Сефид-Руд. Пейзаж простирался намного дальше, до самого отдаленного горного хребта, и на всем этом пространстве ничто не двигалось — разве что ее пони рядом с крошечным квадратиком заброшенного сада прямо внизу.

Внезапно пони привлек внимание Ранхильд. С неожиданной прытью он принялся рваться, приплясывать на месте, пятиться, словно, мирно созерцая уголок старого сада, вдруг обнаружил там нечто совершенно чудовищное. Ранхильд изумленно наблюдала за ним минуты две-три, а потом пони резко запрокинул голову. Видимо, старые рассохшиеся поводья не выдержали, и он, распростившись с деревом, рванул прочь и диким галопом помчался вниз по отлогому склону, которым Ранхильд ехала из ущелья Сефид-Руд.

Она поднялась на ноги, но сразу поняла, что

тут уже ничего не поделать. Пока она будет спускаться с утеса, пони ускачет на несколько миль. Ранхильд задумчиво посмотрела вслед своей лошадке. Та успела превратиться в маленькую точку, различимую вдалеке лишь из-за летящей из-под копыт пыли. Вскоре точка скрылась за изгибом холма. Бегство пони определило дальнейший план действий. Сегодня Ранхильд придется отказаться от поисков Леса. Даже если немедленно пуститься в путь, пешком она доберется до лагеря только к ночи. Ранхильд еще сильнее пожалела, что надела сапоги для верховой езды: один уже успел натереть ей пятку.

Она спокойно приступила к спуску. Преодолела поворот сразу под пещерой и уже наполовину прошла легкий отрезок пути, как вдруг остановилась, услышав громкий и пугающий звук. Пугал он потому, что свидетельствовал о некой кипучей жизни, появившейся в этом тихом пустынном месте, и Ранхильд тут же поняла его источник. Некое существо карабкалось, скреблось, царапалось, шуршали потревоженные им камешки — по тропе энергично и торопливо лез крупный зверь. Перед ней узкий уступ шел прямо вдоль отвесной скальной стенки на протяжении пятнадцати или двадцати ярдов. А потом заворачивал

за светло-серую скалу.

И вот на глазах у Ранхильд из-за этой скалы высунулись две огромные мохнатые лапы с длинными светлыми когтями, между лапами показался блестящий нос и большая коричневая башка с маленькими глазками и круглыми мохнатыми ушами. С натужным кряхтением косматый зверь перевалил через выступ и, увидев Ранхильд, остановился. Он совершенно перегородил тропу. Ранхильд даже показалось, что он едва ли не наполовину свешивается за пределы тропы — такой он был большой. Мохнатая шкура переливалась разными оттенками коричневого, начиная со скально-бурого и заканчивая цветом, напоминавшим о коре старого дуба, и блестела на солнце, будто по шерстинкам шла рябь. Глядя на Ранхильд, зверь медленно повернул голову из стороны в сторону и покивал, из-за меняющегося ракурса цвет его глаз тоже менялся — с коричневого на тускло-зеленый, будто стекло, а потом на матово-красный.

Ранхильд изо всех сил вцепилась в скальную стенку, чтобы не свалиться в пропасть, развернулась и, пока медведь не опомнился, направилась обратно к пещере. Она не очень опасалась, что зверь на нее набросится; он явно удивился боль-

ше нее; но кому-то из них нужно было убраться с дороги. С мгновение Ранхильд раздумывала, не спрятаться ли в пещере в надежде, что медведь пройдет мимо, но слишком живо представила, что будет, если он проявит любопытство. Миновав пещеру, она быстро полезла дальше, потому что сзади уже снова заворочался зверь. Сразу за входом в пещеру тропа или, вернее, уступ снова делал поворот, а потом исчезал в узкой глубокой расщелине, под крутым углом убегавшей вверх по скале. Выбора не было — оскальзываясь, цепляясь за камни и руками и ногами, Ранхильд лезла по расщелине со всей возможной скоростью. А за ней лез медведь, которому, вероятно, тоже приходилось непросто.

Никогда еще Ранхильд не лазала вот так, презрев всякий риск; с десяток раз рука или нога соскальзывала, Ранхильд съезжала вниз, цеплялась за края расщелины, не обращая внимания на царапины и синяки; обдирала пальцы, торопливо хватаясь за выступы, стукалась коленками и локтями, порвала рубашку, тяжело дышала, сердце невыносимо колотилось в груди, но она заставляла себя лезть дальше. Расщелина извивалась, по ней вполне можно было взобраться, цепляясь за края и застрявшие камни, но это

было нелегко, даже если карабкаться медленно и аккуратно.

И вот, когда Ранхильд поняла, что руки и ноги уже не слушаются, она, подтянувшись, выбралась наконец на ровную землю, поднялась на трясущиеся ноги и изумленно огляделась. Она оказалась на широком наклонном уступе, который было не видно снизу. Позади — лишь пустое голубое небо, впереди — далекие, но ясные и отчетливые светлые розовато-коричневые скальные гребни; но между ними и обрывом, на краю которого стояла Ранхильд, тянулась полоска низкорослых дубов — тот самый сказочный Лес, который она так долго искала. Мало того, когда Ранхильд торопливо осмотрела его еще раз, она углядела среди ярко-зеленой листвы за верхней окаемкой леса глинобитные стены и крыши.

Сзади засопел приближающийся медведь, и Ранхильд отмерла, но на этот раз она действовала спокойнее. В лесу можно ускользнуть. Под скрюченными низкорослыми дубами лежали серые валуны, древние стволы причудливо искривлялись, корявые ветви переплетались между собой. Под ними на маленьких пятачках росли трава и цветы. Ранхильд поспешила вперед, пригибаясь под низко склоненными ветвями, обходя

валуны и перешагивая через раскинувшиеся повсюду узловатые корни, спустя некоторое время она на миг остановилась и, чутко прислушавшись, убедилась, что вокруг все тихо, лишь едва шелестит листьями блуждающий по горному склону ветерок. Ранхильд решила, что медведь и сам был рад с ней разминуться, а потому отправился другой дорогой.

Отдышавшись, она расхохоталась над своим приключением и его итогом. И с некоторым сожалением посмеялась над «лесом». Впервые услышав о нем, Ранхильд, несмотря на все увиденное в Персии, вообразила торжественные ряды величавых сосен, полумрак под сенью высоко вознесшихся крон и ласкающий сердце резкий смолистый дух. По сравнению с этой воображаемой картиной реальность казалась смешной, и Ранхильд не сразу осознала, какое это чудо, что здесь уцелел древний лес. Столетие за столетием, на высоком безлюдном уступе, на который слишком тяжко и далеко было карабкаться углежогам и козопасам, эти деревья с несокрушимым упорством держались за жизнь. Из-за напастей они сгорбились, сделались корявыми и выносливыми, словно древнейший народ, которого захватчики загнали в суровые горы и который

с неукротимой волей цепляется за свой уклад, свои тайны.

Еще только подойдя к лесу, Ранхильд ощутила его скрытность и строптивость; он не давал ни тени, ни пристанища; его сень не манила; лес, угрюмо впившись в скалы, жил своей собственной отдельной жизнью, неуловимо рос и воспроизводился. Ранхильд пробиралась между стволами и перелезала через серые жесткие щупальца корней, чувствуя смутное беспокойство и нечто вроде тревоги.

Потом она снова выбралась на открытое место — на крутой голый склон; чуть справа были дома, которые она заметила у обрыва. Теперь, стоя у подножия высокой глинобитной стены, окружавшей здания, Ранхильд не могла разглядеть внутри сад — только зеленые макушки торчавших над ее гребнем деревьев. А еще плоскую глиняную крышу и торцы круглых вырезанных из тополя потолочных балок. Внешняя стена поднималась по склону, гладкая и целая, насколько хватало глаз. Подойдя ближе, Ранхильд увидела узкую тропу, бегущую между огромных, выше нее самой, валунов. И, отправившись по ней, после нескольких поворотов вышла к прочным двойным воротам, утыканным грубо сработан-

ными гвоздями.

Одна створка была приоткрыта. Ранхильд прислушалась. Стояла абсолютная тишина: не лаяла собака, не пел петух, не кричали дети. Она оглянулась; из-за окаймлявших извилистую тропу валунов ничего было не видно. Пожав плечами, Ранхильд проскользнула в ворота.

Пройдя по короткому глинобитному туннелю без крыши, который делал один резкий поворот, она вышла в проход между внешней и внутренней стенами. Как и любое другое жилище в здешней глуши, это отчасти напоминало крепость. Пустой проход был чисто выметен. Ранхильд снова прислушалась и снова не уловила ни малейших признаков жизни. Не было даже обычного сельского запаха — того запаха персидской деревни, ну, вы понимаете, когда пахнет ослами, козами, соломой, сухим навозом, углем и дымом. Воздух оставался по-высокогорному чистым, но, как показалось Ранхильд, в нем витал какой-то неуловимый загадочный душок, она никак не могла его распознать, хоть он и казался до странного знакомым.

Стоя в пустом проходе меж высоких стен, Ранхильд оглядывалась по сторонам, и тут из дверцы во внутренней стене вышла старуха. Одета она

была в праздничный лурский наряд, сильно поношенный и покрытый пятнами. Очень смуглое лицо испещряли морщины; в нем читались проницательность, печаль и настороженность — такие часто можно увидеть на лицах туземных стариков, повидавших за свою жизнь немало жестокости, вероломства и потерь.

Ранхильд заговорила со старухой на фарси; она чуть запиналась, смутившись прямого испытующего взгляда, и чувствовала себя глупо. Сказала, что потеряла лошадь, сбилась с пути, повстречалась с медведем; попросила приютить ее и дать воды, а потом показать дорогу к лагерю. Старуха выслушала все это, не подавая вида, что хоть что-нибудь поняла, но ее взгляд неотступно блуждал по Ранхильд, скользя по фигуре и наряду, каких она явно раньше никогда не видывала. Не сказав ни слова, старуха поманила гостью за собой.

Ранхильд вошла следом за ней в дверцу и оказалась во внутреннем дворе, по трем его сторонам тянулась галерея, но ставни выходивших в нее окон были закрыты. Посредине двора росла пара персиковых деревьев, вокруг каждого аккуратным кружком лежали камешки, голый земляной пол был тщательнейшим образом выметен. Пол в мощенной камнем галерее был так же

чисто выметен, как и двор. Сбоку стояла низкая широкая скамья, застланная ковром. К ней-то старуха и подвела Ранхильд; махнула рукой, чтобы та села, а потом удалилась в дом. Откинувшись на спинку, Ранхильд терпеливо ждала. Во дворе было прохладно и тихо и совершенно ничто не двигалось. Ранхильд подумала, что работники-мужчины, вероятно, трудятся где-то на крошечных полях, упрятанных в складке гор неподалеку. И все же странно, что нет ни следа животины. Ранхильд обрадовалась возможности отдохнуть; она положила ноги в запыленных сапогах на скамейку, вытянулась во весь рост и стала наблюдать, как ползет по двору тень. Делать было нечего, оставалось только ждать, когда вернется хозяин дома; тогда она попросит у него лошадь или осла и узнает дорогу до Сефид-Руда. Ранхильд совершенно не тревожилась; она всегда и безо всяких на то оснований верила в обходительность и гостеприимство луров. Хотя не знаю: может, это было мудро с ее стороны. Если лур решился вас убить или ограбить, он сделает это, как бы вы к нему ни относились, и, как и с любым другим человеческим существом, всегда есть вероятность, что его с вами обхождение будет ровно таким, какого, судя по вашему

поведению, вы и ожидаете.

Наконец старуха вернулась, с собой она принесла поднос с двумя стаканами чая, несколькими кусочками сахара и пачкой сигарет. Ранхильд взяла сигарету, и старуха дала ей прикурить, вытащив из складок тяжелой расшитой юбки необычайное кустарно сделанное огниво. Выпив чаю, Ранхильд снова рассказала, как потерялась, и на этот раз старуха, судя по лицу, как будто все поняла. Выслушав, она ответила на фарси, пусть корявом, но вполне вразумительном. Сказала, что хана нет дома. Он вернется на закате. Ранхильд должна дождаться его и послушать, что он прикажет.

— Тогда уже поздно будет ехать к Сефид-Руду, — заметила Ранхильд.

Старуха медленно кивнула.

— Ты переночуешь здесь. Девушка уже тебе стелет.

Жена хана, как мысленно окрестила ее Ранхильд, снова наполнила стаканы, положила в рот кусок сахара и стала потягивать чай через него. Ранхильд курила и практиковалась в фарси. Старуха сидела на полу в галерее, прислонившись спиной к грубо обструганному столбу и сложив руки на коленях, и вполуха слушала ее,

одновременно прислушиваясь к тому, что происходит в доме; теперь и Ранхильд различала то и дело доносившиеся оттуда приглушенные звуки — там кто-то хозяйничал. Готовили ужин к возвращению хана; Ранхильд понимала, что ей придется отужинать с ним, и до самого конца трапезы никто не станет обсуждать ее отъезд. И ехать будет уже поздно. Она рассказала про встречу с медведем, и ей показалось, что сперва старуха ей не поверила.

Жена хана улыбалась. Она не задавала Ранхильд вопросов и на ее вопросы тоже не отвечала. Ее неторопливый взгляд постоянно ощупывал гостью. Эти две женщины являли собой полную противоположность. Ранхильд сняла косынку; никогда еще тот темно-красный ковер не оттеняли такие мягкие светлые локоны. Для старухи все в этой девушке было в диковинку: румянец на щеках, просвечивающий сквозь загар; яркие светлые глаза; чистая белая кожа на внутренней поверхности плеч, которую было видно, когда Ранхильд подпирала голову рукой; обтягивающие тонкие брюки и рубашка; удобный наряд, послушно облегающий тело, руки и ноги; то, как Ранхильд беззаботно и вольготно растянулась на скамье, вытянув длинные ноги; все это

старуха рассматривала с удивлением, и все же в ее темных глазах читалось некое понимание и удовлетворение, словно она узнавала свою противоположность и восхищалась ею.

Ее собственное древнее лицо с высокими скулами, широким лбом и крючковатым носом, прямой линией губ и волевым подбородком было выразительным и все еще свидетельствовало о сильном характере. Глубоко посаженные глаза, уже чуть потускневшие, когда-то были красивыми; руки, теперь морщинистые и узловатые, когда-то были изящными и тонкими. Ее фигуру полностью скрывал наряд, тяжелый, затейливый, причудливо расшитый; она расправляла его складки так, словно это был очень значимый атрибут статуса, который она была рождена беречь и лелеять.

Наконец, когда падающий во двор солнечный свет смягчился и сделался золотым, а потом и порозовел, Ранхильд спросила, можно ли пойти в отведенную ей комнату и помыться. Старуха поднялась и повела ее в дом. Ставни были по-прежнему закрыты и не пропускали солнечные лучи, поэтому внутри царила темнота. Следом за женой хана Ранхильд прошла в большую квадратную комнату. На полу поверх соломен-

ных циновок лежал одноцветный ковер зилу, и под ногой слегка пружинило и похрустывало. Через вторую полуоткрытую дверь долетали приглушенные звуки беседы, смеха, далекое позвякивание сковородок и кастрюль.

Жена хана откинула железный крючок на единственном в комнате окне и распахнула ставни. Незастекленное окно было забрано решеткой; в саду пышно зеленела листва, росли фруктовые деревья, цветы и бурьян, от них в теплую комнату повеяло влажной вечерней прохладой. Над кронами торчал розовый краешек горного хребта, а еще выше в сгущающейся синеве висело похожее на розовое перо облако.

Пока старуха отдавала распоряжения кому-то невидимому за второй дверью, Ранхильд огляделась. Стены комнаты покрывала белая штукатурка, мебели никакой не было, только в одном углу на ковре зилу лежали матрас и хлопковое одеяло. Прижавшись лицом к решетке, Ранхильд вдохнула прохладную свежесть сада. Из него долетали гудение пчел и тихие трели примостившихся среди ветвей птах.

Позади что-то звякнуло, и Ранхильд оглянулась: жена хана поставила на пол большой медный таз; повернувшись ко второй двери,

старуха громко кого-то позвала и вышла. В комнату, задев большим медным кувшином дверь, торопливо вошла босая девушка. Ей было лет семнадцать-восемнадцать, толстая черная блестящая коса обвивала ее голову. Из одежды на девушке были только свободные шаровары из синей кисеи, усыпанные блестками и расшитые вокруг талии серебряной нитью; когда-то они явно составляли часть причудливого праздничного наряда, но теперь пообтрепались, а серебряное шитье потускнело. Фигура у нее была полная и округлая, еще не обточенная тяжким трудом, а кожа светилась юностью и в мягком вечернем свете походила на светлый красно-коричневый бархат. Двигалась девушка с небрежной грацией, виляя бедрами, которые не до конца закрывал пояс свободно сидевших шаровар. В одной руке она несла медный кувшин, а в другой кусок мыла, через предплечье было перекинуто чистое белое полотенце. Остановившись возле таза, девушка чуть испуганно уставилась на Ранхильд.

После мгновенного замешательства Ранхильд сняла рубашку и встала на колени перед тазом. Она вытянула сложенные лодочкой руки, и девушка полила на них тоненькой струйкой холодную воду из узкого изогнутого горлышка. Вот

так с помощью мыла и кувшина Ранхильд помылась, а потом наклонилась над тазом и знаками показала девушке, чтобы та полила ледяную воду ей на спину и плечи. Вскочила, отфыркиваясь и передергиваясь от холодной воды, выхватила у девушки полотенце и рассмеялась, заметив изумление в ее глазах. Они оглядели друг друга, обе были по пояс обнажены. Ранхильд уже давно не купалась, а потому на животе у нее загар совсем сошел, и по контрасту с ярко-красными руками и V-образным вырезом на шее спина и грудь казались жемчужно-белыми. Ранхильд положила руку на свой живот, посмотрела на него, потом на лурку и нарочито удивленно подняла брови, словно спрашивая, чей оттенок кожи красивее. Девушку рассмешила эта непохожесть, она захихикала и застенчиво огладила собственный смуглый живот.

Ранхильд натянула рубашку и тряхнула волосами.

— Да, — сказала она по-норвежски, потому что лурка, по всей видимости, фарси не владела. — Мне очень нравится цвет твоей кожи!

Но когда девушка нагнулась поднять таз, Ранхильд увидела, что эту красивую кожу на спине портят отметины. Они шли вниз от плеча и ис-

чезали под поясом шаровар — три или четыре багровые полосы, как будто ее поцарапали, но не до крови. Ранхильд разглядывала их, когда девушка повернулась и направилась к двери. И вяло подумала, что это, возможно, какие-то племенные метки, хотя никогда раньше не слышала о таких обычаях у луров.

Ранхильд огляделась. Гребень и пудреница остались в ранце возле далекого родника. Зеркала в комнате не было. Она кое-как пригладила волосы и на минуту замерла, прислушиваясь. В доме снова воцарилась тишина. На цыпочках Ранхильд подошла к двери, в которую вышла девушка, за ней обнаружился коридор с каменным полом. В коридоре была еще одна дверь, а заканчивался он широкой низенькой аркой, за которой зеленел одичавший сад, до сих пор освещенный вечерним солнцем. Ранхильд отправилась туда.

В саду вовсю разрослись неухоженные фруктовые деревья, между которыми раскинулись влажные благоухающие заросли густых трав и полевых цветов на длинных стеблях: штокроза, дельфиниум и наперстянка; в этих зарослях были протоптаны в разных направлениях извилистые тропки-коридоры; пригнувшись, чтобы веточки не застревали в волосах, Ранхильд отправилась

по одной такой. Деревья — персики, айва, яблони, абрикосы, груши, сливы, — хоть и не подстриженные, были увешаны спелыми плодами; на спутанной траве валялись паданцы, полуобглоданные, гниющие. То здесь, то там можно было заметить грубо отломанную ветку, хотя фрукты висели достаточно низко и человек мог легко сорвать их и так. Вскоре Ранхильд выбралась на середину сада; там, как обычно и бывает в Персии, стоял каменный бассейн фута два-три глубиной. Он был полон прозрачной воды, в которой медленно плавали толстые карпы. Над водой склонилось высокое дерево с грецкими орехами. Его корни слегка сдвинули камни на краю бассейна. Со ствола кое-где свисали полоски коры, и Ранхильд заметила на нем глубокие царапины, одна сторона была отполирована до блеска, словно об нее вот уже много лет регулярно терся ослик садовника.

Ранхильд отправилась дальше и обнаружила под изогнутыми ветвями еще одну тропку-тунель, которая вела обратно к дому вдоль верхней стены сада. Около стены Ранхильд впервые заметила признаки какой-никакой хозяйственности: там рядком выстроились цилиндрические глиняные ульи, каждый прикрывала аккуратная

крышка из соломы, былинок и веточек. Несмотря на поздний вечер, возле дырочек еще летали припозднившиеся пчелы. Ранхильд задержалась около ульев, любуясь трудягами, возвращавшимися домой с грузом пыльцы на лапках. Улыбнувшись, она двинулась дальше. Шахиншах строил железную дорогу в основном на средства от своей сахарной монополии. А здешний хан из тайного леса нашел более дешевый способ утолить типично персидскую любовь к сладкому, не покупая шахский рафинад.

Вернувшись в коридор с каменным полом, куда выходила ее комната, Ранхильд в нерешительности остановилась. Вторая дверь была приоткрыта. Необычайный дом раздразнил ее любопытство; Ранхильд очень хотелось заглянуть в другие покои. Она прислушалась: в коридор долетали звуки — плеск воды, далекий, но приглушенный. Она осторожно толкнула дверь и вошла.

Помещение оказалось большим. Два открытых окна, как заметила Ранхильд, не были забраны решетками. В дальней стене арка без двери, низкая и широкая, вела в еще один коридор, оттуда как раз и доносился плеск. В отличие от ее комнаты, ковра не было. Пол покрывали квадратные каменные плиты, он был чисто выметен

и блестел, истертый частыми касаниями босых ног и домашних туфель. Кровати не было, но в углу футах в трех над полом висела широкая массивная полка, устланная полосатым ковром. Впереди ковер немного задрался, и из-под него торчал сильно ободранный и поцарапанный деревянный край.

Ранхильд стояла посреди комнаты и оглядывалась, ее снова поразил тот неуловимый душок, который она почуяла еще у ворот. Из сада долетал свежий ветерок, напоенный ароматом цветов и плодов, но сквозь сладкое растительное благоухание пробивался тот другой запах, странный, не очень приятный, он дразнил Ранхильд, вызывая смутные воспоминания, связанные с чем-то интересным и забавным, загадочным образом он ассоциировался и с какими-то недавними событиями, и чем-то далеким, с экскурсией, поездкой, зрелищем, которое она наблюдала много лет назад, когда еще школьницей ездила в Осло.

К долетавшим из коридора звукам льющейся воды добавились голоса. Ранхильд с опаской оглянулась на арку и пересекла комнату. Вдоль дальней стены тянулась каменная скамья. На ней, к удивлению, Ранхильд, были аккуратно разложены топорные туалетные принадлежности.

Рядом с неглубоким тазом с прозрачной водой обнаружились две большие щетки с длинной жесткой щетиной, похожие на щетки для лошадей, только побольше, и парочка поменьше и помягче, чистые, только кое-где за щетину зацепились длинные блестящие темно-коричневые волоски. Дальше по размеру были разложены деревянные гребни, самый большой пришелся бы впору для великаньей бороды, а самым маленьким вполне могла воспользоваться сама Ранхильд. Она взяла его, быстро, воровато, словно ребенок, забравшийся в шкаф за вареньем, и расчесалась. Рядом со щетками и гребнями лежали ножницы и что-то похожее на гигантскую неровную пилку для ногтей, но не было ни зеркала, ни бритвы.

Больше никаких предметов в комнате не нашлось, разве что один, за который зацепился взгляд Ранхильд, когда она отвернулась от скамьи: в угол закатился большой деревянный шар, весь измочаленный и замызганный. Не было ни матрасов, ни одеял, ни кровати, ни деревянных сундуков, которые Ранхильд привыкла видеть в доме у каждого, даже у самого нищего персидского крестьянина.

Коридор за аркой несколько ярдов шел прямо с

небольшим уклоном, а потом резко сворачивал. Пол и стены были облицованы каменными плитами. Освещался коридор круглыми оконцами из зеленого стекла, напоминавшими бутылочные донышки и вделанными в сводчатый потолок. Ранхильд на цыпочках дошла почти до самого поворота и остановилась, прислушиваясь. В лицо пахну́ло теплым влажным духом: там располагалась баня. Звук льющейся воды затих, зато теперь кто-то громко плескался, слышались восклицания, девичий смех и глухой стук, будто по каменному полу ходили в деревянных банных башмаках. Ранхильд не была уверена, не примерещились ли ей и другие звуки: довольное кряхтение и фырканье. В коридоре еще явственнее, несмотря даже на пар и запах мыла, ощущался тот душок, чуждый человеческому жилищу; не один из насыщенных и разнообразных запахов, какие можно почуять во дворе у перса, но такой, уловив который где бы то ни было, замираешь в тревоге. Ранхильд ухватилась за это чувство тревоги, ища в нем подсказку для никак не дающейся ей загадки. Вот оно: так пахло что-то нечеловеческое и опасное.

Ранхильд стало страшно. Она быстро вернулась в комнату хана, вышла из нее и направилась к

двери в свою собственную. Но та оказалась заперта изнутри, ручки или задвижки снаружи не было, и открыть ее не получилось. Ранхильд беспомощно поскреблась в дверь. Позади раздался шум: кто-то вошел в комнату хана и теперь ходил там, совсем близко. Внезапно Ранхильд охватил ужас, что ее застанут в коридоре.

Но тут в его дальнем конце появилась жена хана и поманила ее. Следом за старухой Ранхильд свернула за угол и вышла в длинную комнату; теперь, когда ставни стояли нараспашку, стало ясно, что она выходит во внутренний двор, где они сидели совсем недавно. Окна закрывала частая решетка, а поперек ведущей во двор двери лежал толстенный грубо выкованный железный засов. Дверей было всего две — с засовом и та, через которую они вошли. В комнате уже ждала девушка, которая помогала Ранхильд мыться. Она успела надеть черный, расшитый серебряной нитью кафтан, застегнутый спереди на пару серебряных пуговиц. Кафтан был таким коротким, что не прикрывал медно-коричневый живот. Ранхильд спросила себя, сколько же в этом доме женщин. Судя по голосам, в бане мылись по крайней мере еще две.

Старуха прошла в дальний конец комнаты и

уселась на длинный хлопковый валик. Уверенно и изящно расправила тяжелую юбку, подняла голову и горделиво распрямилась. Перед ней на чистой белой скатерти, расстеленной поверх ковра зилу, стояли тарелки и блюда для вечерней трапезы. Там были и деревянные миски с горками красных и желтых спелых фруктов, и пятнистые ломти золотисто-коричневого хлеба, и глиняная миска с пчелиными сотами. Девушка зажгла две свечи в высоких серебряных подсвечниках и поставила их по обеим сторонам от скатерти. Впереди перед скатертью лежал яркий узорчатый коврик, какие обычно ткут кочевницы, и Ранхильд хотела было опуститься на него на колени, но старуха что-то отрывисто сказала и махнула рукой, подзывая ее, Ранхильд подошла, и старуха положила ладонь ей на поясницу.

— Там сидит хан, — сказала она, глядя на Ранхильд со странной торжествующей улыбкой. Потом легонько подтолкнула гостью, чтобы та села, но руку убрала не сразу, словно хотела подольше насладиться мягкой льняной тканью и упругой плотью под ней.

Ранхильд медленно села по-турецки на валик подле старухи. Девушка встала чуть позади, касаясь коленом ее плеча. Прямо напротив распо-

лагалась та дверь, через которую вошли Ранхильд со старухой, и все трое не сводили с нее глаз.

Тусклый сумеречный свет из окон туда не достигал, и дверь оставалась в тени, пляшущее пламя свечей лишь отбрасывало смутные тени. Кто-то затопал по каменному полу: легкие и быстрые шаги и другие, тоже быстрые, но тяжелые, шаркающие. Дверь распахнулась, старуха уцепилась длинной сильной рукой за предплечье Ранхильд, ноющее от солнечного ожога, и так сжала пальцы, что Ранхильд поморщилась. Удерживая гостью на месте, старуха улыбнулась еще шире.

— Хан тебя не обидит, — сказала она, словно одновременно ободряя и насмехаясь.

Две юные девушки удерживали створки двери, на их обнаженной коже и расшитых блестками шароварах играли неяркие отсветы желтого пламени свечей, а между ними темнела огромная кряжистая фигура, чуть отблескивающая в тени; могучая голова медленно повернулась, вспыхнули два зеленоватых огонька, сверкнули белым острые клыки.

В кафе «Новин», как мне помнится, к ночи стало шумно. Иногда я вовсе не мог расслышать слова Нильса, а он, запрокинув голову, все рассказывал

тихим голосом, скорее себе, чем мне. К офицерам национальной армии успели присоединиться пятеро или шестеро мухаджиров — иммигрантов с русского Кавказа, которых все почитали опорой революции. На них были излюбленные кожанки, сапоги для верховой езды и черные кепки. Помню, они еще стряхивали с сапог снег, когда вошли. На смену водке явилось русское шампанское. Один молодой парень, напившийся сильнее прочих, шлепнулся на стул, свесил руку со спинки и широко расставил ноги. Его растрепанные черные кудри ниспадали на бледный лоб. Он был страшно пьян, но довольно неплохо пел баритоном, пел в своем горестном преумноженном вином одиночестве, чтобы отстраниться от буйства товарищей, пел по-русски: «Без шампанского не можем жить»[59]. Застольная песня, но неспешная и печальная.

Мы расплачиваемся; я замечаю, что лучше бы разойтись по домам. Юные офицеры и мухаджиры жаркими темными глазами следят с пьяной надменностью, как мы надеваем пальто, но Нильс, не обращая на них внимания, толкает плечом дверь.

---

[59] Примечания: 59

Вероятно, имеется в виду романс «Очи черные», одна из версий которого содержит строчку «Мы не можем жить без шампанского».

Снаружи в Проходе и на хиабане ни души. Тоненький слой свежевыпавшего снега на асфальте перечеркивают черные следы колес. Извозчик будит задремавших кляч, и они, оскальзываясь и спотыкаясь, подвозят к нам дрожки. Мы принимаемся спорить, кто первый, кто последний, и я в конце концов прерываю этот спор — просто залезаю внутрь под поднятый верх, устраиваюсь на подушках (несомненно, кишащих клопами) и произношу то самое тюркское слово, которое единственное и нужно мне в этот час в этих краях:

— Айвимиза!

Что значит «к нам домой».

Извозчику отлично известно, где мы оба живем, так что пусть сам разбирается с местоимением.

Для меня многое осталось неясным; мы съезжаем с хиабана, лошади шаткой рысью бегут по непроглядно темным улочкам-кухе, но хотя бы в нужном направлении. Из-за поднятого верха я почти ничего не вижу, хотя фонари на дрожках чуточку освещают путь. Удается разглядеть только полоску покрытой грязным снегом мостовой или просто грязного снега, которая оказывается в опасной близости, когда дрожки кренятся на правый бок, да загадочный болотный огонек:

вместе с товарищем он необъяснимым образом приветливо порхает в ярде от моего лица, скользя по стенам, дверям и столбам. Я уже наблюдал это явление, когда поздно ночью возвращался из «Новина», и отнесся к нему с настороженностью. Но вот сегодня, возможно, потому, что мысли заняты другим, я с мимолетным облегчением понимаю: мне не мерещится — это просто слабый отблеск фонаря на дрожках, на грязном стекле которого начертан регистрационный номер. Во время такой трясучки сложно поддерживать связную беседу, особенно если укутался в шарф, пытаясь защититься от пронизывающего сквозняка, дующего со всех сторон; к тому же очень непросто определиться, что же именно я хочу сказать по поводу услышанной от Нильса истории, но в конце концов я все же спрашиваю:

— А они с Аарвольдом?..

Нильс бросает попытки прикурить сигарету и то ли смеется, то ли плюется.

— Вот это-то и есть самое прекрасное! После всего именно он… Он сбежал в Норвегию. Может, дело было не только в той интрижке. Они поругались с инженером-консультантом, и Ааврольд отказался от проекта. Но она осталась! Ну конечно же, мы всё убедительно обстряпали

с юридической точки зрения. Куда уж проще. И вот я... Идеальный любовный треугольник. Черт! Я не боялся Аарвольда и действительно был в нее влюблен. Теперь уже не важно. Прошло пятнадцать лет. Он, конечно, получил развод в Норвегии.

Левые колеса дрожек внезапно с треском ухают в дыру, которую выкопал посреди улицы какой-то гражданин, чтобы удобнее было добираться до водного протока. Я хватаюсь за козлы, а Нильс тут же хватается за меня и выравнивает заваливающуюся колымагу.

— Проклятая дыра! — бранится он. — В один прекрасный вечер я в ней утону.

Я мрачно всматриваюсь в ночь, все еще держась за козлы; лошади, высоко вскидывая копыта и буксуя, волочат дрожки. Вот и дом Нильса. Он выходит и яростно пинает калитку, чтобы разбудить слугу. Словно черепаха, довольно растерянная, но настырная черепаха, я высовываю голову из-под круглого верха дрожек.

— Но как же ее история? — спрашиваю я.

Калитка открывается. Задержавшись на мгновение перед маленьким темным проходом, Нильс оборачивается и говорит:

— Бог весть! Наверное, я слишком долго пробыл

в Персии. Готов поверить даже в четырехугольные треугольники.



Номер четырнадцать[60]



Впервые за несколько месяцев у меня наметился свободный уик-энд, и я решила использовать его по максимуму, благо стояли теплые весенние дни, — а именно откликнуться наконец на приглашение Чарльза Поттинджера и его жены погостить у них в Суррее, в местечке под назва-

[60] Примечания: 60
Перевод Н. Роговской.

нием Тамперс-Энд, где они незадолго до того купили дом.

В субботу днем я сошла с поезда на Кингз-Кроссе и была приятно удивлена: у выхода с платформы меня поджидал Чарльз, хотя в своем письме он не обещал меня встретить, а только прислал расписание поездов от вокзала Виктория и подробно объяснил, где расположена остановка пригородного автобуса до Тамперс-Энда.

— Я и не планировал тебя встречать, — честно признался он, — но вчера на ночь глядя мне позвонили и вызвали в город для разговора, пришлось встать пораньше и ехать, так что я просто не успел с тобой связаться.

Чарльз был на машине. Поскольку с делами он уже покончил, мы сразу двинулись в путь — через Лондон и южные пригороды. До Тамперс-Энда добрались еще засветло.

С женой Чарльза, Констанцией, я несколько раз виделась раньше. Кому-то, я знаю, она казалась холодной и нелюдимой, но я легко нашла с ней общий язык и никогда не считала ее чрезмерно замкнутой. Впрочем, мы с Чарльзом давние друзья — возможно, причина в этом. Она, конечно, женщина с характером, бывает порой резковата и на все смотрит критически.

Мне представляется, что у нее сильная воля, и если в подчеркнутой сдержанности другим мерещился признак угрюмого нрава, то я объясняла манеру Констанции жесткой самодисциплиной — стремлением контролировать свой природный темперамент и слишком живое воображение. Эти скрытые от посторонних глаз черты ее личности ярко проявлялись, когда она чувствовала себя комфортно и свободно, в обществе немногих самых близких друзей; тогда Констанция делалась разговорчивой и остроумной — ее цепкая память и редкая наблюдательность позволяли раскрыться великолепному таланту рассказчицы.

После чая Поттинджеры показали мне свой сад; потом мы какое-то время вместе сидели в гостиной, хотя Констанция почти не участвовала в нашем разговоре, который вскоре свернул на последние архитектурные работы Чарльза. Он встал и подал мне журнал со статьей о загородном доме по проекту его фирмы. Явно довольный результатом, он из вежливости поинтересовался моим мнением. Пока я изучала планы и фотографии, Чарльз перебросился с женой несколькими фразами относительно своей поездки в город.

— Да, кстати, — донеслось до меня, — утром я проезжал по Олд-Милл-лейн. Там сносят два дома

— номер четырнадцать и соседний. Хотят на их месте построить один, многоквартирный.

Мне эта новость ни о чем не говорила, но, вероятно, она о многом сказала Констанции, которая не издала ни звука в ответ. Думаю, полное отсутствие реакции и заставило меня поднять глаза от журнала.

Констанция побледнела и впилась взглядом в Чарльза, словно ждала продолжения и готовилась услышать что-то крайне неприятное — или ужасное. Заметив мое любопытство, она встала и, отвернувшись в сторону, обронила:

— Ну и ладно, давно пора. Кошмарный дом.

Чарльз смутился:

— Ну не знаю… Дом-то тут при чем? И этот, и соседний — добротные старинные особняки, уж всяко лучше того, что построят взамен.

Констанция подошла к двери, но на пороге задержалась. Лицо ее вновь порозовело — очевидно, она справилась со своим страхом (если то был страх), не услышав от Чарльза чего-то похуже.

— Если будут строить многоквартирный дом, значит сроют все до фундамента? — спросила она.

Чарльз быстро взглянул на нее, сдвинул брови и встал:

— Да, нужен глубокий котлован. Но не бери в голову, Кон, перестань фантазировать. Этого просто не может быть. Ты сама говорила, что веришь фактам.

Она опустила глаза на ковер под ногами:

— А, да, говорила… Приходится верить фактам — или их отсутствию. И все же… чтобы вот так, совершенно бесследно… Не могу смириться.

Она вышла. Должно быть, на моем лице было написано недоумение. Чарльз в замешательстве посмотрел на меня и сказал:

— Извини. Ты, разумеется, ничего не поняла из нашего разговора. Речь об одном старом доме в Клэпеме… относительно старом. Кон знает его с давних пор, когда ее сестра снимала там комнату…

Он сделал паузу, предполагая, вероятно, что дал мне подсказку, но он ошибался: я даже не знала, что у нее есть сестра, о чем и сообщила ему.

— Э-э… — окончательно смутился Чарльз, — сестры больше нет. Во всяком случае…

Я пробормотала что-то невразумительное в смысле сочувствия или сожаления, осознав свою оплошность.

— Во всяком случае, — повторил Чарльз, — мы думаем, что она умерла. Хотя точно не знаем.

В эту минуту Констанция вернулась в комнату, и Чарльз мгновенно сменил тему, поинтересовавшись моим мнением насчет статьи о загородном доме, спроектированном его фирмой. И только значительно позже, когда мы с ним пошли прогуляться по деревне перед ужином, мне представилась возможность задать вопрос, который все время вертелся у меня на языке: что он имел в виду — как можно не знать, жива сестра его жены или мертва?

— Видишь ли, — сказал он, — это темное дело. По крайней мере в изложении Кон история звучит очень загадочно. Мне трудно судить, я никогда не видел ее сестру. Это случилось еще до моего знакомства с Кон. Я вот думаю… — медленно прибавил он, — я думаю, хорошо бы ты услышала все из первых уст, непосредственно от нее. Я много раз призывал Кон ничего не выдумывать: должна быть другая причина, вполне естественная и даже банальная, и в полиции ей сказали то же самое. Она соглашается, но, по-моему, исключительно из чувства долга перед своим естественно-научным образованием. В глубине души она не верит в рациональное объяснение. И теперь, узнав о сносе дома номер четырнадцать, она опять потеряет покой. Ей было бы

очень полезно заново пройтись по всем фактам и представить их, так сказать, на суд непредвзятого слушателя.

Я усомнилась: зачем бередить старую рану?

— На этот счет не беспокойся, — ответил он. — С потерей сестры она давно свыклась, ее волнует другое.

После ужина мы все перешли в гостиную, и Чарльз как бы невзначай снова затронул деликатную тему.

— Да, забыл тебе сказать, — обратился он к Констанции, — сегодня утром я встретился в городе с Сирилом Мэнтоном, он-то и рассказал мне, что номер четырнадцать идет на снос. Поэтому на обратном пути я сделал крюк, хотел убедиться.

Не дожидаясь ответа Констанции, он повернулся ко мне и пояснил:

— Сирил Мэнтон — мой родственник, двоюродный брат отца. Много лет работает в медицинской службе столичной полиции. Его отделение занималось делом сестры Кон, так что он полностью в курсе событий.

— И что он говорит? — бесстрастным голосом спросила Констанция.

— Ничего особенного, — ответил Чарльз. — Участок продан, дом сносят под новое строи-

тельство… Но Мэнтон знает, о чем ты думаешь. Потому и решил известить меня. Соответственно, полиция намерена все там осматривать по мере расчистки.

Возможно, Чарльз полагал, что теперь мой черед подать реплику. Но я промолчала. Похоже, Констанция разгадала маневр мужа и была не прочь удовлетворить мое любопытство.

— Чарльз меня знает, и он, конечно, прав, — сказала она. — Я не могу не думать о Шерли после его слов о доме четырнадцать. И раз уж об этом зашла речь, надо рассказать тебе всю историю от начала до конца. Нет, ничего, теперь уже не тяжело — в эмоциональном плане, я имею в виду, в плане обычных переживаний. Хотя, по очевидным причинам, я до сих пор не могу смириться. В случае естественной смерти… любой смерти, если на то пошло… люди со временем смиряются с непоправимым. Наверное, и я бы смирилась, будь истина установлена — вернее, не будь она чем-то за гранью разумного и реального.

— Боюсь, я тебя не понимаю, — призналась я. — Если все так, как ты говоришь, разве это истина?

— Вот именно, — подхватила Констанция. — Разве это истина? Видишь, как трудно пытаться смотреть на жизнь с рациональной и научной

точки зрения. Что ж, попробую представить свою историю как можно объективней, хотя мне не обойтись без догадок и впечатлений. Хочу сразу оговориться: я никогда не замечала за собой способности генерировать какие-то интуитивные впечатления, ощущения и все такое прочее. Кажется, ни разу в жизни я не поддалась иллюзии, ни разу не испытала такого чувства или состояния, которое нельзя было бы объяснить естественным и разумным образом. В этом я, вероятно, полная противоположность моей сестре Шерли.

Если бы всего того, о чем я собираюсь рассказать, не случилось, имя Шерли Дальман почти наверняка было бы сейчас тебе известно. По крайней мере, критики пророчили ей большое будущее. Пятнадцать лет назад ее называли одной из самых перспективных молодых танцовщиц на нашей сцене. Теперь о ней, конечно, никто не вспомнит.

В детстве мы с сестрой мало общались, хотя нас разделяла всего пара лет. Шерли бóльшую часть времени проводила в Лондоне, где посещала балетную школу и жила у тети Евы, которая после смерти нашей матери взяла над нами опекунство; тогда как мои школьные годы прошли

в Эксетере.

Отец умер, когда мне было девятнадцать, а Шерли семнадцать. Вскоре после его смерти я поступила в Лондонский университет и стала жить вместе с Шерли и тетей Евой. У тетушки было слабое сердце, здоровье ее ухудшалось, и она решила уехать из Лондона, подальше от городской суеты, чтобы остаток жизни провести на острове Джерси, у своей младшей сестры — другой нашей тетки. Я тогда училась на втором курсе.

Мы с Шерли нашли себе очень приятную съемную квартиру в Далидже, где год или полтора прожили душа в душу. У нас была общая гостиная, и мы вместе садились за стол, если в нужный час обе оказывались дома, но в остальном каждая жила своей жизнью. У сестры был свой круг друзей — из балетной среды, у меня свой — из университетской. Круги эти не пересекались. Мы обе с энтузиазмом трудились, каждая на своем поприще, и не имели ни времени, ни желания жертвовать главным ради случайных знакомств и пустых забав.

Наверное, я все-таки больше знала о занятиях Шерли, чем она о моих, хотя бы потому, что иногда ходила смотреть ее выступления. К тому

же сестра была по натуре очень живая, открытая, увлекающаяся — вечерами она без умолку пересказывала мне театральные сплетни, вдаваясь в такие подробности музыки, хореографии, костюмов, декораций, о которых я прежде едва что-то слышала, и забрасывала меня балетными именами, о которых я не слышала и подавно.

К искусству танца Шерли относилась чрезвычайно серьезно. Ему она безраздельно посвятила свою жизнь с тех пор, как начала делать первые шаги в балете, десяти или одиннадцати лет от роду. Несмотря на природную живость, импульсивность, полное отсутствие логики и рассудительности в подходе к большинству умозрительных и практических задач, она не допускала ни малейшего легкомыслия, ни малейшей небрежности, если дело касалось танца. Для нее балет был единственным смыслом жизни, она не позволяла себе отвлекаться ни на что и ни на кого. Я так упираю на это, потому что полиция по привычке пыталась выйти на след любовной истории. Но я более чем уверена в несостоятельности такой версии. Я знала бы о ее романе, ты же понимаешь: когда две сестры живут вместе, шила в мешке не утаишь. Да Шерли и не стала бы ничего скрывать. В конце концов мне удалось

убедить в этом даже полицию.

Все началось, когда сестре только-только исполнилось двадцать: пятнадцать лет назад. Вскоре после Нового года — восьмого января — Шерли пришла домой с репетиции и, пока мы с ней пили чай, достала из сумки письмо и дала мне прочесть. Она пребывала в радостном возбуждении. В газетах появилось несколько лестных отзывов, а тут еще письмо от юной поклонницы: все это, как сладкий дым фимиама, слегка вскружило ей голову.

Письмо показалось мне излишне сентиментальным, в чем-то даже неприятным. Оно было написано на дешевой линованной бумаге округлым неустоявшимся почерком. В конце стояла подпись Эллен Гайятт, которая сообщила о себе, что ей пятнадцать лет и она калека.

На мой взгляд, девица пыталась прыгнуть выше головы: так мог бы писать умненький подросток, который запоем читает все подряд — больше, чем способен переварить. Теперь я, конечно, не помню письмо наизусть, но суть заключалась в том, что Эллен увидела фотографии Шерли («мисс Дальман», как она величала сестру) и смертельно в нее влюбилась. Я запомнила это дурацкое слово «смертельно». Сперва оно просто царапнуло меня

как стилистический нонсенс незрелого автора, но, дочитав до конца, я поняла, что оно органично вписывалось в общую тональность. Автор явно не жалел красок и накладывал их густыми, пастозными мазками. Судя по письму, Эллен родилась калекой. Она и ее вдовая мать жили в большой нужде; мать не могла вывозить ее на прогулки. Единственной радостью Эллен было фантазировать о том, что бы она сделала, если бы могла ходить, и чаще всего она грезила о танцах. Увидев в газете фотографию Шерли, она вмиг поняла: вот оно, воплощение ее заветной мечты. Но ведь Шерли не плод ее воображения, сказала она себе, а реально существующая девушка, а значит, в жизни она настолько же красивее, чем на снимке, насколько Эллен уродливее и несчастнее, чем балерина на фотографии. Эллен горько плакала от несбыточного желания увидеть танец Шерли. Она знала, что этому не бывать: ей никогда не выйти из своей каморки, никогда не узнать жизни за пределами ее собственных фантазий и газетных фотографий, никогда не испытать зрительского восторга, наблюдая за танцем живой мисс Дальман. Тем не менее она, Эллен, будет любить мисс Дальман до самой смерти, пусть у нее нет ничего, кроме снимка в газете!

Полагаю, актрисы и танцовщицы получают сотни подобных писем, и это послание навряд ли было глупее многих других. И хотя подростковая экспансивность всегда претила мне, в излияниях Эллен звучала щемящая нотка истинной драмы: все-таки письмо написала девочка-инвалид.

Если говорить о реакции Шерли, то в ней явно сквозила насмешка, когда она небрежно протянула мне письмо: даже моей сестричке слог автора показался немного выспренним. Потом она перечитала письмо — и раскаялась в собственной черствости. Вполне допускаю, что при первом чтении она проглядела то место, где Эллен говорила о своем увечье. Шерли мгновенно преисполнилась сострадания к несчастной девочке.

Она вскочила, принялась рыться в комоде и отобрала с пяток своих портретов, сделанных в разное время в профессиональной фотостудии.

— Бедный ребенок! — сказала Шерли. — Наверное, увидела мое фото в «Сфере» на прошлой неделе. Ужасный снимок. Помоги мне выбрать один из этих. Какой, по-твоему, ей больше понравится?

Она тут же села писать ответ и вложила в конверт две фотографии. Затем попросила меня

продиктовать ей адрес из письма, которое осталось на столе с неубранной чайной посудой. Я вслух зачитала: Клэпем-Парк, Олд-Милл-лейн, четырнадцать.

Шерли заметила, что у Эллен необычная фамилия — Гайятт. Я тоже обратила на это внимание: по виду какая-то не английская.

Через несколько дней от девочки пришло письмо с бурными изъявлениями благодарности и обожания. Но плаксивая нота никуда не делась, и в ней мне почудился призвук нарочитости. Для своих лет Эллен Гайятт, бесспорно, хорошо владела словом — слишком хорошо, если честно, как будто из кожи вон лезла, желая произвести впечатление. Ее лейтмотивом была жалость к себе.

Стоило мне обмолвиться о своих мыслях, Шерли сказала, что я бессердечная, злая, жестокая. Не знаю. Возможно, она была права. На мой взгляд, у калек развиваются крайне неприятные, отталкивающие черты характера. И чтобы этого не замечать, надо обладать поистине ангельской душой.

Я думала, что Шерли не сможет долго поддерживать переписку с Эллен Гайятт. Обычно она ленилась писать. К моему удивлению, она всякий раз отвечала Эллен, а письма от юной поклон-

ницы приходили каждые три-четыре дня. Меня это, в сущности, не касалось, но однажды я все же высказалась в том духе, что сестре не стоило бы поощрять девочку, если не хочет сделать бедняжку вдвойне несчастной, когда прервет с ней всякую связь.

— Но я не собираюсь прерывать! — возразила Шерли. — Я искренне хочу сделать для нее что-нибудь хорошее, если сумею. Она пишет такие трогательные письма, нет, в самом деле… она еще ребенок, я знаю… но она такая чуткая и… и… как бы это выразить?.. *глубокомысленная!*

Я попросила ее не молоть чепуху.

— Конечно, ты от этого далека, — сказала мне сестра, — но я просто диву даюсь, откуда у нее такое понимание внутреннего смысла танца и той радости, какую доставляет танцору совершенное владение телом. Притом что она никогда не видела выступлений танцовщиков.

Я начала гадать, что такого хорошего могла бы сделать для девочки Шерли — что она задумала? Я вовсе не исключала, что она всерьез рассматривала возможности, подсказанные романтическими викторианскими сюжетами: скажем, Шерли посылает за калекой карету скорой помощи (или другое средство доставки) и девочку везут в театр,

где ее ждет величайший в ее жизни праздник — Шерли танцует на сцене в главной партии и на поклонах под бурные овации зала посылает улыбку сидящей в ложе Эллен; или же Шерли внезапно возносится к вершине славы и оплачивает услуги гениального хирурга, который чудесным образом ставит Эллен на ноги.

В конце концов я прямо спросила сестру, что она имела в виду.

И она честно ответила, что еще ничего не придумала.

— Я не так уж много могу. Наверное, мне легче будет придумать, когда я с ней повидаюсь. Если ее категорически нельзя перевозить — это одно, а если можно — тогда нужно найти способ доставить ее в театр, хотя бы на репетицию.

— Иными словами, ты планируешь повидаться с ней. А я и не знала. Собираешься наносить визиты всем своим поклонникам? Смотри не надорвись.

— Не строй из себя дурочку, — сказала она. — Любой другой поклонник может заплатить шиллинг и с галерки любоваться мной и все нашей труппой, когда ему заблагорассудится. Вообще-то, кроме Эллен, у меня настоящих поклонников нет. Как видишь, я не мню себя звездой. Говорю тебе,

в этой девочке что-то есть, она мне нравится.

Сестра справедливо рассердилась на меня. Глупо было критиковать ее желание повидаться с девочкой, если я толком не знала, чем вызвана моя критика. Я попросила у нее прощения, и Шерли сразу оттаяла и стала уверять меня, что это она виновата в нашей размолвке.

— Не хочешь поехать со мной? — предложила она. — В воскресенье после обеда.

Думаю, когда дело дошло до поездки, Шерли чуть-чуть оробела. Потому и позвала меня с собой. Я согласилась, полагая, вероятно, что при мне она не будет вести себя совсем уж безрассудно.

Помню, день был холодный, дождливый, и серая окраина Южного Лондона, где мы оказались, выйдя из метро на станции «Клэпем-Коммон», выглядела особенно сиротливо. Ни я, ни Шерли не знали этого района. Мы взяли такси и обнаружили, что до нужного адреса всего десять минут езды. Ты не бывала на Олд-Милл-лейн? Чарльз говорит, что в последние годы там много всего понастроили, но пятнадцать лет назад это была тихая узкая старая улочка — такую скорее ожидаешь увидеть в каком-нибудь заштатном городишке, но никак не в столице. Тогда там еще частично сохранилась булыжная мостовая.

Большинство домов пряталось за высокими кирпичными оградами, и над тротуаром свисали ветви садовых деревьев.

В стене дома номер четырнадцать имелись двустворчатые деревянные ворота для экипажей и калитка в одной из створок. Краска на дереве почти вся облупилась, стена по обе стороны от ворот угрожающе вспучилась. Калитка была не заперта, в колокольчик звонить не пришлось. Сад зарос лаврами и рододендронами, земля под косматыми кустами отсырела, почернела, подернулась мхом. От ворот вглубь участка вела прямая дорожка, которую годами не расчищали. Фасад небольшого дома позднегеоргианской постройки украшало крыльцо с колоннами. Над стеной у северной границы участка я разглядела окна верхнего этажа соседнего, очень похожего дома. Вид у него был нежилой.

Номер четырнадцать явно нуждался в ремонте, судя по грязному, обшарпанному фасаду с проплешинами отвалившейся штукатурки и давно немытым окнам. Однако из писем Эллен я вынесла несколько иное впечатление о ее жилище. Мне представлялось, что они с матерью занимают две тесные комнаты в каком-нибудь типовом домике стена к стене с другими такими же, в безликом

и бедном современном микрорайоне, на улице без прошлого.

Я потянула за ручку старинного дверного звонка, и нам открыла женщина во всем черном с непроницаемым или скорее неприступным выражением лица, как будто к ней постучались попрошайки или торговые агенты. Шерли одарила ее своей обворожительной улыбкой:

— Я Шерли Дальман, приехала повидаться с Эллен. А вы ее мать?

Шерли никогда не теряла самообладания при встрече с незнакомыми людьми. Думаю, это качество сформировалось у нее благодаря сцене — благодаря профессиональному навыку очаровывать зрителей.

— Да, я миссис Гайятт, — подтвердила женщина. — Прошу вас.

Голос у нее был унылый, под стать внешности, и я уловила легкий акцент. Попробую описать ее: высокая, костлявая, лет пятидесяти, как мне показалось, с вытянутым желтоватым лицом, высокими скулами и черными глазами в глубоких впадинах; черные с проседью волосы собраны на затылке в неопрятный пук, кое-как заколотый массивным черепаховым гребнем. На женщине было черное шелковое платье с высоким воротом

и длинными рукавами, туго стянутыми на запястьях, — мне вспомнилась фотография нашей тети Евы, сделанная в девяностые годы прошлого века; платье миссис Гайятт дополняли длинные нити агатовых бус, позвякивавших при каждом ее движении.

Она провела нас через маленький холл в душную гостиную — такой же призрак Викторианской эпохи, как и сама хозяйка дома: слишком много вещей, слишком жарко натоплено. Среди скопления обитой плюшем и набитой конским волосом мягкой мебели, бамбуковых этажерок, фотографий с людьми в застывших позах и картин с оленями или меланхоличными дамами в «классическом» платье ничто вроде бы прямо не указывало на похороны, но все в этой комнате словно замерло в ожидании понурой вереницы родственников в затрапезном траурном облачении, которые с минуты на минуту войдут сюда и будут неловко перетаптываться, стараясь не разговаривать, чтобы не пропустить шаги гробовщиков на лестнице. Я говорю об отсутствии видимых причин для подобного ощущения, но, если вдуматься, это не совсем так — мысль о трауре навевалась двумя характерными деталями (не считая самой миссис Гайятт): зеленые портьеры

на окнах были приподняты лишь на треть, а фотографии немолодого мужчины с усами и бакенбардами были наискось перевязаны черной лентой с бантом.

На Шерли мрачный характер комнаты подействовал даже сильнее, чем на меня. Она молча огляделась вокруг и, когда женщина вышла за дверь, в ужасе шепнула мне:

— Боже мой, бедная девочка! Еще бы она не унывала — не гостиная, а покойницкая.

Зато огонь горел весело. И хотя мне было скорее жарко, чем холодно, я передвинулась поближе к камину. Шерли, нервно поеживаясь, пробралась между столиками и этажерками к пианино и села на табурет. Она стала тихо постукивать пальцами по закрытой клавиатурной крышке, втайне уже сожалея, как я думала (вернее, надеялась), что ей взбрело в голову сюда приехать.

Я полагала, что нас отведут в спальню больной, как только мать приготовит ее к нашему визиту. Но, вернувшись в гостиную, женщина широко отворила дверь и отступила в сторону, освобождая проход: позади шла ее дочь собственной персоной.

Шла Эллен еле-еле и в дверном проеме остановилась, опираясь на маленький детский костыль.

Сперва она увидала меня, тотчас догадалась, что не я ее кумир, и повернула голову к Шерли. Ее ошеломленное «ах!» прозвучало как судорожный всхлип.

Обращаясь ко мне, миссис Гайятт все тем же бесцветным, обреченным голосом сообщила:

— Сегодня у дочери не лучший день, но она не захотела остаться в постели.

Для своих пятнадцати лет Эллен была слишком мала, хотя лицо, наоборот, казалось не по годам взрослым. Увечную правую ногу обхватывала тяжелая металлическая конструкция, приделанная к ботинку на утолщенной подошве; тщедушное тельце было все какое-то скрюченное, кособокое: одно плечо выше другого, на спине уже наметился горб. Черное бархатное платье было ей длинно, но не настолько, чтобы полностью скрыть уродливое приспособление на ноге.

Эллен впилась глазами в мою сестру. И пока она не сводила с Шерли восхищенного взгляда, мне подумалось, что вот в эту минуту я вижу ее такой, какая она есть, — вижу ее подлинную, детски наивную натуру без налета искусственности, без попытки разыгрывать из себя великовозрастного инвалида.

И ее черные глаза были глазами ребенка: чи-

стые, ясные, живые. Но в остальном весь ее облик говорил о том, что на ее долю выпали недетские испытания. Тусклая, нездорового цвета кожа; прямые и безжизненные черные волосы; длинный тонкий нос над большим ртом с узкими губами и опущенными книзу углами; и острый, выдвинутый вперед подбородок; прибавьте к этому худющие руки с длинными костлявыми пальцами, похожими на лапу хищной птицы.

По моему убеждению, каждый, кто не лукавит перед самим собой, созна́ется в своей инстинктивной неприязни к уродам. Хотя в цивилизованном обществе жалость всегда затмевает наше первое, примитивное чувство брезгливости и все мы, конечно, стыдимся признаться себе в этом недостойном чувстве. Скажу без утайки: при виде Эллен я испытала все три упомянутые эмоции. Подозреваю, что Шерли, если бы ее вдруг спросили об этом, призналась бы только в своем сострадании.

Миссис Гайятт произнесла несколько дежурных фраз насчет того, как любезно было с нашей стороны оказать внимание ее дочери и как счастлива Эллен познакомиться с известной молодой артисткой. Все это Шерли пропустила мимо ушей. Она инстинктивно взяла очень пра-

вильный тон в общении с девочкой — ласковый, веселый, непринужденный — и легко нащупала тот уровень разговора, который позволял бы ей вести беседу естественно, без примеси снисходительности. Но и Эллен оказалась на высоте: в ее манере не было ни позы, ни фальши — ничего из того, что коробило меня в ее письмах.

Сидя на краешке кресла и опираясь частично на подлокотники, частично на свой костыль, она оживленно болтала с Шерли, пока ее мать накрывала стол для чая. Эллен проявила удивительную осведомленность — она назубок знала все балетные термины, всех танцоров в труппе Шерли, все их постановки и все составы исполнителей. Однако этим ее интерес не ограничивался. Она принялась задавать вопросы о методе обучения в балетной школе — от основ танцевальной техники к вершинам хореографии. Надо сказать, Шерли умела анализировать искусство танца, и слово за слово она прочла целую лекцию о теории балета. Прежде я никогда не слышала, чтобы сестра говорила с таким глубоким знанием дела, и понятно почему: я никогда не выказывала и десятой доли той заинтересованности и того понимания предмета, которые читались на лице Эллен.

Миссис Гайятт вяло поддерживала беседу со мной, исподволь наблюдая за Эллен. Эта женщина нагоняла тоску. Она ни разу не улыбнулась, и даже слова благодарности за наше доброе отношение к Эллен прозвучали в ее устах замогильно. Не задавая вопросов в лоб, невозможно было узнать у нее никаких обстоятельств их жизни, кроме скучного подтверждения так называемой благородной бедности. То, что жили они небогато, сомнений не вызывало: руки миссис Гайятт огрубели от домашней работы и, судя по внешнему виду матери и дочери, обе давно не ели вдоволь.

Окольными путями, увязая в вежливых банальностях, которыми мы с ней обменивались, и по крохам собирая скупые ответы на немногочисленные прямые вопросы, которые мне удавалось вставить, я в общих чертах уяснила для себя (как считала тогда) их историю.

Обе не были уроженками Лондона. Муж миссис Гайятт занимался торговлей в Британской Гвиане. Там они поженились, и там у них родилась Эллен. Потом папаша Гайятт отошел от дел, и лет за пять до нашего знакомства семья переехала в Лондон, где Гайятт через год умер. Дом принадлежал им, но миссис Гайятт хотела продать его и вернуться в Британскую Гвиану.

Их не устраивал здешний климат, да и здешние люди ей не нравились. Ее останавливало только нежелание Эллен возвращаться прямо сейчас. Дочь возомнила, что в Англии ее, может быть, вылечат. Эту мысль вложил ей в голову ее отец. Собственно, поэтому он и настоял на переезде в Лондон, тогда как миссис Гайятт предпочла бы остаться в Гвиане.

Я спросила, неужели нет никакого способа облегчить страдания Эллен. В ответ миссис Гайятт только вздохнула и испустила короткий горестный стон — я перевела его как полное отчаяние; возможно, он означал что-то еще, хотя вряд ли. Получала ли девочка лечение и был ли от этого прок, из разговора с матерью я не сумела понять.

Прошел почти час, прежде чем мне удалось наконец сдвинуть Шерли с места. Думаю, торопливая сестру, я сама испытывала угрызения совести, слишком уж очевидно ее присутствие радовало девочку. Эллен прямо сияла от счастья, а когда мы собрались уходить, огорчение, тревога и страх так явственно обозначились на ее лице, что я не знала, куда девать глаза.

Она схватила Шерли за руку и взмолилась:

— Вы ведь сдержите обещание? Вы приедете снова, непременно приедете! Приедете и покаже-

те мне эти движения. Я умру, если не приедете, умру!

Шерли рассмеялась и повторила свое обещание — много-много раз. Выходя в холл вслед за миссис Гайятт, я в дверях обернулась и увидела, как сестра наклонилась и поцеловала Эллен.

Возле наружной двери я замялась, соображая, что бы сказать хозяйке на прощание, кроме пустого «спасибо» и «доброй ночи», поскольку я не предполагала новой встречи как с матерью, так и с дочерью. В итоге я выразила надежду, что со временем Эллен избавится от своего недуга.

— Как! — воскликнула Шерли. — Мы *сами* должны что-нибудь предпринять! Надо будет узнать, куда ее можно поместить на лечение. Врачи теперь творят чудеса…

Миссис Гайятт сжала губы и покачала головой: в ее взгляде было столько суровости, осуждения и обреченности, что Шерли растерянно смолкла.

— Никто не в силах помочь ей! — сказала она очень твердо, впервые за весь вечер.

— Ах, вы просто не знаете… — беспомощно пролепетала Шерли.

— Я знаю! — перебила ее миссис Гайятт и, опустив голову, прибавила несколько слов, которые изумили и возмутили меня: — Это мое наказание.

Меня постигла справедливая кара. Я родила ее против воли Господней. Ей суждено страдать, покуда все тела не сольются и не преобразятся.

К моему удивлению, Шерли была не слишком шокирована.

— По всей видимости, мамаша очень религиозна, — сказала она тем же вечером. — Потому и не хочет отпустить ее в театр. Эллен *могла бы* приехать. Она в состоянии передвигаться, а много ходить ей бы не пришлось. Из фойе ее на руках подняли бы по лестнице.

Я спросила, уверена ли сестра, что препятствие заключается в матери. Говорила ли Эллен, что хочет попасть в театр?

Шерли посмотрела на меня так, словно я упустила самое главное во всей истории.

— Бедняжка Кон, — вздохнула она, — неужели ты до сих пор не поняла, что только об этом она и мечтает? О чем еще, по-твоему, Эллен взахлеб говорила со мной? Она готова отдать без остатка всю свою жалкую жизнь, лишь бы один-единственный раз увидеть, как я танцую. Ты просто не представляешь, как много это значит для артиста. Рядом с таким признанием любая похвала критики — пустой звук. Я чувствую себя ничтожной, недостойной. И дело не в комплиментах,

напрасно ты думаешь… Ей-богу! Я достаточно трезво смотрю на вещи. В конце концов, как она может судить о моем танце, если никогда его не видела? Есть много других людей, которые честно скажут мне, хорошо или плохо я танцую, и много таких, которые не поскупятся на комплименты — была бы охота слушать.

— Допустим, тогда в чем же дело? — спросила я.

Шерли пожала плечами. Она не собиралась разжевывать мне свою мысль, коли я так тупа, что сама ее не улавливаю.

— Танец всегда больше, чем танцор, — изрекла она. — Не все это понимают, даже не все хорошие танцоры. А вот Эллен понимает.

Мое самолюбие было задето: в ее словах я услыхала намек на некую сокровенную тайну великого искусства танца, недоступную моему разумению. И сочла это полным абсурдом.

— Никогда не поверю, что пятнадцатилетний подросток способен мыслить подобными псевдоинтеллектуальными категориями, — сказала я. — Она девочка умненькая, не спорю, и довольно проницательная благодаря своему увечью. Но ясно как день, что она просто завидует твоей ладной фигуре и стройным ножкам. Она хотела

бы стать тобой, но, раз этому не бывать, согласна на компромисс — на твое постоянное внимание к себе. Так что не она льстит тебе своим отношением, а ты ей: это ты тешишь ее тщеславие.

— Чушь! — отмахнулась от меня Шерли.

Без сомнения, сестра продолжала получать письма от Эллен, но мне их больше не показывала и довольно нервно реагировала на любое упоминание этой темы, возможно, потому, что в глубине души сама понимала — хотя никому бы не призналась, — что ее тесная дружба с молоденькой девочкой, у которой не было с ней ничего общего, со стороны могла выглядеть смешно, если не сказать — дико.

Именно так это и выглядело, и чем дальше, тем больше. Когда у нее случалось свободное время, она предпочитала потратить его на поездку в мрачный, старый, душный дом в Клэпеме, а не на прогулку и общение со своими подругами по театру; про себя я уж и не говорю.

О своих визитах она мне почти не рассказывала, иначе мы бы только и делали, что пререкались. Ее новая дружба грозила рассорить нас, и я стала подумывать, правильно ли мы поступили, сняв жилье на двоих: на поверку все обернулось не так радужно, как виделось вначале. Разумеет-

ся, это было выгодно нам обеим, но годового содержания, которое назначил каждой из нас наш отец, вполне хватило бы и для раздельного житья. Правда я, будучи старшей, чувствовала некоторую ответственность за Шерли и, хотя временами мечтала о независимости, не спешила предлагать ей разделиться.

Шерли не сумела преодолеть сопротивление миссис Гайятт (если сопротивление действительно исходило от матери) и привезти Эллен в театр, пока там давали балет с ее участием. Однако сестра нашла выход: взяла свои балетные туфли, репетиционный костюм и устроила показ танцевальных элементов у них на дому.

Когда — по весне — Шерли вскользь упомянула об этом, я промолчала, но однажды вечером меня что-то толкнуло вернуться к разговору о миссис Гайятт и ее неприятию театра якобы по религиозным убеждениям. Я считала причину надуманной. Те немногие пуритане, которые все еще верят в греховность театра, не приемлют танцы как таковые — где бы то ни было, в том числе у себя дома. Но миссис Гайятт, по моим предположениям, была скорее испанских кровей и, следовательно, воспитывалась в католической вере. Во всяком случае, это представлялось мне

более вероятным.

Я стала замечать, что Шерли необычайно серьезно воспринимает религиозность миссис Гайятт, потому и задала свой вопрос. Насколько я знаю, сестра со дня своего первого причастия не выказывала ни малейшего интереса к религии. Не то чтобы она была убежденной материалисткой или атеисткой — она была полной невеждой в этих вопросах. Однако в прежние времена Шерли с отвращением отозвалась бы о «кликушестве» (ее выражение) любых церквей или сект, выступавших с морализаторским осуждением того, что было ей дорого, и меня разбирало любопытство, почему религиозные догмы миссис Гайятт не вызывают у нее отторжения.

— А какой она веры? — спросила я.

— Она харберианка, — ответила Шерли.

Я вылупила глаза и сказала, что впервые слышу про такую веру, но на мои расспросы Шерли не могла или не захотела ответить. Само название — «харбериане» — наводило на мысль об одной из крошечных маргинальных сект радикального толка, адепты которых воскресными сумерками сползаются в молельные дома, наспех сляпанные из листов гофрированного железа, где-нибудь на окраине промышленного города, чтобы выме-

стить свое хроническое несварение на всех, кто к ним не принадлежит и кому они сладострастно сулят муки ада, когда настанет долгожданный день гнева Господня[61].

Я даже заглянула в энциклопедию, но ничего там не обнаружила. Поспрашивала друзей — те тоже отродясь не слышали про харбериан. Потом я вспомнила об одном университетском ученом-ботанике; теперь он профессор, но уже и тогда это был настоящий эрудит, обожавший забивать свою голову всяческими нужными и ненужными сведениями, — из тех чудаков с необъятным кругозором, которые любят участвовать в интеллектуальных викторинах, «мозговых трестах» и так далее. Как-то утром я поймала его в университете и ошарашила своим вопросом:

— Мистер Уоллес, вы случайно не знаете, кто такие харбериане?

Надо было его видеть — встрепенулся, как мальчишка у витрины кондитерской, которому добрая тетя сунула в руку шестипенсовик.

— Харбериане? Гм, харбериане… Так-так, дайте подумать. Харбериане! С чем они могут ассоциироваться? Минуточку. Ага! Есть! Тринидад!

---

[61] Примечания: 61

Ср.: «Ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» (Откр. 6: 17).

Тринидад, Ямайка, Британская Гвиана. Я слыхал о них, когда ездил с экспедицией Эдинбургского университета на Карибы. И что вы хотите узнать?

— Если это секта, то какого рода?

Он ухмыльнулся:

— А вот тут вы меня подловили! Я перерыл все справочники, и нигде ничего. Могу только сказать, что название происходит от имени американца, некоего Лорда К. Харбера. Около тысяча восемьсот семидесятого года он в одиночку основал миссию в Вест-Индии. Полнейший безумец, судя по всему. Кончил тем, что ушел в джунгли, перенял обычаи аборигенов, отпустил бороду до колен и одним махом разрешил все теологические проблемы, провозгласив себя Богом. Не думаю, что у него было много последователей. Возможно, осталась еще какая-то горстка — где-нибудь в британских владениях. На прочих территориях Церковь их подавляла, хотя они, кажется, вполне безобидны.

Я поинтересовалась их доктриной.

— Пансоматизм, — ответил он и, видя мое замешательство, с хохотком успокоил меня: — Не тушуйтесь, если не знаете. Этот термин — мое собственное изобретение. Просто ничего лучше

не придумал для описания их доктрины, суммируя дошедшие до меня рассказы. Вам, конечно, знакомо понятие Брахмы — Вселенской души, с которой все индивидуальные души могут когда-нибудь слиться? Так вот, харбериане идут дальше — они верят во всеобщее, или вселенское, тело. По их учению, не только вся материя в мире представляет собой по сути единую субстанцию, но и отдельные особи всех видов есть взаимосвязанные части единого физического целого — отсюда их вера в возможность некоего реального, материального слияния разных видов и родов живых существ. Все это вздор, разумеется. Дарвинизм наоборот. Видите, как полезно составлять в уме свой личный перекрестный указатель. Я ничего бы не вспомнил, если бы вовремя не изобрел удачный термин.

Он спросил, чем вызван мой интерес. Я сказала, что услышала незнакомое слово от кого-то, недавно прибывшего из Британской Гвианы.

— Да-да, это одно из наиболее вероятных мест, где они теоретически могли сохраниться. В особенности горы Британской Гвианы! После того как Лорд К. Харбер проникся анимистическими верованиями индейских племен, живших в отрыве от цивилизации, он и провозгласил себя

телесным воплощением божества.

Я не знала, всерьез говорил мистер Уоллес или нет и сколько правды было в его словах. Но если принимать его рассказ за чистую монету, он проливал некоторый свет на религию миссис Гайятт — довольно-таки неприятный свет.

Однако в то время меня еще терзало сомнение, не делаю ли я из мухи слона, не веду ли себя как назойливая старшая сестра, которая вечно суется со своей непрошеной заботой в дела младшей. Я всегда считала, что умею смотреть на вещи по-научному объективно и в своих суждениях полагаюсь не на интуицию, а на достоверные факты. Отчего же тогда я невзлюбила мать и дочь Гайятт, отчего мне не нравилась их дружба с Шерли? Я ничем не могла бы доказать, что они не те, за кого себя выдают. Я имею в виду, что они производили впечатление более-менее респектабельных особ, и, хотя их достаток оставлял желать лучшего, они все же пытались придерживаться неких условных стандартов английского среднего класса, скрывая из гордости как свою бедность, так и физическое уродство дочери.

Но даже допуская, что все это не просто видимость, а чистая правда, я совершенно не понимала, чем они могли привлекать Шерли —

не своим же убожеством!.. Так или иначе, какое мне дело, казалось бы?

Казалось бы, никакого, но в груди у меня непрестанно саднило. В конце концов я пришла к мысли, что мне надо получше присмотреться к Эллен и ее мамаше. Неделю-другую я воздерживалась от каких-либо замечаний по их адресу, усыпляя бдительность Шерли, а потом, когда она обмолвилась о своем намерении посетить их в ближайшее воскресенье, фактически напросилась поехать с ней. Шерли не выразила большой радости, но и не сказала прямо, что моя компания ей ни к чему.

Она взяла с собой саквояж, о содержимом которого умолчала. Когда мы вошли в дом, она достала из него балетную пачку. Эллен уже сгорала от нетерпения; на меня она даже не взглянула. Я заметила, что из холла убрали все мелкие предметы обстановки, прежде загромождавшие пространство; паркетный пол начистили до блеска; и на лестничных окнах, освещавших холл сверху, подняли шторы, чтобы впустить внутрь побольше мягкого послеполуденного света. Иными словами, сцена для выступления была приготовлена.

У миссис Гайятт обнаружились ноты фортепианных переложений оркестровой музыки к

некоторым эпизодам балетов, в которых Шерли танцевала минувшей зимой. Едва мать удалилась в гостиную, где стояло пианино, Эллен схватила Шерли за руку и, прыгая на своем костыле, потащила ее в другой конец холла.

— Нет-нет, не ходите наверх. Я хочу посмотреть, как вы переодеваетесь. Идемте в мою комнату, — взмолилась она, и Шерли ей уступила.

Я последовала за ними. Не знаю почему, у меня возникло настойчивое желание увидеть жилище Эллен. Позади лестницы в дальнем конце холла был выход в небольшой коридор, соединявший холл с кухней и черным ходом; еще одна дверь вела в комнату, где устроили спальню для Эллен. Она, естественно, не могла бы ходить вверх-вниз по лестнице.

Они с Шерли прошли внутрь. Я стала в дверях. Думаю, Эллен не заметила, что я присоединилась к ним.

Комната была довольно просторная; возможно, исходные владельцы планировали устроить там вторую гостиную. Два примыкавших друг к другу окна в боковой стене смотрели на сад. Окна были закрыты, а в камине (на противоположной от окон стороне) жарко горел огонь, отчего в комнате стояла страшная духота.

Первое, что бросилось мне в глаза, — это непрестанное мельтешение на фоне окон. «Голуби», — промелькнуло у меня, и в следующий миг я разглядела огромную клетку, точнее вольер, пристроенный вплотную к наружной стене; вольер был намного шире сдвоенных окон и сильно выдавался в сад. Птиц там жило великое множество, в основном, кажется, горлицы.

Обстановка состояла всего из нескольких предметов мебели и огромного количества украшений, благодаря которым Эллен создала вокруг себя диковинный мир, сотканный из фантазий и воспоминаний, мир, где она, очевидно, искала спасения от постылой действительности.

Я невольно почувствовала, что детские годы в Гвиане, несмотря на врожденное увечье, запечатлелись в памяти Эллен как наиболее яркая и увлекательная страница ее биографии. На это наблюдение наложилось другое: комната больше подошла бы мальчику, а не девочке. Узкая железная кровать и комод были задвинуты в дальний угол за камином, словно сугубо утилитарные и скучные предметы, с которыми можно мириться, только если они не занимают лишнего места. В остальном ее комната представляла собой экспозицию варварских сокровищ.

Пол был устлан циновками из тростника и пальмовых листьев; поверх циновок, раскрашенных в черно-красно-зеленую клетку, лежали шкуры животных. Стены служили витриной для пестрой экзотической коллекции: на вбитых тут и там гвоздях красовались богато расшитые платья, а на веревках, привязанных к длинной штанге для развески картин, каскадом спускались к полу образцы вышивки бисером всех форм, цветов и размеров; гигантские нарядные бабочки под стеклом; высокие головные уборы из алых и синих перьев; луки, копья и томагавки; жуткие деревянные маски с примитивной резьбой, черными косицами и зловещей «улыбкой»; и еще более отвратительные экспонаты — грубо сработанные чучела маленьких крокодилов и больших ящериц, которые при сушке так искривились, будто эти монстры прямо сейчас вылезли из стены и продолжают машинально сучить лапами. Кроме того, на стенах висели разнообразные кожаные сумки, украшенные бахромой и бисером, и всюду, куда ни глянь, — пучки засохших веточек и поблекших соцветий.

Вероятно, эти последние источали тот специфический, тошнотворный запах, который ударил мне в нос, как только Эллен открыла

дверь в свою спальню. Хотя свежие цветы у нее тоже имелись — наши, английские, не способные распространять такой тяжелый, удушающе приторный аромат. Вазы со свежими цветами стояли на третьем крупном предмете мебели в этой комнате. Я говорю о трюмо, которое почти терялось в драпировках и больше смахивало на алтарь. Трюмо стояло у стены прямо напротив двери, а перед ним на циновке расстилалась самая большая и роскошная из представленных здесь звериных шкур — шкура ягуара, если не ошибаюсь. Столешницу покрывала черная материя, ниспадавшая складками до полу, так что нижняя часть трюмо была полностью скрыта. От зеркала в обрамлении тяжелых черных складок остался только маленький круг посередине, позволявший увидеть лишь малую часть лица. Черная поверхность столешницы была усыпана крошечными букетиками сухих цветов; помимо ваз с нарциссами, на трюмо стояли небольшие керамические чаши и пара массивных серебряных подсвечников со свечами. В центре располагался студийный фотопортрет Шерли в полный рост, вставленный в рамку и обвитый венком из высохших трав.

Все это я успела разглядеть так подробно, по-

тому что Шерли тоже остановилась, озираясь кругом, словно сама впервые здесь оказалась. Эллен тем временем пристально изучала и ощупывала ее балетный костюм.

Больше всего меня поразила в комнате одна вещь, вернее набор вещей, и я уже двинулась было вперед, желая рассмотреть их вблизи, как Эллен вдруг обернулась и наконец заметила меня. В глубине трюмо, на длинной полке, концы которой справа и слева выдавались за зеркало, стояло четыре или пять округлых предметов красновато-коричневого цвета, размером и формой с крупный яффский апельсин. Издали мне показалось, что у них есть «лица» — запавшие глаза, выпирающие скулы, широкие приплюснутые ноздри и узкая щель рта. Я не понимала, какого они происхождения, природного или искусственного; если природного, то это могли быть разве только мумифицированные головы обезьян, хотя меня смущали их волосы, прямые и черные, точь-в-точь как у Эллен… Жутко вспомнить.

Я сделала всего шаг или два, когда Эллен заметила меня. В ту же секунду она сунула балетную пачку в руки Шерли и поскакала ко мне, как-то по-особому, угрожающе вывернув голову и сверля

меня таким враждебным взглядом, что я с испугу попятилась к выходу. В несколько яростных прыжков, сотрясаясь всем телом, лязгая железом и топая тяжелым ботинком, Эллен достигла двери и захлопнула ее перед самым моим носом.

Я пошла в гостиную, где миссис Гайятт расставляла ноты на пианино. Меня разбирала досада, во-первых, из-за того, что я неизвестно зачем притащилась в этот дом, а во-вторых, из-за того, что спасовала перед дурным характером и дурными манерами своенравной девчонки. Не сумев как следует скрыть раздражение, я сказала:

— По всей видимости, Эллен не любит показывать гостям свою комнату. Прошу меня извинить. Наверное, мое присутствие не входит в ее планы.

Миссис Гайятт взглянула на меня, и на ее лице не отразилось ничего, кроме привычного уныния. Она, как мне показалось, даже не пыталась вникнуть в смысл моих слов. Я чувствовала себя виноватой и постаралась загладить свой промах, отпустив несколько реплик касательно балетов с участием Шерли и их музыкального сопровождения, но хозяйка не изъявила желания поддерживать разговор.

Вскоре Шерли — уже в балетной пачке — вер-

нулась в холл вместе с Эллен, которая цеплялась за нее свободной рукой и безостановочно тараторила что-то своим писклявым голоском. Они посовещались с миссис Гайятт относительно выбора музыки, затем Эллен уселась в кресло, приготовленное для нее в дальнем конце холла, у выхода в столовую, и представление началось.

Я не собираюсь превозносить до небес танец Шерли. Она ведь была не прима-балерина, а всего-навсего артистка кордебалета и, вероятно, любая девушка в труппе могла бы исполнить то же самое не хуже ее. И все-таки Шерли никогда еще так не танцевала! Это я знала твердо.

Для начала Шерли изумила меня тем, что вместо демонстрации отдельных позиций, па и движений, какие обычно выполняют в качестве экзерсисов, она предпочла показать фрагменты из «Спящей красавицы», «Лебединого озера», «Сильфиды» и каких-то более современных, неизвестных мне балетов — фрагменты из репертуара солисток, из партий, которые сама она никогда не танцевала на сцене, — соединив их в собственный мини-балет.

Дополнительный визуальный эффект создавался благодаря контрасту между ее грациозной фигурой в белоснежной, колышущейся, как пена

прибоя, муслиновой пачке и очевидным убожеством дома, где она выступала. Мрачный холл, оклеенный тиснеными обоями цвета бронзы, потемневшими от времени и пыли, был до странности пуст — оттуда вынесли, кажется, все, что только возможно, включая картины, и на стенах возник сплошной узор из теней; полукруглое витражное оконце над входом так закоптилось, что едва пропускало свет, а через дверной проем, соединявший холл со столовой и загороженный сейчас креслом Эллен, свет не проникал вовсе. Единственный широкий столб желтого солнечного света падал вниз из лестничного окна прямо в центр холла, образуя золотистый круг на паркете. С того места, где я стояла, возле двери в столовую, мне хорошо была видна эта наклонная, мерцающая, эфемерная световая колонна на фоне коричневатой тьмы, в которой тонула задняя часть холла.

Возможно, столь необычное освещение вкупе с балетной пачкой и атласными пуантами — атрибутами театральной условности — способствовало впечатлению, будто ты и впрямь смотришь на сцену, на помост для создания иллюзий.

Ну и наконец, танец Шерли запомнился мне

потому, что это было ее последнее выступление — последнее, которое мне довелось увидеть.

Я всегда восхищалась плавностью, точностью, совершенством каждого движения профессиональных танцовщиков и благодаря Шерли кое-что знала о том, какая гигантская, изнурительная работа по развитию мышц предшествует видимой простоте и легкости танца. Я отдавала должное технической отточенности ее выступлений, но в то же время хорошо понимала, что не только блестящая техника делает балерину великой, что намного важнее чувство, фантазия, вдохновение. А танцу Шерли, как я всегда считала несмотря на отзывы критики, не хватало одухотворенности. Она прекрасно владела всеми выразительными средствами, только ей нечего было выразить в смысле своего собственного, уникального мироощущения. Так я считала, пока не увидела ее танец в доме Гайятт.

В тот день она продемонстрировала, что в ее арсенале была не только голая техника. Под музыку Чайковского и Шопена (миссис Гайятт аккомпанировала вполне уверенно, хотя и без подъема) Шерли словно бы уносилась в какой-то свой неведомый, дивный мир. Она импровизировала и вся светилась изнутри от радости

собственных нечаянных находок. Ее техническое мастерство и прежде не вызывало вопросов: тело полностью подчинялось ей, послушно исполняя любой приказ; но теперь ее охватило желание — вдохновение — исполнить нечто значительное и небывалое. Она умело использовала все пространство этой тесной, неудобной сцены, превратив по воле воображения центральный столб света в неподвижного участника своего танца, чье таинственное присутствие она изобретательно обыгрывала.

Я не могла бы сказать, даже предположительно, какую историю или какой образ Шерли нарисовала у себя в голове и поддавалась ли эта картина словесному описанию. Те или иные способы выражения нередко создают собственные смыслы, и, возможно, конечный смысл танца Шерли был ведом только ее телу.

Эллен все понимала, можешь не сомневаться. Я даже пропустила какую-то часть танца Шерли, потому что не могла отвести глаз от лица Эллен. Повторяю, на нем читалось полное понимание. Но не только. Было что-то еще — что-то насторожившее, почти испугавшее меня. Никогда и ни у кого я не видела выражения такой жгучей зависти. Впрочем, нет. «Зависть» — слишком про-

стое слово. Я не имею в виду ту зависть, которую замечаешь во взгляде дурнушки на писаную красавицу в кругу поклонников; взгляд Эллен был несравненно более пристальный, сосредоточенный, переполненный хищной алчности. Пока я оторопело смотрела на нее, у меня промелькнула глупая аналогия с кошкой, неотступно следящей за птицей, чтобы не упустить момент, когда та окажется на расстоянии прыжка. Ничего другого мне на ум не пришло, хотя моя аналогия явно хромала: взгляд и поза кошки выражают не столько голод, сколько намерение.

С лица Эллен я перевела взгляд на кошмарную железную конструкцию у нее на ноге. Вот где крылся источник ее глубокого понимания танца Шерли — как его красоты, так и силы. Уразумев это, я задумалась о том, чего по-прежнему не могла постичь. Неужели для столь восприимчивой, столь остро сознававшей свое уродство девочки, как Эллен, не было пыткой воочию наблюдать контраст между собственным деформированным телом и бесполезными ногами, с одной стороны, и точеной фигурой Шерли — с другой, — наблюдать за работой ее тренированных мускулов, способных идеально исполнить любое движение по команде воли или подсказке воображения?

А между тем Эллен сама затеяла этот домашний спектакль — неделями умасливала Шерли, добиваясь ее согласия, хотя не могла не знать, на какую муку себя обрекает. Зачем, для чего? Неужели физическое уродство так перекорежило все ее эмоции, что она научилась черпать наслаждение в изощренной пытке?

Кульминационный момент хореографической композиции Шерли словно бы подтверждал догадку, что языком танца она пересказывает некий сочиненный ею фантастический сюжет. Совершая быстрые, непрерывно следующие один за другим пируэты на пуантах, она все кружила и кружила вокруг пятна солнечного света на полу, а при звуках заключительных аккордов скользнула внутрь и застыла, изогнувшись назад и воздев руки кверху вдоль наклонной оси светового потока, как бы желая слиться с ним. Казалось, бледное тело в белой пачке на фоне обступившей его темноты внезапно превратилось в прозрачный сосуд, и в него излилась струя света, заполняя его, сверкая сквозь него… Казалось, Шерли — она одна, и никто иной, — была той заветной целью, которую искал во тьме одинокий луч света.

После столь впечатляющего финала чаепитие в загроможденной и затхлой гостиной воспри-

нималось как сущая несуразица. Если бы мы все вместо этого отправились в комнату Эллен, у меня, пожалуй, не возникло бы такого резкого внутреннего диссонанса. Ее варварские сокровища и порхающие за окнами голуби были куда созвучнее тому миру символизма и фантазии, в который звал танец Шерли.

Думаю, эта или подобная цепочка ассоциаций побудила меня упомянуть в разговоре с миссис Гайятт диковинные трофеи в спальне Эллен. (Эллен и Шерли были так увлечены друг другом, так шумно обменивались мнениями, что не могли нас слышать.) Сокрушенно вздохнув, миссис Гайятт сказала:

— Да, она дорожит ими. Они помогают ей.

— Все эти вещи она собрала еще там?

— Да, — подтвердила миссис Гайятт. — Члены нашей общины — у нас было свое поселение на холмах — часто делали ей подношения. — Она вскинула голову и, впервые стряхнув с себя унылое оцепенение, пояснила: — Мы люди Господни, знаете ли, я и моя дочь.

Это было сказано с бесстрастной уверенностью человека, который знает, что рожден для «спасения», хочет он того или нет. Признаться, я затруднилась бы ответить, от кого меня больше

тошнило, от мамаши или ее дочки. От обеих во рту оставался мерзкий привкус. Вечером, по дороге домой, когда волшебные чары танцевальной фантазии Шерли понемногу рассеялись, во мне стала закипать ненависть к этой скорбной ханже, этой зашоренной сектантке миссис Гайятт, сумевшей каким-то образом окрутить мою сестру и накрепко привязать ее к своему отвратительному злобному отродью. После нашего визита я не питала иллюзий относительно нрава Эллен.

Но я почти наверняка оставила бы свои впечатления при себе, если бы мое замечание, сделанное как раз для того, чтобы обойти стороной щекотливую тему, не подвело меня к ней вплотную.

— Я не могла себе представить, что ты способна танцевать, как сегодня, — заметила я. — Ты уже репетировала что-то подобное или сама все придумала? Выглядело как экспромт.

— Нет, не совсем экспромт. Почти все па я подглядела у других. Просто использовала их иначе — для воплощения своего замысла.

— И в чем же твой замысел?

Ей не хотелось ничего объяснять, но когда я начала допытываться, какая идея лежала в основе ее композиции, Шерли с некоторым вызовом ответила мне:

— Кое-что из услышанного мной от миссис Гайятт. Кое-какие постулаты их веры.

Мы сидели в автобусе, вокруг были люди, но я не удержалась и с той долей раздражения и гадливости, какую можно вложить в шепот, прошипела:

— Твоя миссис Гайятт — гнусная фарисейка. Неужели ты сама не видишь!

Шерли рассердилась, но предпочла не спорить, а просто заткнуть мне рот:

— Лучше помолчи, если не знаешь, о чем говоришь.

Полагаю, автобус уберег нас от немедленной ссоры, и к тому времени, когда мы добрались до дому, я успела продумать свои дальнейшие шаги. Молчать я точно не собиралась, поскольку считала своим долгом открыть Шерли глаза на вопиющую нелепость ее поведения — ее все более и более тесных контактов с миссис и мисс Гайятт. Я ни секунды не сомневалась, что наша мать, будь она жива, и наша тетка, узнай она о сложившейся ситуации, приняли бы мою сторону и настоятельно рекомендовали сестре разорвать эту глупую связь; точно так же поступили бы и два других человека, чье мнение всегда много значило для Шерли, — ее старая учительница

танцев и хореограф ее балетной труппы.

Поскольку в тот вечер мы обе были дома, я без колебаний выложила ей все, что думала.

Теперь, спустя много лет, я понимаю, что могла и должна была говорить с ней в ином ключе. Сумела бы или нет, если бы мне дали второй шанс, — не знаю. Я не выбирала слова, и для сестры моя речь, конечно же, звучала невыносимо бесцеремонно и высокомерно. Шерли почти не отвечала мне и стойко держала себя в руках, в отличие от меня.

Что именно я говорила, теперь не так уж важно, да я и не припомню всего. Помню только, что в какой-то момент Шерли сказала:

— Предположим, я на одну минуту признала бы за тобой право диктовать мне, с кем надо дружить, а с кем не надо, но я пока не услышала от тебя, что такого предосудительного в моем общении с этой семьей, чем они не угодили тебе? Тем, что бедны?

Ее поза морального превосходства и презрительного долготерпения взбесила меня. Но я кое-как сдержалась и предприняла еще одну попытку заставить ее посмотреть на вещи с моей точки зрения — с точки зрения всякого здравомыслящего человека нашего круга.

— Послушай, Шерли, — начала я, — жалость к больному ребенку — вполне естественное чувство, знакомое всем и каждому. Навестить девочку и показать ей какие-то балетные движения… гм, наверное, и это можно считать нормальным проявлением милосердия; во всяком случае, здесь угадывается доброе намерение… хотя я почти уверена, что другие танцовщицы послали бы ей свое фото с наилучшими пожеланиями и тем ограничились. Но ты, я знаю, склонна к сентиментальным порывам, и в этом тоже ничего страшного нет, если умеешь вовремя остановиться. Однако тратить на убогих добрую половину своего времени, а главное — с упорством неофита повторять ахинею, которую лицемерные мракобесы выдают за религию… нет, извини, это уже отдает патологией. Очнись, пока не поздно!

— Не кажется ли тебе, что объявлять чью-то веру ахинеей, не имея об этой вере ни малейшего понятия, несколько противоречит строго научным принципам ведения дискуссии? — саркастически парировала Шерли.

— Не провоцируй меня, — ответила я. — Я слыхала сентенцию миссис Гайятт: дескать, уродство дочери есть божья кара, посланная матери. Это не просто ахинея, а самое настоящее мракобесие.

Никто, в ком есть хоть искра христианства, не додумался бы до такого.

— Наверное. Только, видишь ли, — вкрадчиво обронила Шерли, — они не христиане.

Меня пронзила мысль, что ее слова надо понимать буквально, и мне стало страшно. Недаром я сердцем чувствовала неладное — от дома Гайятт и впрямь исходила опасность. Увидев мое потрясение, Шерли самодовольно улыбнулась:

— Ты не представляешь, до чего забавно было слушать твои инсинуации, но теперь, когда ты наконец усвоила, что я немного лучше тебя знаю своих друзей, надеюсь, ты умеришь свой пыл и не станешь после каждого моего визита к ним донимать меня своими потешными благоглупостями и высокопарными вразумлениями?

Все оказалось гораздо серьезнее и страшнее, чем я думала. Я понимала, что сердиться на нее бесполезно, и пыталась сохранить самообладание, но страх, как известно, нередко выражается в гневе.

— Шерли, — сказала я, — выслушай меня! Странно, что мне приходится говорить об этом. Странно, что ты, с твоим природным чутьем, с твоей восприимчивостью к атмосфере, до сих пор сама ничего не почувствовала! Так вот, говорю

тебе: ты выбрала себе в друзья *не тех* людей. Дело не только в том, что они не подходят тебе по своему уровню, положению, интересам, характеру, воспитанию — ни по одной статье; это бы еще полбеды, будь они бесхитростны и добры, а не коварны и злы. Девчонка не просто калека, у нее и сознание вывихнутое… маленькая зловредная бестия! На свой извращенный лад она умнее тебя, а ее ведьма-мамаша тем более. Кто они? Почему ведут такой образ жизни? Почему безвылазно сидят в своем доме, забитом старой вонючей рухлядью, прячутся там в темноте, как пауки в пыльном углу?

Шерли побледнела, слушая мою взволнованную речь, которая со стороны, должно быть, больше походила на выговор. Когда я закончила, она встала — вся трясущаяся и белая как полотно.

— Хватит, — прошептала она, — я больше не желаю тебя слушать. Ни одной минуты. Можешь сказать мисс Уиллис, что я не буду ужинать. Я ухожу. Никогда в жизни я не слышала такой черной, ядовитой клеветы. С меня довольно, я здесь не останусь.

Она пошла наверх, оделась и вышла из дому. И я позволила ей уйти. Нельзя было отпускать ее!

Но я так обессилела и так расстроилась из-за того, что не смогла до нее достучаться…

Не знаю, где Шерли пропадала в тот вечер. Возвратилась она уже ночью. Я слышала ее шаги на лестнице, но ко мне в спальню она не заглянула. У меня теплилась надежда, что, может быть, она встречалась с кем-то из своих театральных друзей и они привели ее в чувство, вернули на землю, так сказать. Но, боюсь, она отправилась за утешением не к старым друзьям.

Утром меня разбудила мисс Уиллис, наша хозяйка; от огорчения она чуть не плакала. Шерли поднялась спозаранку, оплатила свой счет до конца месяца и уехала. Она взяла с собой две дорожные сумки, сказав, что за остальными вещами заедет позже. У нее все уже упаковано, доложила мисс Уиллис, наверное, и спать не ложилась — собирала вещи. Сестра оставила мне записку.

В записке было всего две-три строчки. С некоторых пор, констатировала Шерли, мы стали действовать друг другу на нервы, а мои речи накануне вечером окончательно убедили ее в том, что нам не стоит жить вместе. Друзья предложили ей снять у них комнату, и она согласилась. Там, куда она уехала, телефона нет, на всякий

случай уточнила Шерли.

Я чувствовала себя ужасно глупо из-за необходимости делать вид, будто бы отъезд сестры меня нисколько не беспокоит — будто бы это было давно решено между нами, — и злилась, что мне же еще приходится извиняться перед бедной мисс Уиллис за внезапное бегство Шерли.

Конечно, я знала, какие «друзья» приютили ее — мать и дочь Гайятт, кто бы сомневался! Правда, в своей записке она не назвала их по имени, и это могло означать, что мои слова несколько поколебали ее, несмотря на демонстративный протест. Однако я не собиралась мчаться за ней очертя голову. Я думала — и думала, каюсь, не без тайного удовлетворения, — что неделька жизни в мрачном ветхом доме излечит ее от сентиментальной привязанности к обеим Гайятт: посмотрим, говорила я себе, как долго она сможет мириться с их грязью, смрадом и дрянной едой. Раздражение переполняло меня, но на душе скребли кошки. Мне не следовало сидеть сложа руки и злиться на Шерли. В этом моя ошибка. Если дорожишь человеком, нельзя терять терпение!

Когда в тот день вечером я пришла домой, оказалось, что Шерли уже забрала оставшиеся вещи. Мисс Уиллис спросила ее, на какой адрес

пересылать письма, и Шерли распорядилась переправлять их в театр. Это подтвердило мою догадку относительно семейки Гайятт. Сестра наивно пыталась скрыть очевидный факт.

С того дня вся история приобрела совершенно иной характер. Прежде речь шла главным образом о несовпадении наших мнений, впечатлений или, может быть, вкусов. Сестре мать и дочь Гайятт нравились, мне — нет. Только так и виделась бы наша размолвка стороннему наблюдателю. Теперь же все изменилось: что-то *происходило* с Шерли, а что именно — я до конца не знала.

В течение нескольких следующих дней по вечерам звонили разные люди, спрашивали Шерли. И когда я говорила, что она здесь больше не живет, в голосах проскальзывало удивление. На вопрос, куда она переехала, мне приходилось отвечать, что я не знаю, и, конечно, у всех мелькала догадка о крупной ссоре, иначе с чего бы сестры вдруг разлучились.

Я твердо держалась своего плана — дать ей за неделю сполна пресытиться жизнью в доме Гайятт. У меня в то время дел было по горло, так как я усердно готовилась к экзаменам — целыми днями сидела на лекциях или выполняла лабораторные работы, а вечерами корпела над

книгами. Я не могла бы выкроить несколько часов, чтобы съездить к Шерли и снова попытаться урезонить ее, даже если бы считала, что из этого выйдет толк.

Неделя прошла, Шерли не возвратилась. Я послала ей записку, указав на конверте «Олд-Милл-лейн, четырнадцать». Судя по всему, написала я, кормежка у ее новой хозяйки оказалась не столь отвратительной, как можно было предвидеть, с чем я ее и поздравляю; но хорошо бы она известила знакомых о своем новом месте жительства, чтобы они прекратили названивать мне. Вероятно, она так и сделала, потому что звонки прекратились. На мою записку она не ответила.

Недели три *от нее* не было ни слуху ни духу, хотя я послала ей еще два письма; однако до меня дошел слух *о ней.*

Однажды в закусочной близ Стрэнда, куда мы с сестрой иногда захаживали, я повстречала девушку из кордебалета, которую видела раньше вместе с Шерли. Вскоре выяснилось, что девушка уже знала про новое жилище Шерли в Клэпеме — в какой-то трущобе, как она выразилась, и это после прелестной квартирки мисс Уиллис! Впрочем, прибавила она, тактично потупив глаза,

не всем дано уживаться с другими — даже с собственной сестрой. Сама она еще не была у Шерли в Клэпеме — ее не приглашали. Конечно, она регулярно видится с Шерли в репетиционном зале. Летом балетная труппа театра едет на гастроли, но к ней — как и к Шерли — это не имеет отношения. Все удивляются, что Шерли не включили в гастрольный состав кордебалета.

Девушка разговорилась и несколько сбивчиво, полунамеками, дала мне понять, что кое-кто — подразумевая, вероятно, директора или хореографа — недоволен Шерли. Она называла какие-то мужские и женские имена без фамилий, и, хотя я не знала, кто из них кто в смысле их положения в труппе, я догадалась, что это те люди, чье мнение прямо влияло на карьеру танцовщика, и что они разочарованы в Шерли.

Я попыталась выяснить, в чем причина, но моя собеседница спешила донести до меня, что лично она не разделяет мнения начальства и, на ее взгляд, Шерли танцует ничуть не хуже, чем раньше, только, может быть, она немного устала или отчего-то не в духе… Ее трескотня была так густо пересыпана балетным жаргоном и неизвестными мне именами, что в итоге я ничего не узнала: девица кинула взгляд на свои наручные

часы и упорхнула.

Домой я возвращалась растревоженная. Нетрудно было сообразить, что происходит. Одна нездоровая атмосфера дома Гайятт чего стоила! Должно быть, Шерли неважно себя чувствовала. А любое недомогание мгновенно сказывается на возможностях танцовщика. От кормежки миссис Гайятт у Шерли могло развиться хроническое несварение. Но главная угроза, несомненно, заключалась в другом: миссис Гайятт ежедневно пичкала ее своим идиотским харберианством. Бог весть какими лживыми, несусветными догмами она забивала голову Шерли! Будь Шерли просто безмозглой, я бы не сильно беспокоилась, но я-то знала, что моя сестра далеко не дура. Ум у нее был, только не критический. Слишком много воображения и слишком мало здравого смысла… Будь Шерли обыкновенной глупышкой, как некоторые балеринки из ее окружения, она никогда не попалась бы в сети Гайятт.

Разумеется, миссис Гайятт была заинтересована в том, чтобы обратить Шерли в свою веру, даже если оставить в стороне извечную одержимость сектантов идеей приумножения своих рядов. Заманив Шерли в свою тайную секту, она на годы вперед получила бы в ее лице обеспеченного

постояльца. И мало-помалу сумела бы прибрать к рукам все деньги сестры — под предлогом взносов на общее «благое» дело и тому подобную лицемерную чушь. У этой притворщицы, с виду такой безвольной и апатичной, была хищная хватка!

Однако больше всего меня беспокоило, что гнусная парочка Гайятт нацелилась не только на деньги Шерли: они попытаются сотворить с ней какое-то непотребство. Какое именно, я знать не могла, но это положило бы конец ее балетной карьере.

Я снова написала Шерли и упомянула о своей встрече с девушкой из кордебалета, не раскрывая содержание нашего разговора. Ответа вновь не последовало.

До экзаменов оставалось несколько дней, и я начала думать о летних каникулах. Незадолго до этого мы с моей университетской подругой обсуждали разные возможности, и у кого-то из нас возникла мысль провести пару недель в каком-нибудь тихом местечке в шотландском Аргайлшире. Теперь я по-настоящему загорелась этой идеей и решила приложить все силы, чтобы уговорить Шерли поехать с нами. Ближе к середине лета в Англию должны были ненадолго прибыть обе наши тетушки; далее нам предсто-

яло сопроводить их назад, на остров Джерси, и какое-то время погостить у них. Но я хотела как можно скорее вытащить Шерли из логова Гайятт. Мы с подругой условились, что наш отъезд в Аргайлшир состоится вскоре после сдачи последнего письменного экзамена. И за два дня до сессии я отправилась в дом номер четырнадцать повидаться с Шерли.

Стоял чудесный летний вечер, и, вероятно, номер четырнадцать предстал передо мной в своем наилучшем виде, хотя бедность и обшарпанность по-прежнему били в глаза, а обнесенный высокой стеной и сплошь заросший вечнозелеными растениями сад летом производил еще более тягостное впечатление, чем в тот сумеречный дождливый день, когда я увидела его впервые. Шторы на окнах были, как всегда, опущены; нескончаемые похороны шли своим чередом.

Когда я приблизилась к двери, ощущение траура только усилилось. В доме чей-то голос — миссис Гайятт, полагаю, — заунывно выводил то ли гимн, то ли псалом, именно не пел, а бубнил нараспев, следуя, вероятно, музыкальной традиции своей полудикой родины; на мой слух, это приглушенное бормотание, долетавшее до меня отдельными мелкими всплесками, звучало как

заупокойная литургия.

Я потянула за ручку звонка и услышала треньканье колокольчика внутри, но минуты шли, а ничего не происходило. Разве что молитвенное нытье прекратилось, хоть и не сразу. Устав ждать, я снова позвонила. Наконец лязгнул замок, и дверь на несколько дюймов приотворилась. В открывшуюся щель я увидела мучнисто-бледное лицо миссис Гайятт и враждебный взгляд ее черных глаз.

Она узнала меня, не здороваясь открыла дверь шире и впустила меня в холл.

— Мисс Дальман нет дома, — объявила она, глядя на меня в упор.

Я спросила, когда она вернется.

— Поздно. Часов в десять.

Я нарочно остановилась прямо за дверным проемом, не позволяя ей затворить дверь, и снаружи проникало достаточно света, чтобы я могла хорошо разглядеть ее лицо. Его выражение изменилось, как изменилась и вся ее манера по сравнению с тем, что я наблюдала прежде. Представить себе миссис Гайятт радостно оживленной в сколь угодно располагающих для этого обстоятельствах было бы совершенно немыслимо, и все же некое отдаленное подобие — не

радости, нет, но проблеска интереса или, может быть, тайной надежды угадывалось и в ее чертах, и в поведении. От былой безысходности почти не осталось следа, апатию сменило что-то более живое, вроде робкого ожидания обещанного.

Если бы я могла испытывать добрые чувства к миссис Гайятт, я бы, наверное, подумала: «Бедняга, должно быть, те деньги, что Шерли платит ей за постой и питание, — большое подспорье для нее!» Но мне не понравилось, как она с порога выпалила: «Мисс Дальман нет дома!» — а я ведь еще ничего не успела спросить. Видно, чуяла, что я постараюсь забрать от нее Шерли, и готовилась дать мне отпор.

Я сказала, что зайду позже — у меня к Шерли важное дело. И прежде чем выйти за дверь, спросила, возможно, не без лукавства:

— А как нынче бедняжка Эллен? Вы еще не надумали показать ее хорошему хирургу?

Она молча обшарила взглядом темный холл и только потом с мерзкой улыбочкой ответила:

— Спасибо, что интересуетесь. Все нужное лечение она получает дома, и оно чудесно помогает, еще раз большое спасибо.

Ее ответ и эта многозначительная улыбочка — или ухмылка? — выбили почву у меня из-под

ног. Воспользовавшись моим замешательством, миссис Гайятт оттеснила меня за дверь и грубо ее захлопнула.

Мне не хотелось ездить туда-сюда, но я твердо решила не откладывать свидание с Шерли. Поэтому вместо поездки домой и обратно я пошла в клэпемский кинотеатр — скоротать время до десяти.

В голове снова и снова звучало поразительное заявление миссис Гайятт, каждый раз представая в новом свете. Казалось бы, все проще простого: мать косвенно упрекнула меня за черствость и предвзятое отношение к ней и ее дочери. И хотя в день нашей первой встречи она вроде бы дала понять, будто отвергает медицинскую помощь по религиозным соображениям, возможно, ее слова лишь прикрывали отчаяние, невежество… наконец, гордость, нежелание признаться в отсутствии денег на дорогого специалиста. Откуда ей было знать, что в больнице ее ребенку могли бесплатно предоставить консультацию или лечение? Они здесь в чужой стране, и, если верить миссис Гайятт, она ни с кем не вступала в разговор, разве только по необходимости, скажем в продуктовой лавке. Благодаря доходу от комнаты, которую сняла у нее Шерли, финансовое поло-

жение миссис Гайятт несколько улучшилось, и, быть может, она обратилась куда-то за платной консультацией; а может, та же Шерли надоумила ее, как надо действовать, чтобы получить бесплатное лечение.

Если лечение действительно пошло на пользу Эллен, это вполне объясняло перемену в миссис Гайятт. Любая мать воспрянула бы духом, узнав, что после стольких мучительных лет у ее ребенка появился шанс нормально ходить. Если все именно так — какой триумф великодушия и дальновидности Шерли! Однако мне не верилось в добрую сказку — не верилось, что такое уродство поддается лечению, а уж чтобы добиться положительных сдвигов за столь короткий срок… По моему убеждению, ни один доктор — если он не бессовестный шарлатан — не взял бы на себя смелость с первых дней обнадежить калеку.

В любом случае проблемы Гайятт не имели никакого отношения к нам с Шерли. Были эти особы достойны жалости или нет, они пагубно влияли на мою сестру, и я намеревалась забрать ее от них. Свою миссию я видела теперь в битве за физическое тело Шерли.

К дому четырнадцать я вернулась после десяти, скорее ближе к одиннадцати: на улице стемнело,

а в заросшем саду, в тени исполинских лавров, сгустился ночной мрак.

Из зашторенных окон не просачивалось ни единой полоски света — ни наверху, ни внизу. Я позвонила, но никто не откликнулся. Я стала ждать, напрягая слух. В доме не все легли спать: изнутри глухо доносился молитвенный распев, наподобие уже слышанного мною ранее. Я снова подергала ручку звонка и снова не дождалась ответа. Через некоторое время голос умолк, но ко мне никто не вышел.

Предположив, что миссис Гайятт может быть занята на кухне, я почти ощупью дошла до угла дома — глянуть на боковой фасад. В слабом рассеянном свете от окна на первом этаже из тьмы проступили зеленые заросли и тонкие прутья решетки. Я попыталась пробраться через кусты, но не тут-то было — приблизиться к окну не удалось; однако я поняла, что вижу решетку птичьего вольера, пристроенного к стене, за которой располагалась комната Эллен. Мое появление встревожило голубей.

Убедившись, что пройти к кухне вдоль стены не удастся, я все же решила заглянуть в комнату Эллен, поэтому осторожно двинулась через кусты в обход вольера и в конце концов сумела подойти

к дому в ярде от клетки и ярдах в шести от окна (по моим расчетам, вольер занимал в ширину футов двенадцать-пятнадцать). Таким образом, мне была доступна для обозрения лишь часть комнаты. Но и этого оказалось достаточно, чтобы стать свидетельницей невообразимой сцены.

Правый угол видимой части интерьера занимало уже знакомое мне трюмо, но теперь на нем не было ни ваз, ни чаш, отчего сходство с алтарем сразу усилилось. Остались только большие серебряные подсвечники — горевшие на них свечи служили единственным источником света в комнате; все прочее со столешницы исчезло. На полке по-прежнему склабились жуткие «яффские апельсины».

Перед трюмо на коленях стояла Шерли в ночной рубашке (ее ослепительно-белая рубашка на фоне черных драпировок — первое, что я увидела, устремив взгляд в комнату). Всем своим странно обмякшим телом Шерли опиралась на трюмо, как на подпорку; голова ее была повернута затылком ко мне, но правая рука была вытянута к окну. В пальцах она сжимала что-то мягкое, бесформенное, бледноокрашенное, с нежным палевым оттенком. Потом рука ее дрогнула, пальцы слегка разжались, из приоткрытой ладони наружу све-

силось нечто безжизненное, и я поняла, что это птица, мертвая птица!.. — горлица, такая же, как те живые птицы в вольере.

При всем желании я не могла многого увидеть со своей неудобной позиции. Мне запомнилась игра гротескных теней в неровном свете свечей, пляшущие блики на каких-то гладких деталях, затерянных среди сухих растений, звериных шкур, варварских одежд и орудий убийства, которые украшали стену, точно оборки и рюши. Но самое яркое воспоминание оставило у меня сморщенное чучело рептилии, словно бы вылезавшей из своей невидимой темной норы над черным алтарем: как сейчас помню это освещенное снизу страшилище и его монструозную тень на стене.

Я была так потрясена и напугана видом Шерли — мне показалось, будто она в обмороке, — что не сразу осознала присутствие в комнате кого-то еще помимо нее. А там явно был кто-то, хоть я никого не видела: до меня доносилось гнусавое монотонное бормотание, как при чтении молитвы по требнику, без пауз и акцентов.

Но едва я это осознала, до меня дошел истинный смысл происходившего в комнате — что объясняло и свет свечей, и задрапированное под алтарь трюмо, и припавшую к «алтарю» коле-

нопреклоненную Шерли: мать и дочь Гайятт сделали мою сестру участницей дикого религиозного обряда, в котором, как в капле воды, отражалась вся гнусная сущность харберианства. Недаром я подозревала их в нечистых намерениях. Заставить Шерли держать в руке мертвую птицу… Какая гадость!

Я уже открыла рот, собираясь окликнуть Шерли — до того меня возмутило, что она позволила сектанткам втянуть себя в их поганые ритуалы, — но передумала: с нее станется представить все так, будто я шпионю за ней по ночам, ведь чего проще свалить с больной головы на здоровую… Я вернулась к главному входу, мало беспокоясь, услышат меня или нет, пока я лезу через кусты, и начала ожесточенно трезвонить: пусть попробуют не впустить меня, я устрою им такой тарарам!.. И если на шум явится полицейский, тем лучше.

В доме не могли не слышать звон колокольчика, но, должно быть, не желали прервать священнодействие. Я звонила без перерыва и остановилась, только когда в холле зажегся свет и за дверью звякнул засов. Мне открыла Шерли. Она куталась в халат, вид у нее был заспанный и очень недовольный.

— А, это ты! Поднять такой шум! Ты сообража-

ешь, какой сейчас час? Я уже спала.

— Неужели? — ответила я тоном, который мог означать только одно: «Неужели не стыдно врать?» — Мне показалось, что где-то внизу горит свет.

— Так или иначе, я собиралась лечь, — насупилась она.

— Ты не ждала меня? — спросила я. — Я заходила сюда несколько часов назад.

— Нет, не ждала. Думала, ты приедешь завтра в более подходящее время.

Она включила свет в гостиной, мы обе прошли туда и сели. Она сердито посмотрела на меня, и я обомлела: сестра выглядела разбитой и взвинченной, как будто долго работала не жалея сил, а цели своей не достигла.

— Ну, — сказала она, — зачем ты здесь? Что-то стряслось?

Я не упустила возможности выплеснуть свое негодование:

— Только то, что ты не соизволила сообщить мне, где находишься и все ли у тебя в порядке. Я послала тебе три… четыре письма, и ни на одно не получила ответа.

— Ты же знала, где я.

— Догадалась, — сказала я, попытавшись сба-

вить тон. — Послушай, Шерли, не мое дело, конечно, у кого ты снимаешь жилье, хотя сомневаюсь, что ты оказываешь своим друзьям добрую услугу, если в этом заключалась твоя идея; но, как бы то ни было, ты не должна забывать о себе. Я слышала, ты нездорова. Потому и приехала. И теперь сама вижу: ты действительно нездорова.

— Кто тебе напел?

Я вкратце передала ей свой разговор с девушкой из кордебалета.

— Нашла кого слушать! — сказала она. — Они там все идиотки, только и знают, что сплетничать. Вечно суют свой нос куда не просят! Я же ясно сказала им: я *не хочу* ехать на гастроли. Но нет, они все равно распускают сплетни, будто я выдохлась, сникла, не знаю, что еще, так ведь?

Ее голос звенел и срывался. С каждой минутой она все больше распалялась, накручивая себя, пока не затряслась от гнева. Второй раз в жизни я видела ее в таком состоянии — когда у нее сдали нервы. До знакомства с семьей Гайятт у нее ни разу не было нервного срыва.

— Сникла! — воскликнула она. — Что еще про меня болтают? Бедняжке нужен отдых? Господи! Знали бы они… А, пусть думают, что хотят. Не нравлюсь — не надо, пускай увольняют. Я не со-

бираюсь тратить себя на пустые, бессмысленные постановки Сесила. Вот уж поистине — ни уму ни сердцу! Я знаю теперь, для чего мне дано умение танцевать. И мне есть для кого танцевать!

Я могла бы лишь смутно догадываться, к чему она клонит, если бы не подглядела в окно. Но после того, что я увидела, мне легко было возразить ей:

— Ей-богу, ты же не бросишь псу под хвост настоящую работу ради того, чтобы всю жизнь торчать здесь и своими танцами ублажать Эллен? Это неслыханно!

Она раздраженно махнула рукой и огрызнулась:

— Много ты понимаешь!

Столь откровенное пренебрежение задело меня. Но я проглотила обиду и попыталась урезонить сестру. Бесполезно: все мои доводы относительно семейки Гайятт отскакивали от нее, как от стенки горох.

Тогда я рассказала ей о предстоящем путешествии в Аргайлшир и предложила поехать с нами. Она наотрез отказалась. Как только я ни уговаривала ее, чем только ни соблазняла — пообещала даже оплатить ей дорогу, если у нее нет денег (хотя деньги у нее были), но она уперлась

как бык и ни с места.

— Я не могу и не хочу никуда ехать, и хватит об этом.

А я… Я смертельно устала, и терпению моему пришел конец.

— Ты, видно, совсем сдурела, Шерли, — сказала я, перестав себя сдерживать. — Твое поведение не просто смешно, оно отвратительно. Не знаю, для чего эти люди заманили тебя в свои шарлатанские сети, но я кое о чем догадываюсь, так и знай, и самым серьезным образом предупреждаю тебя: не шути с огнем! Мне нечего больше сказать. Я не хотела говорить тете Еве, чтобы не огорчать ее, но придется: в конце концов, она все еще по закону несет за тебя ответственность, и я не вправе скрывать от нее, как бездумно ты швыряешь на ветер все то, что она для тебя сделала.

Шерли окрысилась на меня:

— Иди ты к черту, говори что хочешь и кому хочешь! Никто не несет за меня ответственность. И я ни перед кем не собираюсь отчитываться. Хватит, оставь меня. Уходи! Оставь меня в покое. И больше не возвращайся!

Она вскочила, сердито зашагала к выходу и распахнула дверь, выпроваживая меня вон. Как ни распирало меня возмущение, я не могла не

заметить ужасной перемены в ее походке. Еще недавно любое движение Шерли ласкало глаз изяществом, легкостью, благородной грацией; теперь же она топала, будто солдат на плацу, ее руки и ноги словно одеревенели и дергались, как у марионетки.

Из-за нашей ссоры и кошмарного впечатления от такой непохожей на себя Шерли у меня сделалось тяжело на сердце, но в тот поздний час я не видела смысла продолжать попытки вразумить ее и уехала домой. Прежде чем лечь в постель, я написала длинное, полное отчаяния письмо тете Еве.

До сессии оставался один день. К волнениям по поводу экзаменов прибавилась тревога за сестру, и вся следующая неделя прошла в непрерывном беспокойстве. Письмо к тете Еве я порвала. Однажды, ворочаясь ночью без сна, я принялась размышлять об этой истории — насколько еще могла размышлять после дневных экзаменационных работ, — и решила, что, как только покончу с экзаменами, снова поеду воевать с Шерли. Если опять ничего не добьюсь, тогда уж пожалуюсь тетушке, но сдержанно, без истерики.

Между тем пришел ответ из гостевого дома в Аргайлшире: нам предлагалось приехать неде-

ли на две позже, поскольку в указанные нами даты все номера уже забронированы. Это давало мне дополнительное время. Я в общем виде обрисовала подруге свои разногласия с Шерли — умолчав про сектантские завихрения харберианан, — и мы согласились перенести поездку.

Прежде чем вновь отправиться к Шерли, я разыскала ее старую учительницу танцев, которая руководила балетной школой труппы. Я познакомилась с ней после одного показательного урока, на котором совсем юная тогда Шерли и другие ученицы демонстрировали свои успехи в балете. С тетей Евой она была также знакома. Я без обиняков спросила ее, что она думает о Шерли — о нынешней Шерли.

Она посмотрела на меня и печально вздохнула. Надо сказать, она француженка (в свое время танцевала в балете Гранд-опера в Париже) — наверное, этим отчасти объяснялась ее откровенная, темпераментная манера говорить.

— Ах, милая моя, ваша сестра меня подвела, я так разочарована… это трагедия! Почему она перестала работать? Раньше ее не нужно было *заставлять* работать — только не ее! Она не из тех тупиц, кто делает от сих до сих и не видит дальше своего носа. Не из тех, кому раньше или

позже приходится объяснять: «Пойми, деточка, ты очень мило делаешь разные па, и в качестве корифейки ты прелестна, но если мечтаешь о славе, займись лучше чем-то другим…» Нет-нет! У Шерли настоящий талант, у нее есть ум, понимание, воображение… Почему она сникла? Она не больна? Думаю, нет. Но у нее мало сил. Ее не узнать. Никакой искры, никакой жизни! Она пропускает занятия. То ходит, то не ходит. Я делаю ей выговор — и она пропадает на два или три дня подряд! Что такое? У нее появился молодой человек, да? Он плохо себя ведет?

Мне нечего было сказать ей, кроме того, что никакого молодого человека у сестры нет. Кажется, она не поверила. Я спросила, не сможет ли она убедить Шерли поехать со мной отдохнуть.

— Я говорила ей съездить в отпуск! — вскричала она. — Десять раз говорила! А она все повторяет: «Нет, мне нельзя уезжать». Это вы, моя милая, должны убедить ее. Вы сестра. Вас она послушает.

Наш разговор привел меня к невеселому выводу: если единственная женщина на свете, которая имеет влияние на Шерли, не смогла вразумить ее, мои шансы на успех ничтожно малы. Однако я не напрасно встретилась с учительницей танцев

— у меня исчезли последние сомнения в том, что сестру необходимо вырвать из лап Гайятт.

После обеда я отправилась в дом номер четырнадцать. Экзамены были позади, семестр заканчивался через несколько дней, и я могла свободно распоряжаться своим временем. Я вошла в незапертую калитку и остановилась перед закрытой дверью. От дома и участка веяло запустением. Все как всегда. Но на этот раз мне сразу открыли.

Из-за двери высунулась голова миссис Гайятт.

— Ее нет дома! — отрезала хозяйка прежде, чем я успела вымолвить слово.

— Ничего, я подожду, — твердо сказала я.

— Ждать бесполезно. Она не появится.

Миссис Гайятт откровенно насмехалась надо мной, обнажив в ухмылке ряд верхних зубов — лошадь, как есть лошадь!

— Вы хотите сказать, она отказывается видеть меня?

— Ее нет. Понимайте, как знаете, — ответила миссис Гайятт с той же издевательской ухмылкой.

Что было делать? Ворваться в дом силой? Честно говоря, у меня мелькнула такая мысль. Я оказалась в глупой и унизительной ситуации. И

все же не могла избавиться от чувства, что мне необходимо повидаться с Шерли, что теперь это вопрос жизни и смерти.

Я отступила назад и, задрав голову, крикнула, чтобы Шерли услышала меня в своей комнате наверху:

— Ладно, Шерли! Сейчас я уйду, но я выполню свое обещание. Мы найдем способ вытащить тебя отсюда!

Посреди моей тирады миссис Гайятт с грохотом захлопнула дверь. Еще минуту я неподвижно стояла, глядя на облупившийся фасад — оцепенев от досады и бессилия, — как вдруг за спиной у меня послышалось хихиканье. Я обернулась и на садовой дорожке в нескольких шагах от себя увидела Эллен. Ее обезьянья мордочка расплылась в злорадной улыбке. Над одним глазом свешивалась прядь тусклых, безжизненных черных волос, но второй ехидно сощурился, и наглая девчонка, оскалив зубы, скорчила мне страшную рожу.

Я сошла с крыльца в таком бешенстве, что готова была залепить ей пощечину, невзирая на ее увечье. И тут она, к моему изумлению, потверже стала на обеих ногах и угрожающе вскинула свой костыль, потрясая им, точно копьем. Напоследок нахалка показала мне язык и вприскочку рину-

лась к дому, пока не уткнулась в закрытую дверь; на пороге она вполоборота повернулась ко мне и визгливо крикнула:

— Убирайтесь! Убирайтесь! Не то я убью вас! Силы мои прибывают, скоро буду сильной, как вы. Еще сильнее! Убирайтесь! Вас сюда не звали!

Дверь тихо отворилась, и она провалилась внутрь.

Я снова уехала домой ни с чем, совершенно обескураженная и теперь уже сильно напуганная ходом событий. Я не знала, как мне бороться с этими людьми, и предчувствовала, что от бедной тети Евы большой пользы тоже не будет. Тем не менее я написала ей. Она могла бы обратиться за помощью к кому-то из старых знакомых нашего отца, например к его поверенному в Бирмингеме. Мне приходилось аккуратно выбирать слова, памятуя о больном сердце тети Евы: ей вредно было волноваться. Одновременно я написала письмо ее младшей сестре, нашей второй тете, — хотя это далось нелегко, ведь мы с Шерли едва знали ее, — и подробнее посвятила ее в обстоятельства дела, с тем чтобы она сама решила, позволяет ли тете Еве здоровье срочно приехать в Лондон.

Возможно, в своем нежелании огорчать тетю Еву я проявила чрезмерную осторожность.

Возможно, тетя Эмили из моего письма уяснила лишь то, что мы с Шерли повздорили из-за каких-то ее друзей. Обе ответили мне в примирительно-увещевательном тоне, дескать, нельзя отказывать Шерли в праве самой выбирать себе друзей и мне надо быть чуточку терпимее. Обе, конечно же, выразили сожаление, что Шерли стала танцевать хуже, чем раньше, и одновременно надежду, что это скоро наладится: они потолкуют с ней по душам, когда приедут. Тете Еве очень помогли рекомендации ее нового доктора, но выздоровление шло медленнее, чем хотелось бы, и она сомневалась в своей способности совершить вояж в Лондон раньше запланированного времени. Мне тетушки советовали забыть про дела и заботы и получить удовольствие от каникул в Шотландии: должно быть, экзамены меня вымотали и мне необходим полноценный отдых, а значит, не надо ни о чем тревожиться…

Но еще прежде, чем я получила письма от тетушек, пришла записка от Шерли:

> *Как я слыхала, тебя снова видели здесь. Если ты хотела узнать, не поеду ли я с тобой, то мое решение неизменно. Я не могу уехать. И пожалуйста, впредь не*

донимай меня своими визитами. Если же ты все еще думаешь, что можешь уговорить меня сменить место жительства, тогда заруби себе на носу: у тебя ничего не выйдет. Я уйду отсюда, когда сочту нужным – по собственному желанию, а не по чьей-то прихоти. Я совершенно здорова, и ни тебе, ни тете Еве, ни кому-либо еще нет ни малейшей надобности забивать свою голову мыслями о моем благополучии. Эллен шлет тебе привет. Она говорит, что видела тебя на днях и ты могла убедиться, как резво она теперь передвигается, почти бегом. А ты сомневалась, что я оказываю своим друзьям добрую услугу!

Так-то. После этого я сдалась. Я сделала все, что могла, и просто не представляла, что еще можно было бы сделать. Разве только переложить проблему на тетю Еву, когда та появится в Лондоне. И я уехала с подругой в Аргайлшир. К сожалению, среди моих лондонских знакомых не было абсолютно надежного, понимающего, мудрого человека, который проникся бы сочувствием к моей беде и посоветовал мне, как действовать.

Во всяком случае, я таких не знала. Я подумала обратиться в полицию, но какой смысл? Ясно же, что́ бы мне там сказали — это не их компетенция: моя сестра вправе сама решать, где ей снимать жилье, и я ничем не могу доказать нарушение закона со стороны семейства Гайятт. Насколько мне известно, законом не запрещено исповедовать любые, даже самые эксцентричные религии, устраивать у себя дома богослужения или обращать других в свою веру.

В общем, я уехала в Шотландию. Не скажу, что была там безмятежно счастлива, но я много времени проводила на свежем воздухе, много двигалась и вернулась окрепшей, по крайней мере физически.

На свою съемную квартиру в Далидже я прибыла около семи часов вечера, в субботу. Поднявшись к себе, я увидела открытую дверь в бывшую комнату Шерли и сваленный у порога багаж с ее вещами. В ту же минуту снизу примчалась мисс Уиллис — запыхавшаяся, возбужденная и немало озадаченная.

— Вы уже знаете?.. Мисс Шерли вам говорила? Похоже, она возвращается! Но почему же она не известила меня? Подумайте, как удачно, что я не сдала ее комнату! Конечно, без вашего согласия

я бы не стала…

Я зашла в ее комнату взглянуть на багаж: большой чемодан, три-четыре дорожные сумки разного размера, шляпная картонка, плоский портфель для бумаг — все имущество Шерли, насколько я помнила. Багажные бирки были аккуратно надписаны (хотя и не рукой Шерли, мимоходом отметила я).

— Неужели она не предупредила вас, не прислала записки? — удивилась я. — Когда все это доставили?

При виде ее багажа у меня словно гора с плеч свалилась. После стольких треволнений узнать, что Шерли наконец взялась за ум! Мне вспомнилась фраза из ее письма: мол, она уйдет из дома Гайятт, когда *сама* сочтет нужным. Не иначе они поссорились, подумала я с облегчением. Хотя взбалмошный нрав моей сестрицы мог кого угодно свести с ума! То ее на аркане не вытащишь из паучьего логова Гайятт, то она вдруг собирает вещи и, не сказав никому ни слова, переезжает назад к мисс Уиллис! А что, если бы мисс Уиллис успела сдать ее комнату?..

Я так углубилась в свои мысли, так обрадовалась, получив неоспоримое свидетельство собственной правоты и прозорливости, что до

меня не сразу дошел смысл ответа мисс Уиллис:

— Еще вчера. И я, конечно, ждала, что следом прибудет мисс Шерли, но она до сих пор не появилась. Наутро я подумала: ну хорошо, наверное, получу записку от нее с дневной почтой…

— Вчера? — переспросила я, очнувшись. — Вы хотите сказать, Шерли не ночевала здесь?

— Да нет же!

Я спустилась на первый этаж. В доме Гайятт телефона не было. Оставалось самой ехать в Клэпем и выяснять, отчего она там застряла, хотя поездка казалась довольно бессмысленной: скорее всего, Шерли хотела завершить неделю под крышей Гайятт и оставила себе минимальный набор вещей, необходимых для одной ночевки. Но что мешало ей взять такси и приехать сюда вместе со всем своим скарбом? Для чего понадобилось заранее отправлять багаж?

Сидя в автобусе, я перебирала в голове возможные объяснения, но не нашла ни одной разумной причины странного поступка Шерли.

Миссис Гайятт, как я и ожидала, заметно приуныла — ни наглой самоуверенности, ни победной ухмылки, одна тоскливая обреченность. В ее скорбном унынии не было бы ничего нового, если бы к нему не прибавился страх: мне почу-

дилось, что женщина не на шутку испугана. Она впустила меня в холл и оглядела с ног до головы беспокойно бегающими черными глазами.

— Где Шерли? — спросила я.

— Вам все мало? Явились посмеяться надо мной? Уходите, оставьте нас в покое!

— С превеликим удовольствием, — язвительно ответила я. — Но сперва я хочу поговорить с сестрой.

— Ее нет. Вы знаете, что ее здесь нет.

— Ну да, ее, как всегда, нет дома? Так-таки нет? И где же она?

— Откуда я знаю? — сказала она. — Нашли кого спрашивать. Вам лучше знать. Она уехала на прежнее место, где вы с ней снимали жилье.

— Там ее вещи, но ее самой там нет. Я уезжала на две недели, только сегодня вернулась в Лондон — и Шерли не видела. На съемной квартире она не показывалась. Я хочу знать, где она.

— Ничем не могу вам помочь, — ответила миссис Гайятт. — Она отослала свои вещи, вчера рано утром, расплатилась со мной за неделю и около десяти ушла от нас. Больше я ничего не знаю.

Я хоть убей не понимала, что все это значит. Если Шерли не ночевала ни у миссис Гайятт, ни у мисс Уиллис, то где же она, спрашивается, ноче-

вала, оставшись без вещей? Потом меня осенило: за те месяцы, пока Шерли жила в доме Гайятт, она ведь могла обзавестись новыми вещами, о которых я просто не знала.

— Может быть, она уехала в другой город? У нее был при себе какой-то багаж?

— Нет, — сказала миссис Гайятт. — И мне она говорила, что возвращается к вам.

— Наверное, Эллен знает, куда она направилась. Можно мне повидаться с ней?

При этих словах апатичная миссис Гайятт встрепенулась:

— Нельзя. Смейтесь надо мной, если вам угодно, но я не позволю обижать мою дочь!

Я отнюдь не горела желанием лицезреть маленькую мерзавку, и надежда что-то выведать у нее была крайне мала. Она из зловредности не сказала бы правду. Поэтому я не стала настаивать.

— У меня и в мыслях не было ее «обижать», как вы выразились, — сказала я и продолжила, боюсь, не слишком милосердно: — По всей видимости, сегодня у нее не лучший день.

Моя колкость возмутила миссис Гайятт, и в своем праведном гневе она внезапно обрела достоинство. Лицо ее вспыхнуло, плечи распра-

вились.

— Дочь страдает от душевной боли, но физически чувствует себя хорошо. Хвала Господу, она сейчас в лучшей форме, чем когда-либо. Все благодаря вашей сестре. Она стала инструментом в руках Господних, и с ее помощью Он сотворил чудо.

В ее голосе звенела фанатичная нота торжества; в ее тоне и взгляде не было и намека на смиренную благодарность Всевышнему. Мне подумалось, что так ликуют в час великого бедствия кровожадные изуверы, вознося хвалу гневу Господню, а не милости Его.

Я решила, что говорить мне с ней больше не о чем, и отправилась домой, в Далидж. Вероятно, это была моя последняя ошибка в той ужасной истории. Мне следовало настоять на разговоре с Эллен сразу же, в свой первый вечер в Лондоне. Но тогда у меня еще не возникли те подозрения, которые есть теперь, и даже те, которые начали появляться всего день спустя.

Оглядываясь назад, я думаю иногда, что подсознательно должна была понимать: Эллен лучше, чем кто-либо, знала, что́ приключилось с Шерли. И если так, если я интуитивно это чувствовала и все-таки не настояла на свидании с ней, значит

во мне, вероятно, сработал некий защитный механизм. Скажу иначе: если мои нынешние подозрения не полный бред, мой бедный рассудок мог просто не вынести того, что предстало бы моим глазам при личной встрече с Эллен.

Тем же вечером я позвонила сперва учительнице танцев Шерли, затем некоторым ее коллегам по балетной труппе, чьи номера она в свое время сама дала мне, включая ту девушку из кордебалета, от которой я впервые услышала про театральные неурядицы сестры. До полуночи я не слезала с телефона, обзванивая всех подряд, вернее пытаясь дозвониться, потому что большинства артистов дома не оказалось. Из ответивших мне никто ничего не знал. Хоть что-то конкретное я услышала только от старой учительницы: Шерли целую неделю не появлялась на занятиях. Ее наставница думала, что сестра все-таки уехала со мной отдыхать.

Наутро я отважилась позвонить директору труппы. Он знал об отсутствии Шерли и был сердит на нее за самовольный отъезд. Я сказала ему, что, по-моему, все намного серьезнее и я звоню спросить его мнение — не пора ли мне обратиться в полицию. Он переполошился:

— Боже ты мой! Неужели настолько серьез-

но?.. — И после долгой паузы мрачно объявил: — Да, пожалуй, так будет правильнее.

Честно говоря, о полиции я упомянула почти экспромтом, однако через час, взвесив все за и против, я отправилась в полицейский участок.

Представляю, какая творилась бы неразбериха, если бы полиция реагировала на любое происшествие так же бурно, как граждане, которые бегут за помощью к стражам закона, и тем не менее флегматичность полицейских в участке превзошла мои ожидания. Они только что не сказали мне прямо: «Ну-ну, дамочка, успокойтесь, никуда она не денется — как пропала, так и найдется». Сказать не сказали, но ясно выразили свое отношение. Справедливости ради я должна признать, что полицейская машина, однажды запущенная, работает исправно.

Итак, я изложила дежурному офицеру все известные мне факты — все то, что, по моему разумению, могло считаться «фактом», но далеко не все, что я сейчас рассказала тебе, поскольку в моем рассказе многое опирается не на факты, а на впечатления. Однако я довольно подробно остановилась на личности миссис Гайятт (хотя лишь малая толика из сказанного мной годилась, на взгляд полицейского, для письменного

заявления) — в надежде, что ей придется объяснить, с какой целью она так старалась привлечь Шерли в свою секту. Даже если в ее действиях не было ничего противозаконного, в них было много сомнительного, и не мешало бы вытащить мрачные тайны харбериан на яркий антисептический дневной свет. К тому времени мне начали мерещиться всякие ужасы, которые могли приключиться с Шерли.

Со мной отрядили констебля — взять фотографии Шерли и записать показания мисс Уиллис. Мы вместе поднялись в комнату сестры взглянуть на ее багаж. Констебль сделал опись доставленной клади и спросил меня про надписи на бирках — узнаю ли я почерк Шерли. Я ответила нет. Пока он не задал вопрос, я не придавала этому значения, теперь же словно прозрела, осознав, что надписи сделаны почерком Эллен, о чем я и сообщила ему.

Ближе к вечеру явился сержант для уточнения кое-каких деталей. Из разговора с ним я поняла, что он успел побывать в Клэпеме, где задал ряд вопросов миссис Гайятт и внимательно осмотрел тамошнюю комнату Шерли. Миссис Гайятт слово в слово повторила ему то, что сказала мне, а в комнате Шерли не осталось никаких следов ее

пребывания, которые могли бы дать ключ к поискам. Шкафы и ящики были пусты. Шерли все упаковала, заверила его миссис Гайятт. Перед тем как покинуть дом, она разорвала и выбросила в мусорное ведро какие-то письма, поручив миссис Гайятт сжечь их, что миссис Гайятт и сделала — сожгла обрывки в кухонной раковине.

Сержант достал свой блокнот и зачитал мне описание одежды Шерли, которая была на ней, когда сестра в последний раз вышла из дома номер четырнадцать. Описание предоставила миссис Гайятт. Я с уверенностью заявила, что ни одна вещь в этом описании не значилась в гардеробе Шерли на день ее отъезда из нашей общей съемной квартиры. Сержант выдвинул весьма правдоподобное объяснение:

— Наверное, ваша сестра любила покупать себе обновки?

Еще как любила! Мы прожили врозь без малого четыре месяца, и я бы сильно удивилась, если бы за все это время Шерли не купила себе какие-то новые летние вещи. А серый костюм, описанный миссис Гайятт, был несомненно во вкусе Шерли.

Затем сержант предложил мне при нем открыть багаж и посмотреть, не пропало ли что-то из личных вещиц Шерли. Бóльшая часть до-

рожной клади была не заперта на замок, просто перетянута ремнями. Шерли вечно теряла ключи. Два закрытых замочка сержант легко отомкнул, подобрав ключи из связки, которую носил с собой. Постепенно мы перебрали все ее вещи. Ничего вроде бы не пропало, зато обнаружилась уйма новой одежды, во всяком случае я такой раньше не видела. Все украшения Шерли были на месте, как и ее туалетные принадлежности. И если она не обзавелась дополнительным комплектом всего необходимого для ночлега, то напрашивался вывод, что, отправляя багаж, она планировала ночевать у мисс Уиллис. На то же указывало уверенное заявление миссис Гайятт: из ее дома сестра вышла с одним ридикюлем, никакой более вместительной сумки у нее в руках не было.

Оставалось предположить, что в пятницу Шерли действительно намеревалась вернуться в Далидж к мисс Уиллис, но прежде ей нужно было уладить какие-то дела. Если она, к примеру, договорилась встретиться с кем-то в центре Лондона, то сперва отправить багаж, а потом налегке сесть в автобус и ехать на деловое свидание — вполне логичный план действий.

Полиция уже восстановила хронологию событий. По свидетельству миссис Гайятт, грузовое

такси было заказано посредством открытки — ее вызвалась написать Эллен, желая помочь Шерли, — и Шерли оставила миссис Гайятт необходимую сумму, на случай если фургон прибудет за вещами раньше, чем сама Шерли вернется «домой» в четверг вечером. Именно так и случилось.

После того как я ответила на все вопросы сержанта и назвала ему имена всех знакомых Шерли, мне пришлось смириться с тем, что я ничего больше не могу предпринять, кроме как послать телеграмму тете дать объявление в газетах.

Обе тетушки примчались с Джерси ближайшим паромом. Едва тетя Ева добралась до Лондона, силы оставили ее, и мы были вынуждены поместить ее в пансионат для престарелых под присмотр врачей и сиделок. Всю следующую неделю у меня голова шла кругом от бесконечных звонков и визитов в полицию — или звонков и визитов полиции в дом мисс Уиллис… Остаток дня я металась между домом и заведением, где пребывала моя бедная тетя. За ту первую неделю поступило с полсотни сообщений о местонахождении Шерли, и все оказались ложными.

Мало-помалу суматоха улеглась — до полной

тишины и безнадежности. В полиции мне всякий раз говорили, что новых сообщений пока нет. Ну ясно, думала я, отложили мое дело в долгий ящик. Никто из нас, пока сам не столкнется нос к носу с подобной ситуацией, не допускает мысли, что однажды летним утром человек может как ни в чем не бывало выйти на улицу из лондонского дома — и навсегда исчезнуть! Хотя такое происходило, происходит и будет происходить сплошь и рядом.

Моя тетя Эмили вернулась к себе на остров Джерси, и, помнится, в день ее отъезда ко мне зашел потолковать инспектор Уэйт.

Инспектора Уэйта я всегда вспоминаю с признательностью. Вот о таком многоопытном мудром советчике я и мечтала, когда все еще можно было исправить — когда я еще не уехала в Аргайлшир.

Благодаря инспектору я наконец осознала, какую огромную работу провела полиция, расследуя это дело, и поверила, что мою сестру непременно найдут — если найти ее в человеческих силах. Он был на редкость терпелив и участлив. Заново вместе со мной прошелся по всем событиям, внимательно прочел мои записки, адресованные Шерли, и ее последнее письмо ко мне, а затем предложил мне прокомментировать длинный

список опрошенных им людей — всех, о ком я когда-либо слышала от Шерли, и многих других, о ком я никогда не слышала.

Он честно признался, что полиция исходит из версии о тайной любовной связи сестры и ее бегстве с ухажером, поскольку в девяноста девяти случаях из ста, как показывает практика, исчезновение молодой женщины объясняется романтической причиной. Необязательно быть преданным читателем таблоидов, чтобы с большой долей вероятности предположить, каким образом разрешится загадка пропавшей.

Однако во всей массе свидетельских показаний полиция не обнаружила ни единого намека на мужчину — потенциального виновника происшествия. И не могла обнаружить, прокомментировала я, потому что никакого мужчины в жизни сестры не было. Уж я-то знала!

Инспектор откинулся на спинку кресла и мягко заметил:

— Не надо волноваться, мисс, я склонен вам верить. Просто скажите мне, что, *по-вашему*, могло с ней случиться. Не важно, если вы не готовы подтвердить это под присягой. Вы считаете, что миссис Гайятт лжет, правильно я понимаю?

Да, я так считала. Мало-помалу я рассказала

инспектору Уэйту все, что только что рассказала тебе.

Выслушав меня, он покачал головой:

— Ваша сестра сделала большую глупость. Конечно, ей не надо было связываться с сектантами. У этих Гайятт не все дома, тут и спорить нечего. Но с точки зрения закона они не преступники. Думаю, вы сами понимаете, что ваша теория звучит правдоподобно только до известного момента: она не объясняет мотив. Какой смысл миссис Гайятт причинять зло вашей сестре? Зачем убивать курицу, которая несет золотые яйца? Извините за такое сравнение.

— Но мы не знаем всего, что творилось в этом доме, — сказала я. — Я согласна: хозяйка наверняка была не прочь подзаработать на Шерли и хотела бы держать ее при себе как можно дольше. Но что, если Шерли стала опасна? Что, если она узнала какой-то их грязный секрет? Ведь этого нельзя исключить?

Он посмотрел на меня долгим взглядом — но не скептически, а скорее задумчиво, словно взвешивал на весах мои домыслы, положив на другую чашу свой профессиональный и жизненный опыт.

И тогда я собралась с духом извлечь на свет то,

что камнем лежало на сердце, — омерзительное видение, которое преследовало меня с той минуты, как я заглянула в окно комнаты Эллен.

— Эта птица, которую ее заставили держать в руке… — промолвила я. — Мертвая птица. Умерщвленная… еще, наверное, теплая. На алтаре. Все выглядело как жертвоприношение. Шерли была нужна им не только для потехи Эллен и не только для того, чтобы получать от нее несколько шиллингов в неделю, я уверена. Мне не забыть лица Эллен, когда она смотрела на танец Шерли!

И даже после этих слов инспектор не смерил меня скептическим взглядом; он стал, напротив, еще серьезнее.

— Давайте говорить начистоту, — спокойно начал он. — В своем воображении вы уже нарисовали себе все мыслимые ужасы. Но есть одно но, и это сильный довод как против вашей теории, так и против версии о самоубийстве. Да, единственным свидетельством того, что ваша сестра покинула дом Гайятт в нормальном физическом и психическом состоянии — или что она вообще покинула его, — служат показания самой миссис Гайятт. И полиция не обязана верить ей, если нет других доказательств, что все было именно так. Но у нас нет и доказательств обратного. Конечно,

кто-то *мог* видеть, как в то утро она вышла из дома на Олд-Милл-лейн, если она действительно вышла. Однако тот факт, что до сих пор никто этого не подтвердил, еще не доказывает, что этого не было. Точно так же тот факт, что миссис Гайятт и Эллен сами организовали отправку вещей вашей сестры, еще не доказывает, что они так или иначе разделались с ней. У нас попросту нет доказательств — ни в пользу их невиновности, ни в пользу их злонамеренности. Но остается один неопровержимый довод, который перевешивает ваше мнение. Вы понимаете, о чем я?

Я понимала. Решающий аргумент.

— Все верно, — кивнул инспектор. — Убийство ли, самоубийство — где-то должен быть труп.

Он встал и напоследок спросил:

— А вы слыхали, что миссис Гайятт забронировала места на пароходе для себя и Эллен и через неделю они отплывают в Южную Америку? Возвращаются в Джорджтаун. На доме четырнадцать висит объявление «Продается» с телефоном агента.

— Вам это не кажется несколько?..

Он замотал головой:

— Нет. Это вполне естественно. Судя по всему, в Англии миссис Гайятт не прижилась. Ее дохода

едва хватает сводить концы с концами, а в Британской Гвиане жизнь намного дешевле, к тому же она получит приличные деньги за дом. Тем не менее мы вынудили бы ее отсрочить отъезд, если бы за оставшееся время у нас появилось что-нибудь существенное. Но на это мало надежды. Так или иначе я намерен снова поговорить с ней и Эллен, и мы снова внимательно осмотрим дом и участок.

В следующий раз инспектор Уэйт наведался ко мне недели три спустя. Тетю Еву уже отпустили из пансионата, и она жила со мной у мисс Уиллис.

Инспектор пришел сообщить, что полиция потерпела фиаско. Мать и дочь Гайятт беспрепятственно отбыли из страны.

— Мы не дали бы им уехать, будь у нас малейший законный повод, но его как не было, так и нет. Ни единой зацепки. Мои люди пришли с ордером на обыск, когда мать и дочь Гайятт еще не упаковались, и обшарили весь дом, каждый дюйм. Я видел комнату Эллен. — Он пожал плечами и поморщился. — Странная коллекция для молоденькой девушки. Кстати, среди ее сокровищ подлинные трофеи охотников за головами, и чучела пресмыкающихся, и мумифицированная обезьяна — одна или две, не помню… Настоящий

музей диковин. Не думаю, чтобы моей дочери захотелось повесить у себя над кроватью подобные экспонаты. Но Эллен явно дорожит ими. Меня, как и вас, это обеспокоило. Я повидался с вашим мистером Уоллесом, а после переговорил с одним старичком, бывшим миссионером в Южной Америке, на него мне указали в Скотленд-Ярде. Так вот, он кое-что поведал мне о религиозных практиках харбериан — малоаппетитные подробности. Однако, по его сведениям, последний из практикующих харбериан умер лет двадцать назад. И опять-таки, какие бы ритуалы ни совершала миссис Гайятт, само по себе это не преступление с точки зрения британского законодательства.

У моей тети Евы была своя точка зрения.

— Если она невиновна, почему сбежала?

— Я не сказал бы, что «сбежала», — примирительно ответил инспектор. — Строго говоря, у полиции нет к ней претензий: она как могла старалась помочь расследованию. Думаю, главную роль в их отъезде сыграла дочь. Когда ваша сестра решила покинуть их, для девочки это был тяжелый удар, и она не хотела дольше оставаться в Англии. Ну а миссис Гайятт всегда мечтала вернуться в Гвинею. Здесь ее удерживала только

надежда, что дочку вылечат.

— Сомневаюсь, — обронила я. — Но допустим, все так и было. Состояние Эллен заметно улучшилось, я видела это своими глазами. Поразительный прогресс за столь короткое время! Зачем же им было прерывать лечение на середине?

Он с любопытством посмотрел на меня и задумчиво произнес:

— Я ждал, когда вы об этом спросите. Удивительно, что такой резонный вопрос возник у вас только теперь. Вы не догадываетесь, кто занимался лечением Эллен?

— Не имею понятия. Я не интересовалась.

— Нет? А мы поинтересовались. Так вот, мать не показывала Эллен докторам. Харбериане не верят официальной медицине. Ее лечением занималась ваша сестра.

— Вздор! — фыркнула моя тетя Ева. — Как она могла лечить? Что она в этом смыслила?

— Думаю, ничего, — ответил инспектор Уэйт. — Но, сдается мне, у нее сложилось представление, будто она может оказать эффективную помощь, заставив девочку поверить в чудодейственную силу страстного желания ходить и танцевать. Смешно, конечно, однако многие свято верят, что сломанные кости или раковую опухоль можно

исцелить силой мысли. Судя по нашим данным о харберианах, подобный подход не мог не встретить одобрения у миссис Гайятт. Возможно, девочка не была такой уж безнадежной калекой, вопреки вашему первому впечатлению. При частичном параличе конечности правильный психологический настрой иногда действительно ускоряет восстановление подвижности. Эллен боготворила вашу сестру. И я вполне допускаю, что ваша сестра помогла ей преодолеть неуверенность и смелее тренировать больную ногу.

Я волей-неволей должна была согласиться с его доводами.

— Может быть, — сказала я, — но это не дает ответа на вопрос, что сталось с Шерли. Или полиция уже поставила крест на дальнейшем расследовании?

— Мы не ставим крест на расследовании, пока не доберемся до истины.

Мы с инспектором вместе вышли из нашей гостиной, и я проводила его вниз по лестнице. Не зная, что сказать, когда все уже сказано, я посетовала, что своим предубеждением против обеих Гайятт направила его по ложному следу и тем доставила много ненужных хлопот.

— Мы обязаны проверять все версии, — ответил

он. — Ваши подозрения объяснимы. И во многом вы правы, я думаю, но только не в жестокой характеристике этой девочки. Удивительно, как вы могли так обмануться. После ваших слов у меня сложилось об Эллен совершенно ложное впечатление. Скажу вам честно, при личном общении она меня даже тронула. Я повидался с ней во время своего последнего визита в их дом, накануне их отъезда. Она лежала в постели, такая больная, несчастная… Печально, когда миловидная, славная девочка не может нормально ходить, тем более что в остальном природа ее не обделила — и внешность, и фигура, насколько я успел заметить, все при ней. Исходя из вашего описания, я ожидал совсем другого…

На этом Констанция Поттинджер оборвала рассказ. Она была бледна и казалась измученной, а в ее глазах вновь появился страх, как тогда, при первом упоминании дома номер четырнадцать. Теперь она не пыталась его скрыть, глядя на меня в упор широко раскрытыми глазами.

Я решила, что ее молчание означало конец истории — или неспособность Констанции досказать ее.

— Погоди, — начала я, — ты же не… Не может быть, чтобы все эти годы ты терзалась подозрени-

ями о чем-то… о чем-то *таком* только потому, что вы не совпали в оценках насчет Эллен! Почему нельзя было просто проверить? И выяснить, кто из вас ошибался, ты или он? Время от времени все мы оказываемся в плену своих ложных впечатлений. Ты не пыталась разобраться?

Она покачала головой:

— Как бы я стала просить инспектора проверить столь фантастическую гипотезу? Я же согласилась, что мое предвзятое отношение к Гайятт могло исказить для меня всю картину. Ты ведь тоже не веришь в мои фантазии?

Загнанная в угол прямым вопросом, я ответила неопределенным жестом, который, боюсь, был интерпретирован ею как «нет».

— Ты говоришь, надо было проверить, — продолжила она. — Но каким образом? Кто видел Эллен до этого… до всего, что случилось? Кто, кроме меня и Шерли?

— Ну… — растерянно протянула я, — есть же паспорта… есть полиция в Гвиане…

— Да, конечно, инспектор обещал подумать над этим. Но он просто хотел меня успокоить. Я нисколько не сомневаюсь, что полиция Британской Гвианы не отнеслась к его просьбе серьезно. Должно быть, телеграмму сунули в папочку

с надписью «Бредовые запросы» и убрали на полку. К безумным просьбам полицейским не привыкать.

Она сумела взять себя в руки и придать своему голосу естественный тон, как будто ее история была всего лишь история. Взглянув на часы, она воскликнула:

— Боже, ну и заболтались же мы! Чарльз вон уснул, да и ты наверняка ждешь не дождешься, когда я отпущу тебя спать. К слову, Чарльз не слышал от меня *всего*. Думает, я боюсь, что ее погребли там, в подполе дома четырнадцать… Нет, хватит! — объявила она, едва я раскрыла рот для очередного вопроса. — Не могу больше говорить об этом. Чарльз, милый, давай просыпайся, пойдем в постель.

На другой день Констанция не стала возвращаться к своей истории. Мы много гуляли, а вечером к Поттинджерам на ужин пришли соседи.

Вновь злосчастный номер четырнадцать всплыл в разговоре в понедельник утром — по той же причине, что и в субботу. После завтрака раздался телефонный звонок, и Чарльз снял трубку в прихожей.

— Да. Да, конечно, приеду, — услышала я, — как

только смогу. Я все равно собирался отвезти знакомую на вокзал, на Кингз-Кросс. Но я не хотел бы брать с собой… То есть жена не планировала ехать. А? Что? Нет, не совсем понимаю. Часам к одиннадцати. Да. До свидания.

Опуская трубку на рычаг, он встретился со мной взглядом, молча подошел и увлек меня в сад. Он был взбудоражен и вместе с тем озадачен.

— Ничего не понимаю. Звонил Сирил Мэнтон. Говорит, они таки что-то нашли в доме номер четырнадцать. Не могу поверить. Ты слышала рассказ Кон в субботу вечером. Она считает, что эти люди разделались с ее сестрой и закопали ее где-то там. Я всегда уверял, что это выдумки. Господи! А если и вправду?.. Но я толком не понял, Сирил зачем-то темнит. Мне показалось, он не отнесся к этому серьезно. Знаешь, не говори ей ничего. Сперва надо повидать Сирила и выяснить, что к чему. Давай поедем пораньше и сходим туда вместе.

Чарльз вывел машину, и мы двинулись в путь на целый час раньше назначенного времени. В Клэпеме, вместо того чтобы сразу ехать на Олд-Милл-лейн, мы свернули к полицейскому участку и захватили с собой доктора Мэнтона и дежурного сержанта.

Доктор, жизнерадостный пожилой джентльмен, излучал профессиональную уверенность. На обеспокоенный вопрос Чарльза он только сказал:

— Погоди, скоро увидишь. Не совсем то, чего можно было ожидать.

Олд-Милл-лейн выглядела не так, как я представляла. С исчезновения Шерли Дальман прошло пятнадцать лет. За это время большинство старых особняков снесли, построив взамен компактные кирпичные жилые дома и магазины. О прошлом напоминали только два больших дома с заросшими садами и объявлениями о продаже на воротах.

Чарльз остановился позади грузовика, в который рабочие по проложенной через кусты «просеке» сносили строительный мусор. В глубине искалеченного сада торчала руина без кровли и оконных рам. Еще один грузовик пятился к выезду по бывшей подъездной дорожке.

Мы все вылезли из машины и пошли к дому. Внутри все было завалено мусором, под которым, вероятно, скрывались остатки паркета, судя по воспоминаниям Констанции о холле в доме четырнадцать. Хотя описанный ею дом едва угадывался в голых стенах, открытых дождям

и ветрам.

Тем не менее комната, куда завел нас сержант, в прежние времена несомненно принадлежала Эллен. По левую руку — камин, прямо по ходу — длинная стена, справа — два зияющих оконных проема и сразу за ними — густой кустарник, пока еще уцелевший.

В комнате дожидался констебль. С помощью бригадира рабочих, который вошел в комнату вслед за нами, констебль принялся разбирать импровизированную «палатку» из реек и брезента, установленную более или менее в центре помещения. Пол под ней был уже вынут.

— Я оставил здесь караульного до вашего приезда, сэр, — пояснил сержант.

Брезент убрали, и мы сгрудились вокруг дыры в полу. Двое-трое рабочих из любопытства присоединились к нам, заглядывая поверх наших спин.

— Вот, смотрите сами, — сказал бригадир. — Там никто ничего не трогал. Лежит, как лежало, когда Билл поднял доски.

— Ну или почти, — уточнил один из рабочих. — Я же не знал, что там такое, слегка потянул на себя, тогда и увидел.

— Будь я проклят, если что-нибудь вижу! —

буркнул доктор и наклонился ниже. — Гм. Да, теперь, кажется, разглядел.

Впритык к столбу, на который опиралась балка пола, действительно что-то лежало. Возможно, еще с тех пор, когда в доме жили люди, если в то время несколько половиц легко вынимались.

Первое, что я сумела различить, — это ржавая конструкция с заплесневелыми кожаными ремнями: старомодный, громоздкий инвалидный аппарат для увечной ноги. Но ниже, в глубине, виднелось что-то еще, вроде как скелет, вернее не настоящий скелет, а бледная копия человеческого остова из какого-то непрочного, обветшалого материала — останки слишком миниатюрные для взрослого, но слишком недетские по пропорциям для маленького ребенка, с тонкими, длинными, как паучьи лапки, конечностями. Кожа превратилась в усохшую, полупрозрачную пленку, больше похожую на сброшенную и сильно истонченную кожу змеи. Или на бесцветную, невесомую личиночную оболочку насекомого, сброшенную в процессе метаморфоза. Под кожей, особенно в местах разрывов, явственно проступали изящные кости — по виду скорее даже не кости, а окостенелые прутики. Довершал эту хрупкую призрачную форму (настолько призрач-

ную, что я бы не удивилась, если бы она тут же рассыпалась в прах и растворилась в воздухе!) маленький череп, словно бы склеенный из желтоватой папиросной бумаги, с прядями темных волос. Все это производило впечатление чего-то совершенно нереального, словно кому-то взбрело в голову сделать этюд человеческой фигуры паутиной и белым пеплом. Почему же тогда я, наклоняясь все ниже и ниже, пыталась что-то распознать в эфемерных останках и сравнить толщину двух трухлявых белых прутиков, которые предположительно могли быть костями ног, — не окажется ли одна тоньше другой, не замечу ли я деформации?

Чарльз отступил от дыры в полу, весь красный после стояния внаклонку, хотя еще недавно, воззрившись на брезентовый тент, побелел как мел. Он посмотрел на доктора и спросил:

— Что это?

— Ну, — задумчиво потирая подбородок, произнес доктор, — инвалидная конструкция принадлежала, полагаю, этой девице… как бишь ее? Опять забыл! Ведь только на прошлой неделе перечитал отчет старины Уэйта, чтобы освежить память. Впрочем, не важно. Вероятно, она и засунула эту штуковину под пол, когда они

отправились за океан.

— А то, другое? — не унимался Чарльз. — Что там за чертовщина, прости господи?

Доктор снова склонился над ямой.

— Бедняга Уэйт, — наконец сказал он. — Жаль, не дожил до этого дня. Думаю, он сообразил бы скорее нас. Я не хочу выносить поспешное суждение, нужно внимательно все изучить, но рискну предположить, что это одна из тех мумифицированных обезьян, которые значатся в перечне экспонатов, висевших на стене у девицы.

— Да ну? — вытаращил глаза Чарльз. — Для чего она оставила ее здесь?

— Поди знай… — Доктор пожал плечами, давая понять, что не видит смысла гадать. — Возможно, для нее в этом был некий символ — как оставить ненужный ей аппарат для ноги в доме, где ей помогли избавиться от увечья. Насколько я понимаю, ко времени отъезда она уже научилась ходить?

— Иными словами, — вмешалась я, — это ее благодарственный дар богам, или богу, или во что там еще она верила?

— Можно и так сказать. Что-то в этом роде, — согласился он.

— Не знаю, все ли нашло свое отражение в

отчете инспектора Уэйта, — сказала я, — но миссис Поттинджер слышала от него, что полиция тщательно обыскала дом, прежде чем мать и дочь Гайятт выехали отсюда. Неужели сыщики не обнаружили тайник со всем его содержимым? Не заметили, что какие-то половицы легко вынимаются? Мне казалось, полиция обращает внимание на подобные вещи.

Доктор хмыкнул:

— Разумеется, старина Уэйт видел содержимое тайника. И без всякого обыска. Это самое содержимое находилось в комнате, у него под носом, когда он беседовал с девицей Гайятт. Она спрятала это в тайник *после* обыска. В любом случае инспектор искал совсем другое. Ну ладно… — Он повернулся к сержанту. — Я не вижу, сержант, чем еще могу быть полезен. Советую вам не пытаться самостоятельно извлечь эти находки. Там все истлело, тронь — и рассыплется. Вызывайте экспертов.

Констебль и бригадир послушно принялись возвращать палатку на место.

Доктор Мэнтон ободряюще улыбнулся Чарльзу.

— Ну вот, а ты боялся. Попросим патологоанатома дать свое заключение, если сумеем доставить

ему что-то в целости. Но можешь уже сейчас передать от меня жене: это не то и никогда не было тем, о чем она думала, намекая на страшную тайну, которая погребена в доме четырнадцать.

Позже я узнала от Чарльза, а он от Мэнтона, что, пока находку везли в лабораторию, от нее осталась лишь кучка праха. О заключении патологоанатома ничего не известно.

Как мне по сей день неизвестно, догадался ли Чарльз, или доктор Мэнтон, или кто угодно еще, кроме меня, о чем именно думала Констанция, ожидая известия о находке в доме четырнадцать.



Святочный рассказ[62]



Вот вам святочный рассказ. Я расскажу его так, как услышал от Александра Андреевича Массеева в его маленьком домике за стенами Джидды много лет назад жарким, влажным вечером в канун Рождества.

---

[62] Примечания: 62
Перевод Д. Кальницкой.

В те времена среди немногочисленных проживавших в Джидде англичан бытовал обычай — колядовать на Рождество. Всю неделю трое или четверо из нас — таких, кто не постыдился бы своего голоса, да еще парочка таких, у кого ни стыда, ни голоса не было, — репетировали в каком-нибудь местном британском торговом доме под аккомпанемент старенького фортепиано, на чьи голосовые связки чрезмерная влажность местного климата оказывала эффект ничуть не меньший, чем на голосовые связки некоторых певцов. В конце концов в назначенный вечер колядующие собирались у нас дома и, отужинав, в память об английских ряженых изощрялись по части маскарадных костюмов и потешного убранства как только могли: клеили накладные усы из ваты и пакли, чернили лица, мазали носы помадой, одолженной у жены вице-консула, выворачивали пиджаки наизнанку и посыпали плечи «снегом» из пакетика, сто лет назад купленного кем-то на родине и бережно хранимого из сентиментального упорства долгие годы изгнания на пустынном берегу.

Певец из меня никудышный, но в колядках я всегда участвовал. Моей обязанностью было нести фонарь.

На лицах прислуживавших нам суданцев читалось скорее восхищение, чем удивление, а по виду немногочисленных соседей-арабов, которые при любом удобном случае непременно собирались у дверей понаблюдать за нашим выездом, невозможно было сказать, что выглядим мы комичнее обычного. Мы объезжали дома европейцев в фургоне «форд»; мой длинный шест с фонарем торчал из окна, и мне лишь чудом удавалось не расколотить его о стену, когда первый секретарь посольства срезáл углы на узеньких улочках. К счастью, за исключением наших соседей, которые, кажется, вообще никогда не ложились (или, по крайней мере, ложились, но не спать), городские правоверные рано отправлялись на боковую, и к девяти-десяти вечера темные усыпанные песком улочки пустели, там можно было встретить лишь дворняжек да прикорнувшие козьи семейства, чье усталое сипение разносилось в неподвижном душном воздухе. Несчастные джиддские козы! Те, кому хлевами и пастбищами служили зловонные улочки; болезные матери удрученного потомства, чьи подобия бюстгальтеров на первый взгляд выглядели поразительно утонченной данью пуританству, но на поверку оказались всего-навсего мерой экономической

— не пояса целомудрия, но оковы бережливости; те, чьи скудные трапезы состояли лишь из старых газет да кончиков соломенных жгутов и для кого нежданно обретенная брошенная кем-то (или же оставленная без присмотра) панама приравнивалась к завтраку в день Ид аль-Фитр[63]; сколько же проклятий и тычков в ребра досталось вам от бредущего в ночи француза, который натыкался на вас, устроившихся в темноте именно там, где иссякал жидкий свет одной керосиновой лампы, тогда как следующая и не думала загораться!

По обеим сторонам улицы на фасадах безумных коралловых домов выступают равашаны — резные эркеры из трухлявого дерева, и в ночь перед Рождеством их оштукатуренный верх заливается лунным светом такой ослепительной белизны, что после хорошего ужина мерещится, будто они присыпаны снегом.

Сперва мы всегда наведывались к послу. Выстраивались рядком в отделанном деревянными панелями холле, таком пустом, будто дело происходило в Англии, и более или менее благочинно пропевали колядки из своего репертуара; посол, сидевший в кабинете на втором этаже, на

[63] Примечания: 63

Ид аль-Фитр, или Праздник разговения, отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан.

несколько минут выключал радио, а его жена и домочадцы слушали нас, стоя на лестнице. Голося «Доброго короля Венцеслава», мы всегда с большим чувством живописали погодные явления и, вероятно, даже острее обычного ощущали томительную жару и ручьем стекающий под рубашкой пот. Затем жена посла, сойдя с лестницы, хвалила нас (великодушно за пение и экспромтом за наряды), а усатый суданец-дворецкий выносил на подносе рождественский глинтвейн. После родного британского посла мы навещали резиденцию американского, а потом и голландскую дипломатическую миссию, где верность традициям также сулила традиционное вознаграждение в виде арабской разновидности заздравной чаши. Где-то до тех пор мы умудрялись относительно сохранять верность обычаю. А потом колядующие приобретали легкое сходство с заблудшими гуляками. И хотя к тому времени почти никто из нас не успевал растерять листы с текстом, а двое или трое еще могли воспроизводить мелодию, жена вице-консула заявляла, что нужно ехать к Массеевым. Никто из нас никогда не возражал против визита к ним, но обычно разгорался спор касательно того, когда именно нужно совершать этот визит, ибо к тому моменту

уже было невозможно предсказать, как долго мы проведем в каждом конкретном доме. Однако жена вице-консула всегда побеждала в споре. И вот, резко переключив передачу, первый секретарь с тарахтением проезжал вдоль городской стены, выбирался из северных мединских ворот и катил по избитой дороге к застроенному лачугами пригороду Багдадия.

Много-много лет назад, еще до того даже, как в Джидде появился вице-консул, Александр Андреевич Массеев, в прошлом лейтенант царского флота, отправившийся в изгнание после Октябрьской революции, закончил свое паломничество по Ближнему Востоку и занял пост инструктора в арабских военно-воздушных силах.

Когда я с ним познакомился, они с женой Лидией[64] жили в беленом домике с крошечным садиком где-то между сумбурной Багдадией и морем, в миле к северу от мединских ворот.

И вот мы приезжаем к Массеевым в канун Рождества. Нас ждут, хоть и не показывают этого. Мы все то и дело шикаем друг на дружку, и все

---

[64] Примечания: 64

Прообразом А. А. Массеева послужил капитан Николай Филиппович Найденов (1891–1947), в постреволюционной эмиграции добравшийся с женой Лидией Анисимовной до Египта и в 1920–1930-е гг. стоявший у истоков авиации Саудовской Аравии.

шикают на вице-консула; жена вице-консула заранее сговорилась с Лидией, поэтому дверца в стене незаперта, и мы на цыпочках прокрадываемся в сад, выстраиваемся рядком вокруг малюсенькой клумбы (кое-кто стоит прямо на ней) и приступаем: сначала поем «Христиане, просыпайтесь», потом (много раз свирепо прошипев: «Ну-ка, все вместе») «Вести ангельской внемли», потом еще раз «Доброго короля Венцеслава» в качестве уступки вице-консулу, который полагал, что его-то мы с самого начала и пели. В освещенном дверном проеме появляются Александр Андреевич и Лидия, они улыбаются, хоть и не совсем понимают слова, но улыбаются, потому что в нашем пении есть что-то христианское и смутно чувствуется намек на далекие снежные зимы. Громко выкрикивая: «Счастливого Рождества», мы набиваемся в маленькую гостиную, Лидия восклицает, восхищаясь размазавшимся гримом и расхристанными костюмами, щебечет на смеси корявого французского и английского, а Александр Андреевич, широко улыбаясь, приносит бутылки и бокалы и вываливает на нас сразу все свои шесть английских слов. Они с вице-консулом изъясняются между собой на, как они выражаются, арабском, но арабы, услышав

это, весьма бы озадачились.

Лидия испекла пирог. Жена вице-консула прихватила в качестве подарка бутылку вина; мы достаем бутылку виски, выясняется, что вице-консул из принципа приволок бутылку рома. На столе блюдечки с соленым миндалем и оливками, ломтиками вяленого мяса и даже кусочками ветчины, добытой у Янни, киприотского торговца (за такую баснословную цену, рядом с которой показались бы божескими даже цены на черном рынке). В гостиной жарко; стекающие по пухлой физиономии Бартоломью, единственного среди нас представителя британской коммерции, ручейки пота размывают жженую пробку и помаду; первый секретарь, раскрыв дверь, обмахивается рукой; арабский Восток остался за стеной садика, мы всего в пятидесяти милях от Мекки, а от Вифлеема нас отделяет в десять раз более широкая пустыня, но мы, христиане, рассаживаемся на немногочисленных стульях и прямо на полу, наполняем бокалы и поем «Пусть Бог дарует радость вам!».

На стене висит выцветшая фотография какого-то санкт-петербургского проспекта, рядом на гвоздике — призматический компас и барометр-анероид в жестких кожаных, хоть и потертых

чехлах, когда-то они принадлежали императорскому флоту, Александр Андреевич спас их и хранил все эти годы. Александр Андреевич — невысокий, коренастый мужчина, у него короткие седые волосы со стальным отливом и широкое испещренное морщинами лицо, улыбается он нечасто. Его сердце работает уже не так исправно, как раньше. Он больше не летает на одном из двух или трех стареньких норовистых «Уопити»[65], которые и составляют арабские военно-воздушные силы. Теперь его работа в основном заключается в том, чтобы следить, как бы те запасы ВВС, которые можно продать, не очутились на базаре; разъяснять командующему ВВС (ездящему верхом на верблюде арабу родом из Неджда), что основы аэронавигации в Коране не изложены; а также извещать министра обороны о задолженностях по оплате. Я ни разу не слышал от него, чтобы он сколько-нибудь преуспел хотя бы в одном из этих начинаний.

Усевшись рядом с Александром Андреевичем, я произношу тост за его здоровье, по-русски, он улыбается, а потом восклицает, будто припомнив что-то; встает и принимается рыться в стенном

[65] Примечания: 65

Одномоторный биплан «Westland Wapity», легкий двухместный штурмовик, выпускался компанией «Уэстленд» с 1927 г.

шкафчике. Оттуда он извлекает необычайного вида бутылку и гордо демонстрирует ее мне. Такой этикетки я не встречал в радиусе тысячи миль от Джидды. Потом я вспоминаю, что несколько месяцев назад Александр Андреевич ездил в Багдад.

Там он по счастливому стечению обстоятельств наткнулся на бутылку «Зубровки», контрабандой доставленную, по всей видимости, из Тегерана или Тебриза. Я, единственный из всех гостей, знаю, что это такое. Остальные предпочитают виски или ром. Александр Андреевич ставит на стол две рюмки и разливает. Мы восклицаем по-русски: «До дна!» — и пьем, запрокинув голову. И проделываем так не один раз, пока остальные тянут по глоточку из своих бокалов. Теперь уже Александр Андреевич то и дело улыбается и болтает без умолку, по-русски.

Этикетка на этих бутылках давно меня занимала. Мой русский не настолько хорош, чтобы уловить взаимосвязь между названием «Зубровка» и изображенным на ней *Bison bonasus* — вроде бы это торговая марка. Александр Андреевич пускается в объяснения, обогатив мой вокабуляр русским словом «зубр».

— Да… — меланхолично тянет он. — Теперь-то

их уже нет. До Революции водилось несколько в пуще в Литве. При царе их охраняли.

Он вздыхает. И я вспоминаю, как еще мальчишкой видел в загоне в Риджентс-парке прислонившегося к ограде изнуренного нескладного зверя со свисающей спутанной шерстью, похожей на свалявшиеся половики: одинокий старый исполин повесил тяжелую голову, полуприкрыл глаза, чья-то чумазая ручонка совала ему под нос арахис, а вокруг все гадали на кокни, что это за животина такая.

— Вы их когда-нибудь видели? — спрашиваю я Александра Андреевича.

Он так печально качает головой и так глубоко погружается в размышления о навеки сгинувшем прошлом, что я невольно подмечаю символическое сходство между ним и зубром, между ними обоими и Российской империей, груз безвозвратного былого тяжко гнетет мою душу, но вот наконец жидкость в бутылке опускается под ноги зубру. Тут мы немного приободряемся, и я говорю:

— Быть может… Кто знает? Россия велика… Там все еще остались леса, где не ступала нога человека…

Александр Андреевич очень мрачно кивает:

— Да, в России… В России встречаются диковинки. Я видел… Послушайте, мистер… Вы поверите, если я расскажу, что видел нечто, да! Далеко за лесами, и это был не зубр?

— Не зубр? А что же тогда?

— Нет. Не зубр, не олень, не лось. В детстве я часто ходил на охоту. И хорошо их знаю. В семнадцатом году я служил на линкоре «Князь Николай», и нас направили в Архангельск. Оттуда мы пошли на восток по Северному Ледовитому океану к устью Енисея. Разумеется, летом. Зачем мы туда отправились, никто не знал. Стоял тысяча девятьсот семнадцатый год. Кое-то из нас полагал, что «Князю Николаю» приказано идти через Берингов пролив к Японии. Мы были молоды. Шутили, что, когда кончится уголь, придется высаживаться в Сибири и рубить лес, как случается иногда на железной дороге. Летом те берега в точности походят на горы Эль-Хиджаз — такие же бурые и голые. «Князь Николай» перевозил гидроплан английского производства. Весьма новаторская идея. Англичане об этом подумывали. А мы, русские, сделали. В хорошую погоду совершали пробные полеты над океаном. Пилотировал мой старинный друг Игорь Паляшкин. А я был аэронаблюдателем. Революционная идея.

Думаю, мы, русские, первыми ее опробовали, хотя придумали все, несомненно, англичане.

Так вот, возле устья Енисея в самой глуши располагался небольшой форпост. Там служило несколько русских, они принимали у местных жителей меха; еще имелся офицер царского флота. Он меха не принимал. Просто пил. «Князю Николаю» приказали подойти к форпосту (он назывался Каменная Гора) и отгрузить им кое-какие припасы. Мы подошли к берегу, но в тот год зима началась рано. Хотя море еще с месяц не должно было замерзнуть, уже появился лед. Ледяные поля расстилались куда ни глянь; ледок был тонкий, понимаете ли, линкор мог его пробить. Но ситуация складывалась опасная: в случае внезапного похолодания лед бы окреп за один-два дня и мы оказались бы в ловушке, а потом корабль бы раздавило. «Князь Николай» не добрался до Каменной Горы. Мы вернулись в открытое море, но раз уж форпост был близко, капитан решил отправить им послание на гидроплане. Такого раньше никто не делал. Мы должны были облететь форпост, сбросить послание, вернуться, сесть на воду, и линкор бы нас подобрал.

Мы выполнили все расчеты, Игорь Паляшкин и я, и взлетели. Погода стояла отличная

— последние ясные деньки арктического лета. Видимость была не очень хорошая — вокруг словно сомкнулась голубая стена, но под нами неплохо просматривался океан, волн не было, ведь поверхность покрывала корочка льда, и вода тихонько двигалась под ней, будто море дышало; чуть дальше начинался берег, бурый с белыми полосками снега. Долго мы летели над ним. Печальные края, и такие безлюдные! Да, намного более безлюдные, чем даже те, что лежат между Джиддой и Персидским заливом. Мы так долго летели над берегом, что я было решил, будто в наши расчеты вкралась ошибка, но мы все-таки нашли тот форпост, Игорь Паляшкин и я! Думаю, они там никогда раньше не видели самолетов. Выскочили наружу. Мы снизились, а потом, когда я помахал и сбросил послание, повернули к линкору. Мы первыми в мире пролетели над полярным кругом, Игорь Паляшкин и я!

Александр Андреевич снова наполняет рюмки. Бартоломью и вице-консул опять принимаются распевать «Доброго короля Венцеслава», но, насколько я понимаю, просто чтобы положить конец какому-то спору. Второй секретарь прислонился к стенке за дверью. Вроде бы спит.

— Да, — тихонько говорит зубру Александр Ан-

дреевич и ставит рюмку на поднос. — Потом его расстреляли, большевики. Но мы были первыми, Игорь Паляшкин и я.

Он качает головой, а я жду.

— Понимаете ли, — говорит он, — оказалось, что расчеты были не совсем верны. Мы видели внизу землю, да, земля была повсюду, бурая с полосками снега. А когда снизились, разглядели низкорослые серые кусты и тоскливые болота, внизу простиралась тундра. Но моря мы не видели. А потом голубая стена, отделявшая нас от моря и неба, посерела, опустилась, и вскоре мы уже не видели ничего, если только совсем не снижались, — лишь серый туман. И мы прижались к земле и летели над самыми верхушками маленьких елок и серых кустов, над глухими черными озерами, мерцавшими стальным блеском. Над нами не было ни солнца, ни неба, вокруг — только скорбная серая тундра.

И вот Игорь Паляшкин повернулся ко мне, и я понял, что топливо на исходе. Он махнул рукой, показывая, что собирается садиться, и резко направил самолет вниз, к тусклому серому болоту; мы задели верхушки кустов, впереди показалась стальная чернота, и поплавки самолета подняли фонтаны воды, взметнув белый лед. Машина

остановилась, уткнувшись носом в заросли на краю болота, и мы выбрались из нее целыми и невредимыми. Отличным он был пилотом, Игорь Паляшкин.

У нас имелись карта и компас, мы снова взялись за расчеты, а потом двинулись пешком к Каменной горе. Спустилась ночь, мы остановились и разожгли огонь. Долго пришлось разжигать. Гибкие ветви кустов плохо горели, и пока они хоть как-то не занялись, мы не могли подкинуть сверху мха для дыма, и нас терзали тысячи комаров. У нас с собой был неприкосновенный запас — его хватило на одну трапезу. Поужинав, мы накинули на головы бушлаты и легли спать на мокрой земле, окуриваемые дымом костра. Но комары все равно донимали. Боже мой! — восклицает Александр Андреевич. — Как они кусались. «Лучше бы заморозки! — сказал Игорь Паляшкин. — Пусть бы мы замерзли насмерть, но сначала замерзли бы треклятые комары».

Когда рассвело, мы двинулись в путь, но в тундре особенно не походишь. Летом земля везде мягкая; кустарник растет прямо на болоте, сквозь него не пробраться, если бредешь по пояс в воде и грязи. Комары кусали непрестанно. Мы продержались два дня. На вторую и третью ночь даже

костер не смогли разжечь, потому что не нашли сухого места, да и спички отсырели. Было гадко и холодно, еды не осталось, но Игорь Паляшкин не падал духом. У него был с собой револьвер. «Подстрелю оленя», — сказал он. Я ответил, что в болоте олени не водятся. «Тогда волка. Нет? Лисицу, зайца, крысу. Какая разница? Подстрелю первого, кто попадется, и съедим его сырым. А если Бог никого не пошлет, пристрелю вас, а потом сам застрелюсь, чтобы избежать страшной смерти». — «Игорь Сергеевич, пристрелите меня прямо сейчас, — взмолился я, — ведь в этой треклятой тундре нет ничего живого, только комары да мы».

Но я ошибался. На третий день мы вышли на сухое место, где росли елки. Маленькие такие елочки, словно на Рождество, при виде них мы, Игорь Паляшкин и я, так обрадовались, что не нужно больше брести по болоту, что взялись за руки и завели вокруг одной хоровод, распевая «В лесу родилась елочка».

За участком сухой земли текла река, такая широкая, что ее противоположный берег казался тоненькой коричневой полоской под унылым серым небом. В реке было полно ноздреватого пропитавшегося водой льда, поэтому не было ни

волн, ни ряби, река казалась неподвижной, а мы, стоя на низком берегу возле елок, мы, понимаете ли, будто двигались назад. И такая тишина! На всем белом свете ни птица не шелохнется, ни зверь; даже комары отстали. Такая тишина, что мы слышали, как стекает по еловым стволам смола, и мы понимали, Игорь Паляшкин и я, что ночью в тундру нагрянет мороз, холод скует реку, заломает деревья, и мы намертво вмерзнем в землю. Такая была тишина, что мы слышали, как издалека подбирается стужа, Игорь Паляшкин вытащил револьвер и шесть раз выстрелил в сторону севера. Самого Бога он не боялся, Игорь Паляшкин.

И вдруг из-за елок вышли шестеро невысоких мужчин, обряженных в шкуры, они мягко ступали в своих пимах, держа в руках луки — шестеро охотников-самоедов. Они отвели нас к маленькой прятавшейся среди елок хижине и дали мяса. Мы ели и ели, пока не замутило. Потом легли на шкуры и слушали, как пробирается во тьме стужа и трещат на ее пути деревья. Спать было слишком холодно, но посреди хижины охотники разожгли костерок, и мы сгрудились вокруг него, все восьмеро, прижались к друг другу и потому не замерзли насмерть. Нам дали еще мяса, и на

этот раз мы не стали на него набрасываться; всю ночь мы жались к тлеющему костерку, Игорь Паляшкин и я, и шестеро самоедов. Они не знали ни слова по-русски, а мы не знали ни слова на их языке. Ах! Если бы той ночью у нас была бутылка «Зубровки» — да хоть бы одна рюмка!

Жена вице-консула уже встала и пространно прощается с Лидией; первый секретарь придерживает дверь, все еще обмахиваясь рукой; второй секретарь сидит рядом, прислонившись к стене, — последние десять минут он проспал. Но вице-консул снова затеял спор с Бартоломью.

— Куда спешить? — спрашивает он. — Осталось еще полбутылки рома. Хватит времени на следующий визит!

Так что его жена и первый секретарь снова усаживаются.

— Еще по одной! — предлагает мне Александр Андреевич. — Не очень же поздно. — И он берется за бутылку с зубром.

— Когда рассвело, тронулись в путь, — рассказывает Александр Андреевич. — Мы очень громко повторяли самоедам: «Каменная Гора», чтобы растолковать, куда нам надо. Они подобрали луки и стрелы — у одного было ружье, старое-престарое, тяжелое, к стволу даже крепилась подпорка

— и поманили нас за собой. Игорь Паляшкин решил съесть на дорожку еще мяса и в утреннем свете наконец-то его разглядел. Большой кусок, темно-красный, вроде говядины, понимаете ли, на нем остался кусок шкуры, шерсть мохнатая, длинная и красноватая — совсем не похоже на тех коров или быков, каких мы видели в России или в Сибири. «Что это за мясо?» — спрашивает Игорь Паляшкин. Я тоже пригляделся и снова откусил кусочек, голод поутих, поэтому на этот раз я его распробовал. Да уж, от него воняло, оно наполовину протухло. Я удивился, как это накануне ночью нос от него не воротил. Понимаете ли, оно было сырым, его просто подогрели на углях. И несло от него древней сырой землей. Я слыхал, что летом самоеды убивают зверя, съедают мясо, а то, что не съели, закапывают — роют неглубокую яму; дойдя до вечной мерзлоты, кладут туда мясо, присыпают землей, и оно не портится все лето; ну или не портится по их меркам. Господи боже! Да от него воняло, как от сапог могильщика!

«Мясо! Мясо! — кричит Игорь Паляшкин и хватает старшего самоеда за жесткий рукав. — Дьявол вас побери! Откуда это мясо? Откуда вы его взяли?»

«Мясо! Мясо!» — кипятится Игорь Паляшкин,

но видит, что они не понимают. Он показывает на протухший кусок с красной шерстью и кричит «Мясо!» до тех пор, пока вид у низенького старика не делается испуганный, охотники, сдвинув головы, начинают шептаться, видимо, гадают, как утихомирить свирепого русского. Потом с робкими улыбками показывают на реку и опять манят нас за собой.

«Каменная Гора!» — снова и снова твердили мы низеньким охотникам, которые вели нас меж хилых серых деревьев. Они с улыбками кивали. Одному богу известно, знали ли они это русское название, но они понимали, что мы русские, и должны были вывести нас к ближайшему христианскому поселению. Мороз сделался нестерпимым! Черные небеса нависали над самыми верхушками елок, такие осязаемые, что мы пригибались, как на пороге хижины. Вокруг локтях в четырех среди деревьев частоколом стоял ледяной туман. Стоило заговорить, и голос разносился звучным эхом, словно отразившись от стен. Самоеды отдали нам шкуры, на которых все спали накануне ночью, мы, Игорь Паляшкин и я, завернулись в них и теперь рядом с низенькими охотниками походили на двух вышагивающих на задних лапах медведей.

Весь день мы шли гуськом и к полудню снова выбрались к необъятным болотам. Теперь их сковал мороз, и по ним можно было идти, иногда черный лед прогибался под ногой, как доска, иногда замерзшая топь стонала и вздыхала под сапогом, а тонкие веточки ломались, словно жнивье на сжатом поле. Ни единой живой души не встретилось нам по дороге, ни звука живого не долетало до нас из холодного тумана.

Но ближе к вечеру далеко на болотах зародился шепот, туман истончился, и наши щеки обжег студеный ветер. Самоеды остановились, переглянулись и принюхались. Мы тоже поняли, чем пахнет этот ветер. Он предвещал снег.

Перед нами во всю ширь расстилалась бескрайняя печальная тундра — пустынная равнина, унылая, тусклая, серо-бурая, вся жизнь в ней остановилась от жуткого прикосновения мороза, труп ее вновь и вновь пронзали штыки ветра. Когда ветер стих, мы увидали, что с черных небес вот-вот опустится саван. Понимаете ли, туман развеялся не полностью, он истончился и все еще прикрывал безжизненную тундру, превратился в колыхаемый ветром призрак тумана. Было не светло и не темно — и то и другое сразу, словно ледяной ветер порошком сдувал на нас грядущую

ночь. Этот ветер пробирал до костей, но кусты под ним не шелестели — от холода они сделались твердокаменными. Видимость была превосходный, до самого края мира, ибо во всем мире не осталось ничего, кроме этого несвета, этой унылой бурой земли и унылого серого кустарника, безжизненного, словно волосы мертвеца.

Мы, Игорь Паляшкин и я, не знали, куда идем. Не сверялись ни с компасом, ни с картой. Склонив головы, брели по мертвой равнине следом за шестерыми охотниками. Я думал, что мне не суждено снова увидеть Каменную Гору; думал, что мне не суждено снова увидеть Петербург и христианское жилище. Я думал, что мне суждено умереть там, где нет ничего, кроме серости и холода. Я был молод и непременно бы заплакал, но плакать было слишком холодно.

Зато низенькие самоеды знали, куда идут, и, пока окончательно не померк серый свет, вывели нас туда, где посреди бескрайнего полумрака возвышалось нечто. В стороне текла широкая река, неподвижная подо льдом, она бледно посверкивала посреди неуловимого пейзажа; а прямо впереди торчал среди плоской болотистой равнины, нависая над рекой, низкий темно-бурый земляной холм, во время недолгой

летней оттепели его выступ мог бы обрушиться, но теперь его надежно прихватило морозом, он мог продержаться всю зиму. Вокруг на бескрайней печальной равнине росли хилые более редкие, пусть и более высокие, кусты. Они напоминали серые клубы дыма, которые замерзли, не успев подняться к низким серым небесам, и были едва ли более вещественными, чем посеревший воздух. Бурые топи, простиравшиеся куда ни глянь, от прикосновения стужи заморщинились, и в каждой морщинке белели тонкие ледяные прожилки.

Как раз когда показались река и холм, на нас обрушился ветер — предвестник снега. Мы переглянулись, Игорь Паляшкин и я; от холода губы онемели и совсем не слушались. Самоеды что-то хором забормотали, изо рта у них вырывались клубы пара. Через несколько минут пойдет снег, и тогда даже охотнику-самоеду не сыскать дорогу в круговерти снежинок. Старейший охотник огляделся, посмотрел на тяжелое небо, на призрачные кусты, на замерзшую землю и наконец на далекий низкий холм, выделявшийся на огромной равнине. Потом на нас, его темное лицо было испещрено морщинами, точно как замерзшая топь бороздами, и в этих морщинах, точно как

лед в бороздах, белел иней. Охотник улыбнулся, шевельнулась толстая корка изморози на его губе, потрескалась наледь на щеках. Махнув на далекий берег реки, он проскрипел тоненьким мерзлым голоском: «Мясо!»

Игорь Паляшкин хотел закричать, но у него вырвался лишь сиплый шепот: «Дьявол его подери! Татарский сукин сын! Какое такое мясо?» Я хотел ответить: «Мы сами превратимся в мясо, если не найдем укрытия до того, как начнется метель», но, по-моему, губы меня не послушались.

Самоеды ускорили шаг, и мы вслед за ними направились к земляному горбу. Возле реки земля не так промерзла, иногда под ногами трещало, стонало, а потом чавкало. Но охотники скользили вперед, указывая путь понадежней, и мы кое-как торопливо пробирались за ними. Небо над головой суровело, свет вокруг густел, кусты, казалось, снова оттаяли в клубы дыма и, колыхаясь, растворялись в сумерках. И вот мы добрались до нависающего выступа и сбились в кучу в пещерке под сводом из замерзшей земли. Я уселся, прислонившись к стене, и смотрел на зловещую пустошь, где плясали тени и не различить было ни землю, ни лед, ни кусты. Позади издал какой-то странный звук Игорь Паляшкин — с его

покрытых инеем губ срывались вперемешку смех и проклятия. Я повернулся посмотреть. Игорь Паляшкин пинал мерзлую землю. Из холма, там, куда их вынесло летним оползнем, недвижимо торчали огромные пожелтевшие кости; могучие мослы, мясистые части, смерзшиеся и твердые, как глина; ледяные куски багрового мяса с ошметками шкуры и клоками жесткой шерсти, напоминавшей цветом ржавое железо.

Мы посмотрели на спутников, безмолвно вопрошая их, что это за дьявольское кладбище. Игорь Паляшкин пнул кусок падали, той самой, которую с таким аппетитом поедал накануне утром. Низенький старик кивнул и проскрипел: «Мясо, мясо!» — пожамкал губами, и на его застывших щеках появилось еще больше морщин. Игорь Паляшкин подергал выпиравшую из земли длинную кость, и я твердо верю, что, сумей он ее выдернуть, точно размозжил бы старику череп.

Вдруг кто-то из охотников сердито зашипел. И тут же все шестеро самоедов замерли, неподвижные, словно комья мерзлой земли. Мы, Игорь Паляшкин и я, прижались к стене пещерки; услышанное сковало нас льдом не хуже мороза, и я почувствовал, как стынет в груди самое сердце. В жуткой мертвой тишине, предвестнице метели,

мы услышали, как нечто бредет к нам по слепой равнине. Весь день на мертвой пустоши мы не видели ничего живого; теперь же там, где наползали и отступали тени, а мертвенный сумрак застил взор, двигалось нечто и, о боже, с каким трудом и какой мукой оно выдиралось, увязнув в замерзающем болоте. В неподвижном ледяном воздухе разносилась его далекая поступь; оно приближалось медленно, еле-еле, а мы не осмеливались шевельнуться и только слушали и вглядывались в темнеющий туман. Какой зверь на всем белом свете обладал такой целеустремленностью и жуткой силой? Через трясину тащилось создание более могучее, чем те, что сотворил для глаз людских Господь. Мы слышали, как хрустит лед, как жалобно стонет замерзшая топь под тяжестью невообразимой медленно шагавшей по тундре исполинской туши. С глубоким вздохом трясина поддавалась, не в силах вынести такую тяжесть. И нечто принималось рваться с неистовой силой, столь мучительно и надрывно стеная, что сердце сжималось; и раз за разом зверь побеждал в ужасной схватке, топь уступала и с оглушительным чавканьем выпускала его. Жуткая битва продолжалась схватка за схваткой, каждая следующая все более отчаянная; мы так напряженно вслу-

шивались, что на себе ощущали ту боль, которую испытывало могучее создание, приближавшееся к нашему маленькому холму. Но чем ближе оно подходило, тем дольше становились паузы между чавканьем засасывающего болота и попытками вырваться на волю, будто непостижимая мощь и стойкость покидали гиганта. И во время этих пауз раздавался самый чудовищный звук из всех — зверь плакал, охваченный болью и страхом смерти. Господь всемогущий! Думаю, кроме нас, Игоря Паляшкина и меня, ни один христианин никогда не слышал такого плача. Я знаю, что на всем белом свете нет голоса, который мог бы ответить той дикой душе, стенавшей в тумане в пустынной тундре ночью перед самой метелью. У этого зверя не было никого на всем белом свете.

В конце концов он окончательно увяз, но как же близко он подошел к нам! Так близко! Прямо за завесой мрака, там, где серые кусты переплетались с унылыми сумерками — еще бы один страшный тяжкий шаг, и зверь выбрался бы на твердую землю, туда, где торчали вокруг нас исполинские кости; он дернулся и испустил свой последний крик. Самоеды за нашими спинами съежились, укрыли головы полами сшитых из шкур кафтанов, вжались в голую землю. Игорь

Паляшкин проверил разряженный револьвер и скрестил руки на груди. Самого Бога он не боялся и готов был встретиться лицом к лицу с дьяволом. Что же до меня, то сердце мое упало, уловив муку, прозвучавшую в этом диком крике; муку и тоскливое-претоскливое одиночество. Боже мой! Я христианин, а то был зверь, вышедший из дремучей чащобы; но он тонул в мертвом арктическом краю на задворках мира, где не было ни леса, ни поля; ни земли, ни воды; ни солнца, ни снега, один лишь бескрайний холодный хаос между ночью и днем, и некому было на всем белом свете в глубинах времен услышать его и понять его муку. В недрах ледяной тьмы тонуло в болоте существо, позабытое временем, одинокое.

— Джимми! — зовет первый секретарь, уже отчаявшийся привлечь внимание своими увещеваниями.

Наконец вице-консул встает; даже Бартоломью на ногах — хоть его и пошатывает. Я тоже поднимаюсь. Александр Андреевич опрокидывает над моей рюмкой бутылку с зубром и берет свою.

— Да… — длинно выдыхает он и задумчиво крутит рюмку в руке. — Я увидел его. Всего на миг, но увидел. Всего на миг, между бурой хлябью и серыми кустами. А потом внезапно нагрянула

непроглядная метель, и больше ничего уже было не разглядеть, только белый буран. И все-таки исполинская голова мелькнула над топью, голова и плечи, покрытые длинной красно-коричневой шерстью; исполинская голова и что-то тонкое, словно воздетая гибкая рука, а еще длинные-предлинные загнутые бивни, похожие на полозья саней. А потом началась метель.

— Александр! — зовет Лидия. — Отопри дверь в саду!

Мы, толкаясь, вываливаемся в садик. Влажная, жаркая ночь с берегов Красного моря будто обертывает нас мокрой простыней, снятой с горячей печи. Спотыкаясь, мы переступаем узенький порог, толпимся, перегородив проем в стене, громогласными пожеланиями доброй ночи вспугиваем массеевских индюшек, и они принимаются квохтать вместе с нами. Александр Андреевич сбивает в темноте цветочный горшок и сердито пинает осколки, так что они отлетают к стене дома.

— Черт возьми! — ругается он, а потом пожимает мне руку и говорит: — Да… Мы видели его, Игорь Паляшкин и я. А потом была Революция.

Уже тарахтит двигатель фургона. Я где-то потерял фонарь. На этом этапе наших колядок я

всегда его теряю.

— Джимми! — тоненьким голоском зовет жена вице-консула. — Что это там за звезда?

У второго секретаря, как ни странно, сна ни в одном глазу. Раздается его бас-профундо:

> *И вверх они взглянули – увидели звезду,*
>
> *Вдали она мерцала в прекрасных небесах…*

Сияет луна, желтая в морской дымке; весь арабский небосклон усыпан звездами: скопление Плеяд, сияющий Альдебаран, Близнецы, широко расставивший ноги Орион в драгоценном поясе. Жена вице-консула указывает нетвердой рукой.

– *Canis Major*[66], — грубовато отвечаю я и собираюсь уже нырнуть в фургон, но спотыкаюсь, наступив на край своего, а может, и чужого костюма. После трех четвертей бутылки рома у вице-консула развязывается язык.

— А я на латыни помню только «hic, haec, hoc»[67], — замечает он.

И вот в канун Рождества нежное сердце Бартоломью снова преисполняется давно позабытой

---

[66] Примечания: 66
Созвездие Большого Пса *(лат.).*

[67] Примечания: 67
Латинские указательные местоимения.

любовью к классическому языку. Он на мгновение распрямляется и, обратившись к арабским звездам, со значением выкрикивает:

— Ик!

